

Гражданин Сибири



Ярослав Золотарев

Ярослав Золотарёв
Гражданин Сибири

«Автор»

2026

Золотарёв Я.

Гражданин Сибири / Я. Золотарёв — «Автор», 2026

Младенцем его уронили из саней в снег посреди ночной степи — он не заплакал, а смотрел, как вращается небо. Так начались путешествия Григория Потанина, казака, учёного и бунтаря, прошедшего Сибирь, Монголию, Китай и Тибет. Его заковывали в кандалы и привязывали к позорному столбу за мечту о сибирском университете и свободе Сибири. Он прошёл каторгу и ссылку, исходил тысячи вёрст по краям, где до него не бывал ни один европеец, записывал сказки шаманов и лам, хоронил жену на краю империи и до последнего дня хранил одну тайну — имя человека, который подсказал ему главную мысль жизни. Царская власть сажала его в тюрьму, красные и белые прикрывались его именем. А он оставался тем, кем был всегда: гражданином Сибири. Эпический роман о последнем энциклопедисте Сибири — о дружбе и верности, о степи и тайге, о мифах кочевников и о том, как один упрямый человек меняет судьбу огромного края.

© Золотарёв Я., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Хорунжий	10
Глава 1. Плачущая скала	10
Глава 2. Войлочная дверь	22
Глава 3. Белая осада	34
Глава 4. Четыре шеста	42
Глава 5. Западная дорога	52
Глава 6. Казённые розги	64
Глава 7. Ручной соболь	76
Глава 8. Просверленная стена	89
Глава 9. Латинские имена	109
Глава 10. Золотой караван	128
Конец ознакомительного фрагмента.	144

Ярослав Золотарёв Гражданин Сибири

Пролог. Снег

Капитан Филипп Трунин вышел на крыльцо в одной рубашке — проверить, не сдуло ли за ночь сено со стога, — и увидел над Иртышом три солнца.

Настоящее стояло низко, красное, как раскалённое ядро, только что вынутое из горна, а по бокам от него, на равном расстоянии, висели два бледных его подобия, соединённые с ним светящейся дугой. Дуга поднималась над рекой и уходила за край неба, будто кто-то провёл по морозной синеве огромным циркулем. Снег на том берегу, где начиналась киргизская сторона, горел розовым.

Капитан крепостной артиллерии Трунин не боялся ни Бога, ни черта, ни генерал-губернатора; он боялся только одного — что не успеет зарисовать. Он вернулся в сени, нашарил на полке огрызок карандаша и листок, на котором накануне считал, сколько пудов муки осталось до весны, и, стоя босиком на ледяных досках крыльца, быстро набросал: круг, точку, две точки, дугу. Пальцы не слушались. Он подписал внизу: «Ямышево. Генваря 1836. Солнце о трёх. Мороз великий» — и только тогда почувствовал, что ноги у него окоченели до колен.

— Филипп Степаныч, ты что, рехнулся на старости лет? — закричала из избы жена. — Застудишься, а мне тебя потом с того света доставать!

— Иди глянь, Марья, — сказал он. — Такого больше не увидишь.

Марья Трунина вышла, закутанная в шаль, посмотрела на небо, перекрестилась и сказала то, что сказала бы любая баба на линии:

— К морозу. И к дороге.

— К дороге — это верно, — согласился капитан. — Варвара-то сегодня едет.

Солнца постояли ещё немного, поблёкли и растаяли, будто их и не было. Осталось одно — настоящее, красное, равнодушное. Но листок капитан спрятал не в стол, а за образа, где держал самое дорогое: вольную, полученную когда-то за выслугу, и прядь волос умершей дочери. Он не умел толковать знамения. Он умел только замечать.

Младенца собирали в дорогу так, как собирают в бой.

Сначала его вымыли в корыте — в последний раз в дедовском доме, — и он орал так, что слышно было, наверное, у мечети на татарском краю. Потом его завернули в тонкую пелёнку, потом в байковую, потом в заячье одеяльце, которое бабка Марья сшила ещё осенью, потом в овчинку. Потом положили на большую пуховую подушку и привязали к ней крест-накрест широкими холщовыми лентами, так что из всего этого белого и меховогоства торчало только маленькое красное лицо с упрямо сжатым ртом.

— Как куль с мукой, — сказал отец.

— Как ангелочек на иконе, — сказала бабка.

Мать, Варвара Филипповна, ничего не сказала. Ей было двадцать лет, она была замужем всего второй год, и ей не хотелось уезжать. Здесь, в Ямышеве, в низком отцовском доме с запахом печного дыма, кислой капусты и ружейного масла, она снова была дочерью, а не женой есаула и начальницей. Там, впереди, был Пресновск — горькие озёра, чужая родня мужа, золовка Мелания с тяжёлыми руками, и степь, ровная, как стол, на котором ничего не стоит.

Бабка Марья подошла к внуку с иконой.

— Да будет над тобой моё благословение, — сказала она, — от востока и до запада, от земли и до неба, отныне и довеку. Аминь.

Она поцеловала его в лоб, и он, удивившись, перестал кричать.

Дед стоял в дверях и курил трубку. Он хотел сказать про три солнца, но подумал, что это глупо, и сказал только:

— Николай Ильич, ты гляди там. Не гони.

— Не погоню, Филипп Ильич, — ответил зять.

Он погнал, конечно. Он всегда гнал.

Кошева была широкая, открытая, обитая снаружи рогожей. В неё накидали сена, на сено — кошму, на кошму — тулупы. Сзади, к задку, привязали короб с припасом: шаньги, мороженные пельмени в мешке, бутылъ наливки для станционных смотрителей, которые без наливки становятся слепыми и не видят на дворе свежих лошадей. Ямщиком был киргиз с линии, по имени Жаксылык, а по-русски — Яша; он сидел на облучке в лисьем малахае, похожий на большую рыжую птицу, и ничему не удивлялся.

Николай Ильич Потанин в свои тридцать с небольшим лет успел больше, чем иные успевают за жизнь. Он кончил первым войсковое училище в Омске, умел снимать маршрут по компасу и шагам, водил конвой с посольством до самого Коканда и напечатал о том записку в «Военном журнале» — сам генерал читал. Теперь он был начальником целого округа в Киргизской степи, Баян-аульского, — над ним небо, под ним степь, а между ними тысячи юрт, и все они должны были слушаться его. Он ехал в санях, развалясь, как хозяин, и смотрел на белую равнину так, будто уже нанёс её на карту.

— Вырастет — отдам в училище, — говорил он жене. — Будет казак. Сотником будет. Есаулом. А то и полковником, чем чёрт не шутит.

— А я хочу, чтобы он столицу увидел, — сказала Варвара Филипповна.

— Столицу! — засмеялся муж. — Что ему столица? Камни да сырость. Здесь простор. Здесь человеку есть где развернуться.

Он рассказывал ей про Коканд — про глиняные стены, про сады, где персики падают на землю и их никто не подбирает, про базары, где продают всё, от шёлка до рабов, — и про слона. Кокандский хан прислал белому царю в подарок слона, и Николаю Ильичу велено было его проводить. Слон шёл медленно, ел за десятерых, мёрз, и его укрывали войлоками; казаки сначала боялись, потом привыкли, а потом полюбили — кормили с рук хлебом, а он брал хлеб хоботом, осторожно, как барышня берёт конфету.

— Где же он теперь? — спросила жена.

— А кто его знает, — сказал Николай Ильич. — Может, ещё идёт. Далеко ему идти.

Ещё он говорил о службе — что надо бы поставить на место одного пехотного капитана, который много о себе мнит, и что в Омске у него, Потанина, есть враги, но и он не лыком шит. Он говорил это легко и весело, как говорят о погоде. Он ещё не знал, что через несколько лет из-за такого вот капитана, из-за ружья, взятого из сошек, и криков на плацу, князь Горчаков разжалует его в рядовые, а табуны, оставшиеся от деда Ильи, уйдут на взятки судьям — все до последней кобылы. Ничего этого он не знал. Он ехал в санях, молодой, удачливый, и рядом с ним спала жена, и в ногах у них, привязанный к подушке, спал его сын.

К ночи ветер стих.

Луна вышла над степью полная, ясная, и степь стала другой — не белой, а голубой, с чёрными тенями от каждого бугорка, от каждой застрявшей в снегу травинки. Полозья пели. Лошади бежали ровной рысью, и пар от них поднимался вверх и сразу замерзал, оседая на гривах серебром.

Варвара Филипповна проснулась, покормила сына, укутала его и, не открывая глаз, сунула мужу:

— Подержи. Руки отнялись.

Николай Ильич взял подушку, положил её на колени, прикрыл полую тулупа. Потом подушка как-то сама переползла в сено, между ним и женой, — так удобнее, — и он подумал, что жена её держит. А жена, засыпая, подумала, что держит муж. Сани покачивались, как люлька, луна светила, и оба они заснули тем глубоким дорожным сном, каким спят только в

санях на морозе, когда тело уже не чувствует холода, а душа уходит куда-то далеко, в тёплое и неопределённое.

Жаксылык не спал. Он пел. Он пел про девушку из рода Кереев, которая ждала жениха у колодца, а жених всё не ехал, потому что у него украли коня, и пел про коня, который ушёл к чужим и плакал по хозяину, и пел про звёзды, которые сами были когда-то лошадьми, только небесными, и паслись на синем лугу вокруг Железного Кола — так киргизы зовут Полярную звезду. Он пел негромко, себе под нос, тем бесконечным голосом, каким поют в степи, где песню всё равно никто не услышит, кроме неба.

На ухабе сани трянуло. Жаксылыку показалось, что сзади что-то мягко шлёпнулось в снег. Он оглянулся: сани, седоки спят, короб на месте. Сено. Луна. Он подумал, что это сорвался с задка ком мёрзлого навоза, и запел дальше.

Его не учили ещё ни словам, ни страху.

Было мягко, потом стало тихо. Покачивание кончилось. Песня кончилась. Тепло, которое шло отовсюду — от матери, от отца, от овчины, от самого движения, — осталось, но перестало прибывать. Сверху на него смотрело огромное, тёмное, полное мелкого блеска.

Он не знал, что это небо. Он не знал, что этот блеск называется звёздами, что они далеко и что они холодные. Он видел только, что всё это медленно-медленно поворачивается вокруг одной яркой точки, как поворачивается вода в корыте, если её размешать рукой. Это было интересно. Это было так интересно, что он забыл заплакать.

Где-то далеко завывало — тонко, протяжно, на одной ноте. Ветер это был или волк, или ничего — он не знал. Ему не было страшно, потому что страшно бывает только тем, кто знает слова.

А потом над ним наклонилось что-то большое и светлое. Может быть, это была луна, вышедшая из-за облака. Может быть, иней на ковыле. Может быть, кто-то другой — кто-то, кто живёт в этой степи с тех пор, как здесь появилась первая люлька, и кому до всех этих людей в санях, до их начальников и царей, нет никакого дела, а есть дело только до тех, кто лежит в снегу и смотрит вверх. Что-то тёплое легло ему на лицо — так ложится ладонь. Он закрыл глаза и заснул снова.

В ту же ночь, очень далеко на юге, за рекой Сары-су, где снег лежит тонко и сквозь него торчит сухая полынь, в зимнем лагере кокандского посольства не спал погонщик слона.

Его звали Рахим; он был родом из Индии и уже третий год шёл вслед за этим слоном по чужим землям — сначала через горы, потом через пески, теперь через этот снег, которого он никогда раньше не видел и который ненавидел так, как можно ненавидеть только то, что медленно убивает. Он подкладывал в костёр сухой караганник и поправлял на слоне войлоки — четыре войлока, сшитые вместе, и всё равно мало.

Слон стоял неподвижно, как серая гора, и медленно качал хоботом. Иногда он поднимал голову и смотрел вверх, на звёзды, и Рахиму казалось, что слон видит в небе что-то, чего не видит он. Может быть, родину. Может быть, то, куда его ведут.

Слона вели в подарок белому царю — а точнее, его сыну, наследнику, мальчику, которому было тогда восемнадцать лет и который через четверть века освободит в России крестьян, а ещё через несколько лет подпишет бумагу о человеке, лежащем сейчас в снегу за тысячу вёрст отсюда. Но ни слон, ни Рахим, ни сам наследник ничего об этом не знали. Нитки, которыми судьба сшивает людей, не видны тем, кого она сшивает.

Слон вздохнул — громко, как вздыхает усталая лошадь, только в десять раз громче, — и Рахим погладил его по хоботу.

— Скоро, — сказал он на своём языке. — Скоро придём.

Он не знал, что они никогда не придут. Что до Петербурга слона так и не пустят. Что он останется навсегда где-то здесь, в этой степи, и станет сказкой, которую будут рассказывать

в станицах, и что сказку эту однажды расскажут мальчику, лежащему сейчас под звёздами на пуховой подушке.

— Барин! Барин! — Жаксылык натянул вожжи так, что коренник присел на задние ноги. — Барин, вставай!

Николай Ильич проснулся сразу, как просыпаются люди, привыкшие к походам, — с рукой на поясе, где должен быть пистолет.

— Что? Волки?

— Не волки. — Ямщик говорил странным, высоким голосом. — Там, на ухабе. Что-то упало. Я думал — навоз. А теперь думаю — не навоз.

Николай Ильич повернулся к жене. Жена спала. Он сунул руку в сено между ними — сено. Ещё — сено. Под тулуп, под кошму, в ноги — сено, сено, одно сено.

— Варя, — сказал он очень спокойно. — Варя, где Гриша?

Она открыла глаза.

— У тебя.

— Нет.

— Я тебе отдала.

Он не стал спорить. Он выпрыгнул из саней и побежал назад, по следу полозьев, который голубел под луной, уходя в бесконечную даль. Он бежал, проваливаясь по колено, задыхаясь, и тулуп мешал ему, и он сбросил тулуп. Позади раздался крик — не человеческий, звериный, — и он понял, что это кричит жена, которая тоже выскочила из саней и бежит за ним. Он не оборачивался.

Сколько они проехали после ухаба? Версту? Две? Пять? Ямщик не знал. Никто не знал. Степь была одинакова во все стороны, и каждый бугорок мог оказаться тем самым, и не оказывался. Где-то справа снова завывло, и Николай Ильич, который ходил с конвоем до Коканда, бил барантачей на Ишиме и не боялся никого на свете, вдруг вспомнил все молитвы, какие знал, и стал читать их вслух, сбиваясь, перепутывая слова, на бегу.

Сзади, далеко отстав, бежала и падала Варвара Филипповна. Она падала, вставала, снова падала. Она не молилась. Она проклинала — себя, мужа, ямщика, эту степь, эту дорогу, это небо, и снова себя. Она думала: если он умер, я тоже умру. Она думала: я не смогу вернуться в отцовский дом и сказать матери. Она думала: я не смогу жить. И снова вставала и бежала.

Подушка лежала у самого ухаба, чуть в стороне от колеи, белая на белом, и если бы не луна, её бы не увидели.

Николай Ильич упал перед ней на колени. Он боялся дотронуться. Подушка лежала ровно, лентами вверх, и на ней, глядя носом в небо, лежал его сын — красное лицо, сжатый рот, иней на ресницах. Он не шевелился.

Отец наклонился, приложил щёку к его губам — и почувствовал крошечное, тёплое, ровное дыхание.

Мальчик спал.

Он упал так, что подушка оказалась под ним, а не над ним. Окажись наоборот — он задохнулся бы в снегу, пока его искали. Но он упал правильно. Как будто кто-то положил.

Подбежала Варвара Филипповна, вырвала подушку из рук мужа, прижала к себе, и только тогда сын проснулся — и, увидев над собой её мокрое, искажённое лицо, возмущённо закричал. Это был самый прекрасный звук, который они слышали в жизни.

Николай Ильич сидел на снегу и смеялся. Он смеялся и плакал одновременно, и не мог остановиться, и не стыдился этого.

Жаксылык, пригнавший сани назад, стоял рядом и смотрел на младенца, кричащего на руках у матери. Потом он поднял глаза к небу, туда, где вокруг Железного Кола медленно поворачивались небесные лошади, и сказал тихо, по-киргизски, так, что никто из русских не понял:

— Умай-эне держала его. Мать всех детей держала в ладонях.

А потом добавил уже по-русски, громко, для барина:

— Живучий. Далеко пойдёт.

До Пресновска они доехали к вечеру следующего дня. Варвара Филипповна всю дорогу не выпускала сына из рук и не спала. Николай Ильич больше не гнал.

Много лет спустя, когда мальчик вырос, поседел и проехал полмира — Монголию, Китай, окраины Тибета, — когда его заковывали в кандалы и привязывали к позорному столбу, когда он хоронил жену и друзей и почти ослеп, он любил рассказывать эту историю. Он рассказывал её с усмешкой, потирая руки, как рассказывают анекдот, и всегда кончал одинаково:

— Это было начало моих путешествий. И, кажется, единственное, в котором мне по-настоящему угрожала смерть.

Он был неправ, конечно. Но ему нравилось так думать.



Часть первая. Хорунжий

Глава 1. Плачущая скала

Пушка начала падать медленно, как падает во сне.

Сначала правое колесо съехало с края тропы и повисло над пустотой, потом лафет накренился, и шестифунтовое медное тело, которое восемь лошадей семьсот вёрст тащили от Семипалатинска, вдруг стало живым и тяжёлым, как бык, решивший уйти в пропасть. Ездовой закричал. Передняя пара лошадей присела, упираясь копытами в осыпь, камни из-под них пошли вниз, сначала мелкие, потом крупные, и долго ещё стучали где-то внизу, на дне ущелья, которое киргизы называли Кисык-ауз — Кривой рот.

— Держи-и! — заорал кто-то сверху.

Хорунжий Потанин оказался возле пушки не потому, что был храбр, а потому, что ехал ближе всех. Он соскочил с коня, не думая, и схватил первое, что попало, — пеньковый канат, привязанный к хоботу лафета. Рядом с ним, хрипя, вцепились в канат ещё трое казаков, потом пятеро, потом десяток. Канат рвал ладони. Потанин чувствовал, как с них сходит кожа — горячо, будто он держал раскалённое железо, — и видел прямо перед собой, в аршине, медный ствол с выбитым двуглавым орлом. Орёл смотрел на него обеими головами и, кажется, тоже не хотел падать.

— Р-раз! — скомандовал урядник Бобров спокойно, словно на ученье. — Ещё р-раз! Пошла, родимая!

Колесо, скрежетнув ободом о камень, вернулось на тропу. Лафет выпрямился. Лошади, вздрагивая всей кожей, двинулись дальше. Казаки отпустили канат и разом сели, кто где стоял.

Потанин посмотрел на свои ладони. Они были красные, мокрые, с белыми лоскутами содранной кожи.

— Ничего, ваше благородие, — сказал Бобров, проходя мимо и даже не глянув. — До свадьбы заживёт. Вы их в мочу суньте — первое средство.

— Какую ещё мочу? — спросил Потанин.

— Свою, — пояснил урядник и пошёл к своим.

Сзади раздался смех. Потанин обернулся: на камне, поджав ноги по-киргизски, сидел хорунжий Лаптев, его однокашник по корпусу, и, сдвинув фуражку на затылок, утирал слёзы.

— Ох, Гриша, — сказал он, — я тебя прошу, не делай такого лица. Ты сейчас похож на Тасса, которого не пустили в Иерусалим.

— Ты-то где был?

— Я? Я руководил. Морально. — Лаптев встал, отряхнулся и протянул ему фляжку. — Пей. Водка лучше мочи. И снаружи, и внутрь.

Потанин отхлебнул, закашлялся, плеснул на ладони и задохнулся от боли. Лаптев смотрел на него с сочувствием и любопытством, как на интересное насекомое.

Им обоим было по восемнадцать лет. Полгода назад их выпустили из Омского кадетского корпуса — Лаптева в первом десятке по фронту и последним по наукам, Потанина наоборот, — и отправили хорунжими в Седьмой казачий полк, на самый край империи, туда, где кончались карты. Отряд шёл из Семипалатинска в Копал третью неделю: через степь, где колодцы были горькими, как слёзы, через пески, через лес джигды на реке Лепсе, который назывался лесом только по недоразумению — серебристые деревья стояли так редко, что ни одно не давало тени, и солдаты, рассевшись у их стволов, пеклись на солнце, как хлеба в печи. Две казачьи сотни, рота линейного батальона, конная батарея, обоз. Говорили, что идут ставить новое укрепление

за рекой Или, в земле Большой орды, куда ещё не ступала нога русского солдата. Говорили, что будет война. Говорили разное.

Тропа сделала последний поворот, круто полезла вверх и вдруг оборвалась — не в пропасть, а в небо.

Потанин придержал коня.

Впереди, за зелёной холмистой долиной, стояли горы. Не те горы, которые он видел до сих пор, — бурые, плешивые, похожие на спины спящих верблюдов, — а другие: огромные, синие у подножия и ослепительно белые наверху, такие белые, что больно было смотреть. Они стояли стеной от одного края мира до другого и уходили выше облаков, так что облака лежали у них на плечах, как пух. Снег на вершинах горел на солнце. Было начало июня, внизу цвели маки, а там, наверху, стояла вечная зима, и это было невозможно, как невозможно, чтобы в одной комнате одновременно было лето и Рождество.

— Алатау, — сказал проезжавший мимо Бобров тем же тоном, каким говорил «до свадьбы заживёт». — Джунгарский. Там за ним, говорят, Китай.

Потанин не ответил. Он смотрел на горы и чувствовал, как у него перехватывает горло. Это было глупо, по-детски, и он знал, что Лаптев сейчас начнёт смеяться, но ничего не мог с собой поделать. В голове у него само собой зазвучало:

Как-то раз перед толпою Соплеменных гор У Казбека с Шат-горою Был великий спор...

Он был на Кавказе. Он был у Лермонтова. Он был внутри поэмы.

Лаптев, к его удивлению, не смеялся. Он тоже смотрел на горы, приоткрыв рот, и лицо у него было такое, будто его ударили.

— Гриша, — сказал он наконец тихо. — А ведь там, наверное, никто не был. Ни один человек.

— Были, — сказал Потанин. — Киргизы были. Калмыки были. Китайцы.

— Я говорю — человек, — сказал Лаптев. — Наш.

Потанин хотел возразить, что киргизы тоже люди, но промолчал. Он уже привык, что на линии этого не понимают.

Копал оказался горсткой домов, вылепленных из глины и самана, деревянной церковкой с зелёным куполом, казармами, складами и площадью, на которой паслись козы. Его основали всего шесть лет назад, и он ещё не успел решить, кем станет — городом или кладбищем. Но в нём было то, чего не было ни в одном городе на свете.

Вечером, когда отряд разместился по квартирам, а начальство заперлось у коменданта, Потанин один пошёл через площадь туда, куда показал ему мальчишка-казачонок, — к Тамчи-булаку.

Посреди города, прямо за последними огородами, земля обрывалась вниз огромной круглой чашей. Это был овраг, но такой глубокий и такой правильный, будто его вырыли нарочно — гигантской ложкой из земли. Стены его, отвесные, глинистые, поросли мхом и папоротником, и со всех сторон, отовсюду, из каждой трещины, сочилась вода. Она не текла — она капала. Тысячи, десятки тысяч капель срывались со стен и падали вниз, и каждая звенела по-своему, тонко или глухо, и все вместе они звучали, как дождь, которого не было, как огромные невидимые часы, отсчитывающие время, которое никуда не торопится.

Тамчи-булак — капающий родник.

Потанин сел на краю, свесив ноги, и слушал. Ладони у него горели под тряпицами. Солнце уходило за горы, белые вершины становились розовыми, потом фиолетовыми, потом серыми. Внизу, в чаше, уже было темно, и только звон капель поднимался оттуда, как голос из колодца.

Он подумал, что, может быть, вот это и есть счастье. Не то, о котором пишут в книгах, — не любовь, не слава, не подвиг, — а вот это: сидеть на краю земли и слушать, как она говорит.

Снизу, по тропинке, поднимался старик-киргиз, ведя на поводу лошадь. Он напоил её у ручья, вытекавшего из чаши, и теперь шёл в город — медленно, опираясь на палку, в рваном халате и войлочной шапке. Поравнявшись с офицером, он остановился и поклонился, как кланяются начальству, то есть без особой охоты.

— Аман, — сказал Потанин.

Старик удивился. Русские офицеры редко здоровались с ним по-киргизски.

— Аман, тюря, — ответил он. — Слушаешь?

— Слушаю.

— Хорошо слушать, — сказал старик. Он говорил по-русски плохо, переставляя слова, и вставлял киргизские, которых Потанин не знал, но смысл был понятен. — Это скала плачет. Ты знаешь, почему плачет?

— Нет.

Старик сел рядом, на корточки, не выпуская повод. Лошадь щипала траву у его плеча.

— Давно было. Ещё калмыки были. Здесь аул стоял. Девушка была — красивая, как луна в пятнадцатый день. Жених у неё был, батыр. Он пошёл в набег на калмыков. Сказал: жди меня, пока снег на горах не растает. А снег на горах никогда не тает. — Старик показал палкой на белые вершины, уже погасшие. — Она ждала. Год ждала. Десять лет ждала. Он не пришёл. Убили. А она всё ждала, сидела здесь, на краю, и плакала. Слезы падали, падали, вырыли яму. Она умерла, а слёзы остались. Теперь скала за неё плачет.

Капли звенели внизу.

— А батыр? — спросил Потанин.

— Батыр? — Старик пожал плечами. — Батыры всегда умирают. Для того и батыр.

Он поднялся, кряхтя, поклонился снова и пошёл со своей лошадью в сумерки.

Потанин достал из-за пазухи записную книжку — маленькую, в клеёнчатом переплёте, купленную в Омске на последние деньги, — и, неловко держа карандаш забинтованными пальцами, стал записывать. Он ещё не знал, зачем. Он просто чувствовал, что это нельзя потерять, что если не записать — оно исчезнет, как исчезают капли, долетев до дна.

«Тамчи-булак. Легенда о плачущей скале. Рассказал старик-киргиз, имени не спросил».

Он подчеркнул последние слова и устыдился. Надо было спросить.

Утром его разбудил чужой голос:

— Барчонок! Гришенька! Ваше благородие! Да неужто?

В дверях хаты, где он квартировал вдвоём с Лаптевым, стоял пожилой казак — сутулый, кривоногий, с седой щетиной на впалых щеках и с глазами, полными слёз. Потанин сел на лавке, ничего не понимая. Лаптев, лежавший у стены, приоткрыл один глаз и снова закрыл.

— Не признали? — Казак шагнул в хату и сдёрнул фуражку. — Я же Фёдор! Фёдор Кожевников! У дяденьки вашего, Дмитрия Ильича, в Семиярском, при конюшне был! Я ж вас, барчонок, утешал!

И Потанин вспомнил.

Он вспомнил не лицо — лица он не помнил, — а запах: сено, дёготь, конский пот, кислая овчина. Вспомнил огромные, тёплые, жёсткие ладони, которые гладили его по голове. Вспомнил полутьму конюшни, где фыркали лошади и сквозь щели в досках пробивались лучи, в которых плясала пыль. Вспомнил, как бежал туда, в эту полутьму, с мокрым от слёз лицом, и зарывался лицом в эту кислую овчину, и никто его там не искал, потому что никому не приходило в голову, что барчонок может прятаться у конюха.

...Дом дяди Дмитрия стоял в Семиярской станице над Иртышом, большой, двухэтажный, лучший на всей линии. Дядя был богат — так богат, как не бывает богат никто, кроме разве что царя: у него было десять тысяч лошадей. Табуны паслись в степи на сто вёрст, и сам дядя не знал им точного счёта. Отец, Николай Ильич, разжалованный в рядовые, отдал семилетнего Гришу брату на прокормление — сам он тогда ничего уже не имел, кроме солдатской шинели.

Дядя был добр, но редко бывал дома. Хозяйкой была тётка, Павла Александровна, — сухая, высокая, с поджатыми губами, урождённая дворянка, вышедшая замуж за казака ради табунов и до конца жизни этого не простившая. Мужнину родню она не любила, а сироту при живом отце — сына разжалованного, позор семьи — не любила особенно. Она никогда не била его. Она делала хуже: не замечала. За столом ему накладывали последнему. На именинах кухни Лены его забывали позвать в гостиную. Когда Лена, балованная, капризная девочка на год старше, разбивала чашку из сервиза и, указав на Гришу, говорила: «Это он!» — тётка не наказывала его, а только смотрела, долго, холодно, как смотрят на таракана, вылезшего из щели. И он, не умея оправдаться, бежал в конюшню.

Дядя нанял ему учителя — отставного писаря, который не знал ни одной книжки, кроме тех, что оставались у него с военной службы. Вместо букваря он дал семилетнему мальчику руководство по фортификации. Гриша научился читать по этой книге — бегло, правильно, с выражением — и не понял в ней ни одного слова. «Эскарп», «контрэскарп», «равелин», «гласис» — эти слова звучали как заклинания, как имена чужих богов. Он шептал их по ночам, не зная, что они значат, и они казались ему прекрасными.

Конюх Фёдор был единственным в доме, кто называл его не «Григорием», не «мальчиком», а «барчонком» и «Гришенькой». Он сажал его на коня — на смирную белую кобылу Ласточку, — водил по двору, рассказывал сказки про Ивана-царевича и Серого Волка, про конька-горбунка, про киргизского батыра, у которого был конь, умевший говорить человеческим голосом...

— Фёдор, — сказал Потанин, вставая. — Фёдор, Господи... Садись.

Казак не сел. Он стоял посреди хаты, мял в руках фуражку и плакал, не вытирая слёз.

— Вырос-то как, — повторял он. — Офицер! Барчонок мой — офицер!

Потанину было неловко, радостно и стыдно одновременно. Он схватил старика за руки, потом выпустил, потом снова схватил. Ему хотелось что-то сделать для него, что-то подарить, отблагодарить за те давние сумерки в конюшне. Он полез в карман, потом в сундучок — и понял, что у него ничего нет. Жалованье хорунжего — семьдесят два рубля в год; из них пятьдесят ушли на мундир и седло, остальные — на книги и записную книжку. В кошельке звенели три медных пятака.

— Табак есть, — сказал он, краснея. — Хочешь табаку, Фёдор?

— Табаку? — Старик засмеялся сквозь слёзы. — Табаку можно. Табаку я всегда.

Они сели на порог и закурили одну трубку на двоих — по очереди, как курят в степи. Лаптев за спиной притворялся, что спит, и Потанин был ему за это благодарен.

— А дяденька-то ваш, Дмитрий Ильич, — сказал Фёдор, выпуская дым, — помер ведь. Слыхали?

— Слыхал.

— А табуны тётка ваша продала. Все. Уехала в Россию, в Тамбов, что ли. Дом стоит пустой. Ласточка тоже померла. Старая была.

Они помолчали.

— Вы, ваше благородие, к нашим-то не ходите, — сказал вдруг Фёдор, понизив голос. — Здесь, в Копале. Тут иные служат, кто при вашем батюшке... ну, при его деле... Они помнят. Не все добром.

Потанин кивнул. Он знал. Он с детства знал, что фамилия Потанин на линии произносится с особой интонацией — смесью уважения, насмешки и злорадства. Сын того самого. Того, что был первым, а стал никем.

Полковник Абакумов, начальник Копальского округа, был человек большой, краснолицый, с седыми бакенбардами и голосом, от которого вздрагивали лошади на коновязи. Он пороку понюхал ещё на Кавказе, был ранен под Ахульго, потом двадцать лет мотался по Киргизской степи, основывал укрепления, ловил барантачей, вешал, миловал, торговал, пил и

снова вешал. В Копале его боялись больше, чем Бога, потому что Бог был далеко, а Абакумов — вот он, на крыльце, в расстёгнутом мундире и с нагайкой.

Поэтому, когда Потанина послали к полковнику с пакетом от командира сотни, он шёл к его дому с тем чувством, с каким идут к зубодёру.

Денщик впустил его в сени и ушёл докладывать. Потанин ждал. Из-за приоткрытой двери тянуло каким-то странным запахом — не табаком, не водкой, а чем-то острым, аптечным, сладковатым. Время шло. Денщик не возвращался. Наконец из-за двери раздался тот самый голос:

— Ну, кто там? Входи, чёрт тебя дерит, не стой столбом!

Потанин вошёл и замер.

Комната была заставлена столами, и на всех столах лежали птицы. Сотни птиц. Мёртвые, маленькие, пёстрые — синицы, вьюрки, зяблики, удода с хохолками, шурки, переливающиеся всеми цветами радуги, какие-то крошечные серо-зелёные пичуги, которых Потанин никогда не видел, — они лежали рядами, на спинках, поджав лапки, с ватой в глазницах. В углу стоял шкаф с банками, на банках — надписи по-латыни. На полу валялись перья. А посреди всего этого, за самым большим столом, без мундира, в одной рубашке, с засученными рукавами, сидел полковник Абакумов и тонким скальпелем снимал шкурку с маленькой жёлтой птички, держа её в своих огромных красных пальцах так бережно, как держат младенца.

— Пакет на стол, — сказал он, не поднимая глаз. — Вон туда, где не испачкано. Осторожно! Там овсянка садовая, не задень.

Потанин положил пакет. Полковник продолжал работать. Скальпель ходил под кожей птички, отделяя её от мяса, тонко-тонко, без единого разрыва.

— Мышьяк, — сказал Абакумов, кивнув на банку с белым порошком. — Чтоб моль не жрала. Руками не трогай, помресь. — Он вывернул шкурку, как чулок, и стал набивать её ватой. — Ну? Чего уставился? Не видал?

— Не видал, ваше высокоблагородие, — честно сказал Потанин. — А зачем это?

Абакумов поднял на него глаза — маленькие, голубые, неожиданно весёлые.

— В Академию, — сказал он. — В Санкт-Петербург. В Императорскую Академию наук. Господину Брандту, академику. Он мне пишет: пришлите, мол, полковник, всех птиц, какие есть в Семиречье. А их тут, брат, столько, что никто и не считал. Вот я и считаю. Видишь эту? — Он показал на маленькую серую птичку с розовым горлышком. — Чечевица. А вот этой, — он показал на другую, похожую, — нет в книгах. Нигде нет. Я её первый нашёл. Понимаешь? Первый на свете. Брандт пишет — назовём, говорит, вашим именем. Абакумовская чечевица! — Он захохотал так, что зазвенели банки. — Меня тут все за зверя держат, а в Петербурге в книжке буду, вот как! Через сто лет никто не вспомнит, кого я вешал, а птичку мою будут помнить. Садись, хорунжий. Бери вату. Будешь помогать.

И Потанин, к собственному изумлению, сел и стал помогать.

Он просидел у полковника до темноты. Его пальцы, ещё не зажившие после ущелья, были неловкими, и он порвал две шкурки, и полковник ругал его страшными словами, и заставлял начинать снова. Но к вечеру у него получилось — маленькая буро-пёстрая птичка, набитая ватой, с блестящими стеклянными бусинками вместо глаз, лежала перед ним на столе как живая.

— Жаворонок рогатый, — сказал Абакумов, разглядывая работу. — Ничего. Для первого раза — ничего. Руки у тебя, хорунжий, не казачьи. Учёные руки. На что тебе служба?

Потанин не знал, что ответить.

...В Пресновске, где он жил с отцом после дядиной станицы, был сад. Не огород — сад, единственный на всю линию. Его разбил полковник Эллизен, командир полка, — немец, педант и мечтатель, который выписывал семена из Риги и из Петербурга и разбивал клумбы так, что сверху, с крыльца, они читались как буквы: «Е» — Елизавета, имя жены, и вокруг греческий меандр из белых маргариток. Там росли цветы, которых никто на линии не видел: кре-

мовая скабиоза, похожая на подушечку для булавок; дельфиниум, синий, как небо над Иртышом; коровяк — огромный, в рост человека, с жёлтыми цветами и с бутонами, мягкими и пушистыми, как кроличьи лапки. Маленький Гриша, которого брали в полковничий дом играть с полковничьими детьми, часами стоял у этих клумб, трогал бутоны коровяка и боялся дышать.

Полковница, Елизавета Карловна, была больна — у неё было что-то с ногами, и она не вставала с пуховика, лежала на веранде, обложенная подушками, и читала. Она выписывала из Петербурга детский журнал «Звёздочка» и читала его вслух детям — и чужим, и своим. Она читала им Гоголя — «Вечера на хуторе», от которых дети визжали и прятались под стол. Она дала Грише «Робинзона Крузо» — толстую книгу с картинками, в кожаном переплёте, с золотым обрезом, — и сказала: «Береги. Это моя любимая».

Он читал её ночами, в девичьей, где спал, потому что в доме отца не было для него отдельного угла. Свечу приходилось воровать на кухне. Девки храпели на полатах, тараканы бегали по стенам, а он читал, как Робинзон спасся с корабля, как построил дом, как нашёл след босой ноги на песке. И он думал тогда — шёпотом, про себя, чтобы никто не слышал: я не хочу служить. Я хочу смотреть. Я хочу, чтобы у меня тоже был остров. Целый мир, в котором до меня никто не был.

— Не знаю, ваше высокоблагородие, — сказал Потанин полковнику. — Наверное, затем, что больше некуда.

Абакумов посмотрел на него долгим взглядом и ничего не сказал. Потом сунул ему в руки свёрток — три готовые птичьи шкурки, лучшие.

— На, — сказал он. — Для коллекции. Начнёшь свою. Дурак, кто не начинает.

Хата, где квартировали хорунжие, принадлежала казаку Гаврилову, а точнее — его жене, Акулине Степановне, бабе широкой, крикливой и деятельной. Гаврилов был в карауле, Акулина правила хозяйством одна — коровами, огородом, детьми и джатаками.

Джатаки жили во дворе. Это были киргизы, у которых не было скота — то есть не было ничего, потому что киргиз без скота не человек. Их старая, дырявая юрта, залатанная кусками кошмы разного цвета, стояла у самого хлева, и в ней жила семья: старик, вечно кашлявший, его невестка, худая молчаливая женщина с потухшими глазами, и девочка лет десяти — Айганым. За право жить во дворе и додаивать хозяйских коров после хозяйки, за обрат и объедки, они делали всю чёрную работу: рубили дрова, носили воду, чистили хлев, мяли кожи, пасли телят.

Айганым носила воду. Она носила её с утра до ночи, на коромысле, в двух деревянных вёдрах, каждое из которых было больше её головы, от ручья до хаты, по крутой тропинке. Она была босая, в рваном платье из грубой бязи, и руки у неё были в синяках, и на щеке — длинная жёлтая полоса от старого кровоподтёка.

Потанин заметил её на второй день. На третий день он увидел, как это происходит.

Девочка поскользнулась на тропинке, упала, вода разлилась. Одно ведро треснуло. Акулина Степановна, стоявшая на крыльце, коротко взвизгнула, слетела вниз, вырвала из рук девочки коромысло и стала бить её этим коромыслом — по спине, по рукам, по голове, — не сильно, но привычно, как бьют собаку, которая не со зла, а по глупости нагадила в сени.

— Ах ты, нехристь! — приговаривала она. — Ах ты, дармоедка поганая! Ведро-то стоит полтину! Я тебе за полтину шкуру спущу, слышишь ты, орда немытая!

Девочка не кричала. Она лежала на земле, закрыв голову руками, и молчала, и это молчание было страшнее крика.

...В доме отца в Пресновске жила калмычка. Её звали Авдотья — так её окрестили, когда купили, а как её звали раньше, никто не знал и не спрашивал. Отец купил её ещё в ту пору, когда был богат, у киргизов, которые угнали её ребёнком из калмыцкого кочевья за Тарбагатаем. Она была уже немолодая, худая, с плоским жёлтым лицом и тихим голосом. Она нянчила Гришу, когда умерла мать, — пела ему какие-то песни на своём языке, которых он не понимал, но от которых засыпал. Пахло от неё дымом и бараньим жиром.

Хозяйством в доме тогда правила тётка Мелания, сестра отца, вдова, переехавшая к брату, когда тот остался один. Женщина огромная, с тяжёлыми руками, с голосом как у полкового трубача. Она невзлюбила Авдотью с первого дня — за то, что та была калмычка, за то, что крещёная, а всё равно нехристь, за то, что мальчик её любил больше, чем тётку. Мелания била её — ухватом, скалкой, кулаками, чем придётся. Однажды Гриша, вбежав на кухню, увидел, как тётка стоит над Авдотьей, лежащей на полу, с ухватом в руке, и кричит: «Убью, сука калмыцкая! Убью!» — и у Авдотьи по лицу течёт кровь, из-под волос, из рассечённой головы.

Он закричал тогда, бросился на тётку, повис у неё на руке. Мелания отшвырнула его, как котёнка. Потом, правда, перестала бить — при нём.

Авдотья умерла через год. От чахотки, сказали. Её похоронили за кладбищенской оградой, потому что батюшка сомневался, крещёная ли она по-настоящему. Мальчик потом долго ходил туда, к холмику без креста, и не мог понять: почему? Почему её можно было купить? Почему можно было бить? Почему тётка, которая каждое воскресенье ходит в церковь и ставит свечи, не ответит за это ни перед кем — ни перед людьми, ни перед Богом?

И ещё одна мысль — он гнал её, но она приходила снова — мысль о дедовских табунах. О десяти тысячах лошадей дяди Дмитрия. О том, откуда они взялись. Дед Илья, говорили, был ловок: в голодные зимы, когда у киргизов падал скот, он скупал за бесценок их детей и их последних кобылиц. Брал в залог. Брал в работники. Брал. Казачье богатство на линии было построено из этого — из чужих бед, из чужих детей, из Авдотий и Айганым.

— Акулина Степановна! — сказал Потанин, выйдя на крыльцо. Голос у него сорвался, и он повторил громче: — Акулина Степановна! Оставьте её!

Хозяйка обернулась, всё ещё с коромыслом в руке. Лицо у неё было красное, потное, удивлённое.

— Чего-сь, ваше благородие?

— Оставьте ребёнка. Я... я заплачу за ведро.

Он сказал это — и вспомнил, что у него три пятака. Ведро стоило полтину.

Акулина Степановна посмотрела на него, на его забинтованные руки, на его мальчишеское лицо с первым пухом над губой, — и засмеялась. Не зло, а добродушно, по-матерински.

— Да на что вам, ваше благородие? — сказала она. — Не берите в голову. Вы ещё молоды, вы тут без году неделя. Их по-другому не учат. Они ж как скотина — только палку и понимают. Вот послужите с моё — сами увидите.

Она бросила коромысло и пошла в хату, вытирая руки о передник. Айганым поднялась с земли, подобрала целое ведро и, не глядя на офицера, пошла к ручью. По щеке у неё текла кровь.

Потанин стоял на крыльце и чувствовал, как у него горят уши. Он мог бы пойти за хозяйкой. Мог бы закричать на неё, пригрозить, пожаловаться коменданту. Он был офицер, она — казачка; она обязана была ему подчиняться. Но он не пошёл. Он не знал, что сказать. Он не знал, имеет ли право. Он вдруг почувствовал себя таким же маленьким, как тогда, на кухне в Пресновске, когда тётка Мелания отшвырнула его рукой.

Вечером он отдал Айганым свои три пятака. Девочка взяла их, не поднимая глаз, и ничего не сказала. Он так и не узнал, досталось ли ей потом за эти пятаки.

Лаптев, узнав об этом, сказал:

— Ты, Гриша, святой. Только святых на линии не держат. Их в Сибирь ссылают. Ах да, мы и так в Сибири.

Генерал-губернатор Западной Сибири генерал-лейтенант Густав Христофорович Гасфорд прибыл в Копал на четвёртый день, в коляске на английских рессорах, в сопровождении двух адъютантов, конвоя из полусотни казаков, повара-француза и походной библиотеки в трёх сундуках.

К его приезду готовились неделю. Всё, что можно было побелить, было побелено — казармы, церковь, коновязи, камни вдоль дороги и, кажется, даже козы на площади. Солдаты чистили пуговицы кирпичной пылью до золотого сияния. Казаки подстригали лошадям гривы. Акулина Степановна, как и все копальские бабы, напекла пирогов, хотя генерал не собирался заходить ни к кому на пироги.

Отряд выстроили на площади в полной форме. Было жарко. Стояли два часа. Наконец коляска въехала, остановилась, и из неё вышел человек в мундире, весь в звёздах и орденах, — плотный, розовый, с подстриженными седыми усами и с лицом человека, который знает решительно всё.

Гасфорд обошёл строй, кивая. Потом поднялся на специально сколоченный помост и заговорил.

Он говорил долго. Он говорил по-русски правильно, но с немецким выговором, тщательно выстраивая каждую фразу, как каменщик выстраивает стену. Он говорил о великой миссии России на Востоке. О том, что наше оружие несёт свет просвещения диким ордам, коснеющим во тьме невежества. О том, что киргиз по природе своей добр, но ленив и склонен к хищничеству, и потому нуждается в отеческом надзоре. О том, что граница империи должна быть проведена по естественным рубежам — горам и рекам, — и что Заилийский край, лежащий перед нами, есть такой естественный рубеж, предначертанный самим Провидением.

Потом он перешёл к частностям. Он рассказал о своём проекте вооружённых гумен: каждое казачье гумно будет обнесено валом с бойницами, с тем чтобы во время молотьбы казаки могли в случае набега немедленно перейти к обороне, не бросая снопов. Он показал чертёж. Офицеры с каменными лицами смотрели на чертёж.

Потом генерал, воодушевившись, рассказал о своём главном замысле. Магометанская вера, сказал он, глубоко укоренена среди киргизов, но укоренена поверхностно, — это противоречие его не смутило, — и потому для облегчения их перехода в православие следовало бы сначала создать для них некую промежуточную веру, среднюю между христианством и исламом, соединяющую лучшие стороны обеих. Он уже набросал её основные положения. Он работает над этим по вечерам.

В строю кто-то тихо хрюкнул.

Лаптев, стоявший рядом с Потаниным, наклонился к его уху и, не меняя каменного выражения лица, прошептал:

— А обрезание, интересно, будет — наполовину?

Потанин закусил губу так, что почувствовал вкус крови. Плечи его тряслись. Он смотрел прямо перед собой, на розовое генеральское лицо, и молился всем святым, известным и неизвестным, чтобы не засмеяться. Слёзы текли у него по щекам. Урядник Бобров, стоявший за спиной, неодобрительно засопел.

— ...и, таким образом, — закончил Гасфорд, — мы утвердим здесь не только меч, но и крест. Ура, господа!

— Ура-а-а! — грянул отряд, и Потанин заорал громче всех, потому что «ура» можно было кричать с любым лицом.

После речи генерал объявил приказ: отряд под командой пристава Большой орды подполковника Перемышльского переходит реку Или и выбирает место для нового укрепления у подножия Заилийского Алатау, в урочище Алматы. Выступление через три дня.

Потанин впервые увидел Перемышльского, когда тот подошёл к помосту принимать приказ. Это был невысокий сухой человек лет сорока, в выцветшем сюртуке без орденов, с загорелым до черноты лицом и глубокими морщинами у глаз — такие бывают у людей, которые много лет смотрят на солнце и на снег. Он выслушал генерала, коротко ответил: «Слушаюсь, ваше высокопревосходительство», — и отошёл в сторону.

Потанин заметил: всё время, пока Гасфорд говорил, пристав ни разу не взглянул на генерала. Он стоял чуть в стороне от свиты и смотрел на горы.

Почта из Омска пришла с генеральским обозом. Писем было мало: на линии писали редко, а читать умели ещё реже. Но одно было для Потанина.

Он узнал почерк сразу, ещё не распечатав, — летящий, с завитушками, с длинными хвостами у «у» и «д», как у кадетского писаря, решившего блеснуть. Он сунул письмо за пазуху и не открывал его до вечера, растягивая удовольствие, как растягивают последний кусок сахара.

Вечером он ушёл к Тамчи-булаку, сел на своё место на краю и вскрыл конверт.

«Любезный друг Гриша!

Пишу тебе из самого генерал-губернаторского дворца, в котором я теперь состою адъютантом — да, да, не падай со своего коня! Мне дали аксельбант и кабинет с окном на Иртыш, и я теперь каждый день вижу всех этих звёздных и полосатых господ, которые в корпусе казались нам Юпитерами, а вблизи оказались обыкновенными стариками с подагрой. Генерал наш, ты, верно, его уже видел, — человек учёный и пресмешной. Он сочиняет новую веру для моих соплеменников. Я предложил ему назвать её „гасфордианство“; он, кажется, не понял, что я шучу.

Но не о том речь. Слушай меня, Гриша, и запоминай, ибо пишу историческое. Я непременно проникну в Кашгар. Ты знаешь, что со времён Марко Поло ни один европеец не входил в этот город и не вышел оттуда живым. А я войду — и выйду. Я переоденусь купцом, я сбрую голову, я выучу молитвы — я ведь всё-таки мусульманин, хотя бы по бабушке. И я напишу об этом книгу, и её переведут на все языки, и Гумбольдт будет читать её в Берлине и плакать от зависти.

А ты, бедный мой друг, будешь вечно сидеть в своём казачьем седле с Карамзиным за пазухой и смотреть на Тянь-Шань издали, как кот на сметану.

Посылаю тебе для утешения рисунок. Ты узнаешь его — это моя старая сабля, которую мы с тобой рисовали в корпусе, только теперь я нарисовал её лучше.

Твой навсегда — Чокан Валиханов, адъютант, будущий путешественник и, может быть, хан.

P.S. Пиши мне всё, что увидишь. Всё — и горы, и людей, и сказки. Ты один умеешь слушать сказки так, чтобы их хотелось рассказывать».

Из конверта выпал листок — сложенный вчетверо, плотный. Потанин развернул его. На нём тушью, тонко, с невероятной точностью, была нарисована киргизская сабля — кривая, в ножнах, отделанных серебряными бляшками, с рукоятью в виде головы беркута. Под рисунком стояло: «Ч. В. 1853».

...В корпусе Чокан был единственным киргизом во всём Сибирском кадетском корпусе — внук последнего хана Средней орды, сын султана, маленький, смуглый, гибкий, с раскосыми смеющимися глазами. Его определили в корпус, чтобы сделать из него русского офицера, и он стал русским офицером — лучшим в своём выпуске, — но и киргизом остался.

Они подружились в пятом классе. Гриша был тогда тихий, неловкий, сутулый, вечно с книжкой; его дразнили «Робинзоном» и «монахом». Чокан был всеобщим любимцем, остроумцем, рисовальщиком, сочинителем эпиграмм. Почему он выбрал в друзья именно Потанина, никто не понимал. Может быть, потому, что Гриша умел слушать.

Чокан рассказывал. Он рассказывал о своей степи — о кочёвках, о беркутах, о скачках, о байге, о том, как его дед-хан принимал русских послов в белой юрте, о старых сказителях-акынах, которые пели ночи напролёт про батыров. Гриша слушал, и записывал, и спрашивал ещё. Чокан рисовал — юрты, верблюдов, всадников, сабли, — а Гриша под рисунками писал объяснения. Так у них получилась общая тетрадь — толстая, растрёпанная, исписанная двумя почерками и изрисованная одной рукой.

Однажды вечером, в классе, когда все ушли, Чокан принёс книгу — «Путешествие по разным провинциям Российской империи» академика Палласа, огромный том, выпрошенный у учителя. Они листали его вдвоём, при свече, и Чокан, водя пальцем по гравюрам с изображением калмыцких кибиток, сказал:

— Понюхай.

— Что?

— Понюхай страницу. Чем пахнет?

Гриша понюхал. Страница пахла пылью, старой бумагой и клеем.

— Полыню, — сказал Чокан серьёзно. — Степью. Ты не чувствуешь, потому что ты русский. А я чувствую.

И Гриша поверил. Он и сейчас, через пять лет, верил, что в книгах Палласа пахнет полыню.

Потанин сидел на краю Тамчи-булака, держал в руках рисунок, и в груди у него было сразу всё: нежность — такая, что хотелось плакать; зависть — горькая, жгучая, как горчица; восхищение; обида; вызов. Чокан будет в Кашгаре. Чокан напишет книгу. Чокан будет хан. А он, Потанин, будет сидеть в седле с Карамзиным за пазухой.

Внизу звенели капли.

— Посмотрим, — сказал он вслух. — Посмотрим, кто первым увидит Китай.

Скала не ответила. Она плакала по своему батыру и не слушала чужих споров.

Последняя ночь перед выступлением выдалась тёплой и безветренной.

Потанин не мог уснуть. Лаптев храпел у стены, во дворе кашлял старик-джатак, за окном брехали собаки. Он встал, натянул сапоги и вышел за околицу.

Копал спал. Горы стояли над ним чёрные, огромные, и только вершины ещё светились — не солнцем, а каким-то собственным тусклым светом, будто снег сам излучал его. Было тихо. Где-то далеко, в степи, ржала лошадь.

На юге, за горами, — он знал это по карте — лежала долина Или. Широкая река, камыши, тигры, говорят, водятся. За рекой — ещё горы, Заилийский Алатау, а за ними — Тянь-Шань, Небесные горы, о которых он читал у Риттера и у Гумбольдта: вечноснеговые хребты, огненные горы, вулканы, которых, может быть, и нет. Никто из европейцев туда не ходил. Никто не знал, что там. Через три дня он пойдёт туда — не путешественником, не учёным, а хорунжим Седьмого казачьего полка, с саблей на боку, — и всё-таки пойдёт.

У коновязи, на краю площади, светилась красная точка — кто-то курил. Потанин подошёл и разглядел сухую фигуру в выцветшем сюртуке. Перемышльский.

— Не спится, хорунжий? — спросил пристав, не оборачиваясь.

— Никак нет, ваше высокоблагородие.

— Брось. Не на плацу. — Перемышльский затянулся, и красная точка осветила его лицо — морщины, глаза в прищуре. — Потанин, что ли? Сын Николая Ильича?

Потанин вздрогнул.

— Так точно.

— Знавал твоего отца. Толковый был офицер. Самый толковый на линии. Не повезло ему. — Пристав помолчал. — Мне говорили, ты книжки читаешь. И птиц у Абакумова набивал.

— Так точно.

— Зачем казачьему офицеру книжки?

Потанин хотел ответить что-нибудь умное. В голове пронеслось всё сразу: Гумбольдт, Риттер, Паллас, Робинзон, Чокан с его Кашгаром, плачущая скала, абакумовская чечевица, которую будут помнить через сто лет. Он сказал — горячо, по-мальчишески, немного напыщенно:

— Чтобы знать, ваше высокоблагородие. Чтобы понять, что это за край. Какие тут горы, реки, какие люди, какие у них сказки. Чтобы описать его. Ведь его никто не описывал. Никто ничего не знает!

Перемышльский долго молчал. Красная точка разгоралась и гасла.

— Это хорошо, — сказал он наконец. — Это правильно. Только запомни, хорунжий. Завтра — послезавтра — мы пойдём через Или брать землю у людей, которые на ней живут тысячу лет. У них там свои горы, свои реки и свои сказки. И они нас не звали. — Он бросил окурок, растёр его сапогом. — Книжки потом напишешь. Сначала научись видеть.

Он повернулся и ушёл в темноту, к своей палатке.

Потанин остался один.

Он поднял голову. Над горами, над спящим Копалом, над всей этой огромной, древней, чужой землёй горели звёзды. Их было больше, чем он когда-либо видел, — тысячи, десятки тысяч, крупные и мелкие, белые, голубые, красноватые, — и между ними тянулась туманная полоса Млечного Пути, которую киргизы называют Птичьей Дорогой, потому что по ней улетают на юг перелётные птицы. И всё это огромное, сверкающее небо медленно-медленно поворачивалось вокруг одной яркой точки на севере — вокруг Железного Кола, Полярной звезды, к которой, как говорят в степи, привязаны небесные кони.

Он смотрел на неё долго, запрокинув голову, пока не заболела шея. Ему казалось, что он уже видел это когда-то — давно, очень давно, ещё до того, как научился говорить. Но он не мог вспомнить где.

Он не помнил. Его не учили ещё ни словам, ни страху, когда он видел это в первый раз.



Глава 2. Войлочная дверь

Лошадь не хотела входить в реку.

Она была умная лошадь, казачья, рыжая, с белой проточиной на лбу, и она видела то, чего не хотел видеть хорунжий Потанин: что Или в этом месте шириной в добрые полверсты, что вода в ней мутная, жёлтая, как жидкая глина, и что течение несёт по ней вырванные с корнем кусты, и кусты эти крутятся, уходят под воду и выныривают снова саженях в двадцати ниже. Лошадь пятилась, храпела, косила на всадника белым глазом и всем своим видом говорила: ты дурак, и я не дура.

— Да ты её не тяни, ваше благородие, — сказал проводник Булек, сидевший на корточках у самой воды. — Ты её обмани.

— Как обмани?

— Сам иди. Она за тобой пойдёт. Лошадь одна оставаться боится больше, чем воды.

Булек был киргиз из рода Дулат, лет пятидесяти, с лицом, похожим на печёное яблоко, — коричневым, сморщенным, сладковатым. У него не было двух передних зубов, и он говорил по-русски с присвистом, но говорил хорошо: двадцать лет водил русские отряды через степь, знал все броды, все колодцы, все кочевья и, как подозревал Потанин, всех барантачей на тысячу вёрст. Его взяли проводником за двести рублей серебром и обещание не спрашивать, откуда у него столько хороших лошадей.

Переправа шла с рассвета. Пехоту и обоз перевозили на трёх больших лодках, выдолбленных из тополевых стволов и связанных попарно; пушки — на пароме, сколоченном за ночь из брёвен, которые пришлось тащить за пятнадцать вёрст, потому что в камышах у реки не росло ничего толще оглобли. Паром тянули канатом с того берега, и он шёл медленно, страшно, крепясь под тяжестью орудий, и казаки, стоявшие на нём, крестились при каждом рывке. Лошади плыли сами.

Потанин снял сапоги, связал их за ушки и повесил на шею. Снял мундир, скатал, сунул в кожаную суму вместе с записной книжкой и письмом Чокана, а суму отдал на лодку. Остался в рубахе и шароварах. Взял лошадь под уздцы, вошёл в воду по колено — она была ледяная, горная, хотя стоял август и в степи земля трескалась от жары, — по пояс, по грудь. Лошадь, всхрапнув, двинулась следом. Он ухватился за её хвост, как учили в корпусе, оттолкнулся от дна — и река взяла его.

Это было как попасть в руки огромного, равнодушного, сильного зверя. Течение потащило вбок, вниз, в сторону; мутная вода залила глаза, рот, нос; ноги перестали чувствовать дно и вообще перестали чувствовать что-либо, кроме холода. Он видел перед собой только рыжий конский круп, плывущий рывками, и мокрый хвост в кулаке, и держался за этот хвост так, как, наверное, держался Ной за свой ковчег. Где-то сзади кричали, где-то сбоку плескалось, ржали другие лошади, кто-то ругался по-киргизски, кто-то молился по-русски. Раз мимо него, совсем близко, пронёсся вывороченный куст тамариска с налипшей на корни глиной, и он успел подумать: если ударит — конец. Не ударил.

Потом под ногами снова оказалось дно — сначала скользкое, илистое, потом галечное, твёрдое. Лошадь выбралась на берег, отряхнулась, обдав его брызгами, и посмотрела с укоризной. Потанин сел на гальку и долго не мог отдышаться. Его трясло.

Рядом, в камышах, кто-то шумно выбирался из воды, отплёвываясь и ругаясь. Это был Лаптев — мокрый, без фуражки, в облепившей тело рубахе, с длинной зелёной водорослью на плече, как с аксельбантом.

— Гриша, — сказал он, садясь рядом, — я понял, почему эту землю никто не завоевал. Её просто неудобно завоёвывать.

— Ты где фуражку потерял?

— Подарил реке. Как жертву. Говорят, у киргизов так принято. — Он снял с плеча водоросль, повертел и выбросил. — Ты видел, как Бобров переплыл? Он сидел на лошади верхом и курил трубку. Трубку, Гриша! И она у него не погасла!

Потанин засмеялся — сначала тихо, потом громче, потом так, что не мог остановиться. Это был нервный смех, смех человека, который только что мог умереть и не умер, и Лаптев, понимая это, смеялся вместе с ним.

Булек, переправившийся последним на своей крепкой пегой лошадке, — так ловко, что даже не замочил халата, — проехал мимо и показал плетью в камыши, начинавшиеся за береговой полосой.

— Туда не ходите, — сказал он. — Там джолбарс.

— Кто?

— Тигр. Большой кошка. Вчера след видел. Вот такой. — Он показал ладонь, растопырив пальцы. — Он ночью к воде ходит. Лошадь берёт.

Лаптев перестал смеяться.

— Настоящий тигр? Как в зверинце?

— Как в зверинце, — согласился Булек, хотя никогда не видел зверинца. — Только не в клетке.

Вечером, когда отряд разбил лагерь на правом берегу, в виду гор, Потанин всё-таки пошёл к камышам. Не далеко — до края, туда, где кончалась галька и начиналась стена сухих, шуршащих, в два человеческих роста стеблей. Он взял с собой ружьё, которое не умел толком заряжать, и записную книжку, которую умел.

Тигра он не увидел. Но на мокром песке у самой воды, там, где камыш расступался узкой тропой, он нашёл след — огромный, круглый, с четырьмя отпечатками пальцев и большой подушкой посередине. След был свежий: края ещё не оплыли, в нём стояла вода. Потанин присел, приложил к нему свою ладонь — ладонь утонула в отпечатке целиком, и ещё оставалось место.

Он сидел над этим следом долго, пока не стемнело, и слушал, как шуршит камыш. Ему было страшно и радостно одновременно, как бывает страшно и радостно ребёнку, который знает, что в соседней комнате темно и там кто-то есть. Там, в камышах, в двух шагах от него, жило существо, которое не знало ни генерал-губернатора, ни Седьмого казачьего полка, ни империи, ни Бога. Оно приходило сюда пить, когда хотело, и брало лошадь, когда хотело, и никто не мог ему запретить. Потанин вспомнил Робинзона, нашедшего след босой ноги на песке.

Он открыл книжку и нарисовал след — неумело, в натуральную величину, обведя карандашом свою ладонь для масштаба. Потом подписал: «Джолбарс. Или, левый берег. Август 1853. Не видел».

Подумав, приписал: «Слава Богу».

Отряд встал лагерем на реке Каскелен, у самого подножия Заилийского Алатау, в виду снеговых вершин, которые теперь стояли совсем близко — казалось, протяни руку, и коснёшься. Здесь начиналась земля Большой орды, и здесь же, в двух переходах к востоку, у выхода из гор реки Алматы, кочевали те, ради кого отряд пришёл.

На третий день в лагерь приехали гонцы. Их было пятеро — в богатых халатах, на хороших конях, с соколами на руках; они сидели в сёдлах прямо, как свечи, и смотрели на русские палатки так, как смотрят на табор цыган, разбитый у околицы. Перемышльский принял их у себя в палатке, долго пил с ними чай и разговаривал через переводчика. Потом гонцы уехали, а по лагерю поползли слухи.

Слухи были такие: киргизы Большой орды созывают народное вече — курултай, или, как они сами говорили, «маслихат», совет. На вече соберутся старшины всех родов, кочующих между Или и горами, — дулаты, албаны, суаны, — и будут решать: пустить ли русских на свою

землю или драться. Говорили, что старый султан Таучубек, самый богатый и самый воинственный из дулатских старшин, требует войны. Говорили, что другой старшина, Диканбай, стоит за мир и торговлю. Говорили, что вече продлится три дня, и что русским разрешили прислать на него своих людей — смотреть, но не говорить.

Перемышльский решил ехать сам. С собой он взял двадцать казаков конвоя, переводчика Бардашева и — к общему удивлению — хорунжего Потанина.

— Возьмёшь бумагу и карандаш, — сказал пристав, когда Потанин явился по вызову. — Будешь записывать всё, что услышишь. Кто говорил, что говорил, как говорил. Бардашев будет тебе переводить. Мне для донесения нужно, а у меня рука не та. Справишься?

— Справлюсь, ваше высокоблагородие.

— Ну, смотри. И ещё. — Перемышльский посмотрел на него внимательно. — Ты там глаза не опускай. Они уважают, когда смотрят прямо. Но и не пялься. Это тоже не любят.

Так Потанин познакомился с Бардашевым.

Переводчик Седьмого полка Степан Ильич Бардашев был человек неопределённого возраста — ему могло быть и тридцать, и сорок пять — с узкими, чуть раскосыми глазами, редкой бородкой и тонким насмешливым ртом. Отец его был казак с Горькой линии, мать — киргизка, взятая отцом то ли в жёны, то ли в плен, этого Бардашев никогда не уточнял. Он говорил по-киргизски, по-татарски, по-калмыцки, немного по-китайски, читал по-арабски и знал наизусть половину Пушкина. Когда-то он был офицером — говорили, что сотником, — но его разжаловали за что-то, о чём он тоже не рассказывал: одни говорили — за дуэль, другие — за карты, третьи — за то, что дал по физиономии полковнику, назвавшему его мать «киргизской сукой». Сам Бардашев на вопросы отвечал одинаково: «За любовь к изящной словесности».

Они выехали ещё затемно. Ехали по предгорьям, по ковыльным холмам, которые на рассвете были серебряными, а к полудню стали золотыми. Справа поднимались горы — уже не белой стеной, как в Копале, а ступенями: сначала зелёные холмы, потом тёмные еловые леса, потом голые скалы, и только на самом верху, над всем, — снег. Слева уходила к Или бесконечная жёлтая равнина, в которой паслись табуны — сотни, тысячи лошадей, и между ними, как белые грибы, стояли юрты.

Бардашев ехал рядом с Потаниным и разговаривал. Он говорил без умолку, легко, насмешливо, перескакивая с предмета на предмет, — о киргизах, о казаках, о Гасфорде, о Пушкине, о том, почему у дулатов лошади лучше, чем у албанов, о том, что Гоголь гений, а Булгарин мерзавец, о том, что киргизская девушка до замужества свободнее любой петербургской барышни, а после — несчастнее любой крепостной.

— Вы, хорунжий, что читаете? — спросил он вдруг.

Потанин назвал: Карамзина, Риттера, Гумбольдта, Палласа. Бардашев поморщился.

— Это всё учёное. Это всё хорошо. А живое что-нибудь читаете? «Современник» читаете?

— Нет. Где ж его тут взять?

— У меня, — сказал Бардашев просто. — Мне один ссыльный поляк в Семипалатинске оставил. Восемь книжек за прошлый год и отдельно — вот это. — Он похлопал по седельной суме. — «Записки охотника» господина Тургенева. Вы не читали? Ну конечно, не читали. Это, хорунжий, такая книга — после неё мужика по морде бить стыдно. Её цензор пропустил, а его за это со службы выгнали. Вот что это за книга.

Потанин смотрел на суму, как голодный смотрит на хлеб.

— Дадите почитать?

Бардашев усмехнулся.

— Дам. Но не сразу. Сначала посмотрю, что вы за человек. Книги, знаете ли, тоже не всем можно давать. Как оружие.

Вече собиралось на широкой луговине у выхода реки Алматы из гор, там, где река, вырвавшись из ущелья, разбивалась на десяток рукавов и текла по равнине между яблоневыми рощами. Яблони здесь были дикие — низкорослые, корявые, с маленькими кислыми плодами, — но их было так много, что казалось, будто вся долина — один огромный сад, посаженный великаном и брошенный на произвол судьбы.

Когда русские подъехали, на луговине уже стояли юрты — десятки юрт, белые, серые, бурые, — и между ними двигались люди и кони. Дымились костры. Пахло кизяком, жареным мясом, кислым молоком и конским потом. Где-то блеяли бараны, где-то лаяли собаки, где-то, перекрывая весь этот шум, пел пронзительный мужской голос — долго, на одной ноте, с переливами.

Русских встретили молча. К ним вышел молодой джигит, взял коня Перемышльского под уздцы и повёл к отдельной юрте, поставленной на краю луговины, немного на отшибе. Юрта была хорошая, новая, обтянутая белым войлоком, с узорной дверью. Возле неё уже стоял казан, в котором варилось мясо.

— Почётно, — сказал Бардашев вполголоса, слезая с коня. — Но в стороне. Гости, но не свои. Понимаете, хорунжий? Они нам этим говорят: мы вас приняли, но мы вас не позвали.

Вече открылось на следующее утро.

Потанин потом много раз пытался описать его — в донесении для Перемышльского, в записной книжке, в письме Чокану, много лет спустя — в «Воспоминаниях», — и каждый раз у него не получалось. Слова выходили плоские, книжные, а то, что он видел, было живым и огромным, как сама степь.

На луговине, на ровном месте, был расстелен огромный круг из кошм — белых, серых, узорчатых, сшитых краями. В центре круга не было ничего. По краю, на кошмах, поджав ноги, сидели старшины — человек сорок, а может, пятьдесят, — в халатах из шёлка и сукна, в высоких войлочных шапках, отороченных мехом, иные с соколами на руках, иные с посохами. За ними, во втором ряду, сидели их сыновья и родичи. За ними, в третьем, стояли простые киргизы — сотни, может быть тысячи, — и ещё дальше, по всей луговине, стояли кони, так что казалось, будто это не люди собрались на совет, а вся степь пришла слушать.

Русских посадили в стороне, на отдельной кошме, у самого края. Перемышльский сидел неподвижно, с каменным лицом, сложив руки на коленях. Бардашев сидел рядом с Потаниным и шептал ему перевод прямо в ухо, так тихо, что тот едва различал слова. Потанин писал на коленке, на дощечке, обтянутой кожей, и карандаш у него ломался дважды.

Говорили по очереди. Каждый старшина вставал, выходил в центр круга и говорил — долго, медленно, с паузами, с поговорками и притчами, с ссылками на предков и на Аллаха. Остальные слушали молча, не перебивая. Когда оратор кончал, по рядам проходил гул — одобрительный или недовольный, — и вставал следующий.

— Это Суранчи из албанов, — шептал Бардашев. — Он говорит, что русские пришли, как весна приходит, — никто её не звал, но её не прогонишь. Он говорит, что лучше подружиться с весной, чем замёрзнуть... Это Кудайберген, из суанов. Он говорит, что у русских пушки, а у нас только сабли. Что пушка — это гром, который можно возить на телеге. Что с громом спорить глупо... А вот этот — слышите? — этот говорит, что его дед бил калмыков, а отец бил кокандцев, и что ему стыдно будет перед ними, если он станет бить поклоны белому царю... Его не поддержали. Видите, молчат.

Так прошёл первый день. Таучубек не говорил.

Потанин видел его — Бардашев показал сразу, как только они сели. Старый султан сидел на почётном месте, напротив входа в круг, на тройной кошме, покрытой ковром. Ему было лет шестьдесят, может быть больше; он был невысок, широкоплеч, с короткой седой бородой и тяжёлым смуглым лицом, изрезанным морщинами, как старое седло. На нём был простой тёмный халат без украшений и лисья шапка. Он сидел неподвижно, весь день, не меняя позы,

не произнося ни слова, и только глаза его — узкие, тёмные, глубоко посаженные — двигались, переходя с одного оратора на другого. Иногда они останавливались на русских. Тогда Потанин чувствовал этот взгляд, как чувствуют холод.

— Он ждёт, — шептал Бардашев. — Он хочет, чтобы все высказались. Он будет говорить последним. Это право старшего.

Ночью Потанин не мог уснуть. Он лежал в юрте, на кошме, рядом с храпящим Бардашевым, и слушал. Снаружи было шумно: горели костры, ходили люди, ржали кони, и где-то далеко, на краю луговины, снова пел тот самый голос — тягучий, бесконечный, то поднимаясь до визга, то опускаясь до шёпота.

Он встал и вышел.

Ночь была светлая, лунная. Над горами висела большая жёлтая луна, и снег на вершинах светился под ней призрачным голубым светом. Потанин пошёл на голос.

У дальнего костра, окружённого людьми, сидел старик с домброй — двухструнной, с длинным грифом, — и пел. Люди вокруг сидели молча, неподвижно, как замороженные. Огонь освещал их лица — старые и молодые, мужские и женские, — и на всех лицах было одно и то же выражение: такое бывает у людей в церкви, когда поёт хороший хор.

Потанин остановился в тени, не решаясь подойти. Кто-то заметил его, обернулся — молодой парень, почти мальчик, — посмотрел без враждебности, с любопытством, и подвинулся, освобождая место у огня. Потанин сел.

Он не понимал слов. Он понимал только отдельные — «батыр», «ат» — конь, «тау» — гора, «кыз» — девушка. Но он слышал, как меняется голос певца: вот он скачет — быстро, отрывисто, как стук копыт; вот он плачет — протяжно, надрывно; вот он гневается — резко, громко; вот он шепчет — тихо, нежно, будто говорит с ребёнком. И люди вокруг откликались на каждое изменение — вздыхали, качали головами, кто-то тихо вскрикивал, кто-то утирал глаза.

Когда песня кончилась — а длилась она, наверное, час, — старик отложил домбру и взял чашку с кумысом. Мальчик, подвинувшийся у огня, наклонился к Потанину и сказал по-русски, с сильным акцентом, старательно выговаривая слова:

— Ты понял?

— Нет, — честно сказал Потанин. — О чём он пел?

Мальчик задумался, подбирая слова.

— Про Кобланды-батыра. Он был сильный. Он воевал с калмыками. У него был конь — Тайбурыл. Конь умел говорить. Конь сказал ему: не ходи, там смерть. Он пошёл. Он победил. Но жена его ждала семь лет, и все думали — он мёртвый. А он пришёл.

— А конь?

— Конь тоже пришёл, — сказал мальчик серьёзно. — Хороший конь всегда приходит.

Потанин подумал о Фёдоре-конюхе, о сказке про киргизского батыра с говорящим конём, которую тот рассказывал ему двенадцать лет назад в полутёмной конюшне. Неужели это была та же сказка? Неужели она прошла сотни вёрст по степи, от кочевья к кочевью, от костра к костру, и дошла до русской станицы, до казака-конюха, до маленького мальчика, — а теперь вернулась к нему здесь, под этими горами, из уст этого старика?

Он достал книжку и записал: «Кобланды-батыр. Конь Тайбурыл, говорящий. Жена ждала семь лет. Пел старик с домброй, имя — ?»

Он поднял голову и спросил мальчика:

— Как зовут старика?

Мальчик удивился вопросу.

— Зачем тебе?

— Хочу записать.

Мальчик посмотрел на книжку, на карандаш, на русского офицера, который сидел у их костра и записывал песню, — и вдруг широко, по-детски улыбнулся.

— Его зовут Ешмухамбет. А меня — Жанузак. Меня тоже запиши.

Потанин записал.

Таучубек заговорил на второй день, после полудня, когда солнце стояло высоко и все уже устали от жары и речей.

Он встал медленно, тяжело, опираясь на посох. Вышел в центр круга. Огляделся. Наступила такая тишина, что Потанин услышал, как где-то на краю луговины фыркнула лошадь.

Он начал говорить негромко, почти обыденно, и Бардашев, наклонившись к уху Потанина, переводил:

— Он говорит... Он говорит: я слушал вас два дня. Вы говорили хорошо. Вы говорили умно. Вы говорили про пушки, про гром на телеге, про весну, которую не прогонишь. Вы говорили про торговлю, про ситец, про чай, про железные котлы. Я всё слышал...

Таучубек помолчал. Потом голос его стал громче.

— ...Он говорит: а теперь я скажу. Мой дед пас коней на этой земле. Его дед пас коней на этой земле. Здесь, — он ударил посохом о землю, — лежат наши кости. Здесь наши могилы. Здесь наши аруахи — духи предков. Они смотрят на нас. Они спрашивают: что вы делаете, дети? Вы продаёте нас за ситец? Вы продаёте наши могилы за чай?..

Голос его рос, наполнялся, гремел. Он не кричал — он говорил так, как говорят люди, привыкшие, что их слушают.

— ...Он говорит: русские говорят — мы пришли с миром. Хорошо. Но зачем мир приходит с пушками? Русские говорят — мы будем защищать вас от кокандцев. Хорошо. Но кто защитит нас от русских? Русские говорят — мы построим крепость, и будет торговля. Хорошо. Но когда птица впускает змею в гнездо, змея тоже говорит, что пришла с миром...

По рядам прошёл гул. Многие закивали.

— ...Он говорит: я старик. Я видел, что было на Аягузе, на Лепсе, в Копале. Сначала приходят купцы. Потом приходит пристав. Потом приходят казаки. Потом казаки строят дома, пашут землю, ставят кресты. А потом киргизу говорят: это не твоя земля. Это земля белого царя. Иди отсюда. Твои пастбища — теперь наши покосы. Твои зимовки — теперь наши станицы. Иди дальше, в пески, в горы, куда хочешь. И киргиз идёт. И кости его дедов остаются под русским плугом...

Тишина стала тяжёлой. Потанин перестал писать. Он смотрел на старика и чувствовал, как у него холодеют руки.

Потому что это была правда.

Он знал, что это правда. Он видел Пресновск, где не осталось ни одной киргизской юрты. Он видел Семиарск, где на месте зимовок стояли казачьи хаты. Он видел джатаков во дворе Акулины Степановны, которые когда-то, наверное, тоже были хозяевами. Он видел Авдотью. Он знал, откуда взялись десять тысяч дедовских лошадей.

— ...Он говорит: я не хочу войны. Война — это смерть. Но есть вещи хуже смерти. Позор хуже смерти. Я не отдам землю отцов без боя. Кто со мной — пусть встанет.

Таучубек замолчал и обвёл взглядом круг.

И в этот момент его взгляд остановился на Потанине.

Это длилось, может быть, мгновение — а может быть, долго, Потанин потом не мог сказать. Старик смотрел на него, на мальчишку в казачьем мундире, сидящего на краю, с карандашом и дощечкой в руках, — смотрел прямо, тяжело, без ненависти, но и без снисхождения. Так смотрят на человека, о котором что-то знают. Потанин вспомнил наказ Перемышльского — не опускать глаз — и не опустил. Он смотрел в ответ, хотя у него горело лицо и пересохло в горле.

И ему вдруг показалось, что старик понял. Понял, что этот русский мальчишка услышал. Что-то мелькнуло в тёмных глазах — не улыбка, не одобрение, а, может быть, лёгкое удивление. Как будто он увидел среди стаи волков волчонка, который почему-то не скалится.

Потом Таучубек отвернулся, и Потанин выдохнул.

Встали человек десять — может быть, пятнадцать. Молодые, в основном, горячие, со своими нукерами. Остальные сидели.

— Не встали, — прошептал Бардашев, и в голосе его было что-то, чего Потанин не понял: облегчение? разочарование? — Он проиграл. Он знал, что проиграет. Он говорил не для них. Он говорил для истории.

Последним говорил Диканбай.

Он был моложе Таучубека лет на двадцать — высокий, худой, с умным насмешливым лицом и быстрыми руками, которыми он всё время что-то показывал, будто лепил свои слова из воздуха. Он говорил не так, как Таучубек, — без грома, без аруахов, легко и весело, и люди слушали его, улыбаясь.

— Он говорит, — шептал Бардашев, — что уважает Таучубека, как уважают старый дуб. Что Таучубек прав — земля отцов священна. Но он спрашивает: а кокандцы? Кокандцы каждый год приходят и берут с нас подать. Берут наших коней, наших девушек, наших сыновей в рабство. Где была священная земля, когда кокандский бек жёг аулы на Чу? Он говорит: кокандцы — волки, а русские — медведь. Медведь большой и страшный, но он сытый. А волк всегда голодный... Он говорит: если мы будем драться с медведем, волки нас доедят. А если медведь будет нас защищать от волков — мы будем жить. Может, не так, как наши деды. Но будем жить. А мёртвым никакая земля не нужна, кроме двух аршин...

По рядам прошёл смех и одобрительный гул.

— ...Он говорит: русские дадут нам железные котлы, ситец, чай, сахар. Наши жёны будут ходить в шёлке. Наши дети будут учиться грамоте. Наши купцы будут торговать с Россией и с Китаем. Он говорит: я ездил в Семипалатинск и видел — там киргизы живут в домах, у них есть деньги, они пьют чай с сахаром. Это плохо? Он говорит: старый дуб красив, но он не даёт плодов. А мы — молодой сад. Нам нужно расти...

— Ловко, — сказал Бардашев, перестав переводить. — Очень ловко. Вы заметили, хорунжий, — он ни слова не сказал против Таучубека. Он сказал, что Таучубек прав. Он просто сказал, что правда — это не главное. Главное — выжить. Хорошая политика. Очень европейская.

Голосовали не руками — голосовали тем, что одни подходили к Диканбаю, а другие оставались на месте. К Диканбаю подошли почти все.

Таучубек встал, ни на кого не глядя, и пошёл к своему коню. За ним пошли его люди — человек тридцать. Они сели на коней и уехали в горы, на юг, не оборачиваясь. Никто не пытался их остановить.

Потанин смотрел им вслед, пока они не скрылись за холмом.

— Он вернётся, — сказал Перемышльский, впервые за два дня нарушив молчание. — Не сейчас. Зимой. Или весной. Такие всегда возвращаются.

И, повернувшись к Потанину:

— Записал?

— Записал, ваше высокоблагородие.

— Всё?

Потанин помедлил.

— Всё, ваше высокоблагородие. И то, что Таучубек сказал про змею и гнездо, — тоже.

Перемышльский посмотрел на него долго и внимательно.

— Это в донесение не пойдёт, — сказал он. — Но ты не вычёркивай. Оставь себе.

Вечером к русскому лагерю потянулись верблюды.

Их было много — двадцать, тридцать, сорок, — и каждый нёс на горбах огромные кожаные бурдюки, раздутые, лоснящиеся, булькающие. За верблюдами гнали баранов — целое стадо, курчавое, блеющее. За баранами ехали всадники в праздничных халатах. Это был дар мира — кумыс и мясо, — который Диканбай и старшины, вставшие на его сторону, посылали русским.

Перемышльский принял дар с подобающей торжественностью. В ответ он отдал старшин сукном, ситцем, чаем, сахаром и серебряными часами, которые специально для такого случая везли из Омска. Началось пиршество.

Потанин никогда не пил кумыса. Он попробовал — и поморщился: кислый, резкий, пахнущий лошадьё, с пощипывающими пузырьками. Бардашев засмеялся.

— Пейте, хорунжий, пейте. Первая чашка — гадость. Вторая — терпимо. Третья — нектар. После десятой вы будете петь песни на киргизском языке и признаваться в любви верблюду.

Потанин выпил вторую. Потом третью. Бардашев оказался прав — третья была нектаром. Потом он потерял счёт.

Он помнил потом обрывками. Огромный казан, в котором варилась целая баранья туша. Старика-хозяина, который голыми руками вынимал из казана куски мяса и клал их в рот самым почётным гостям — прямо в рот, своими пальцами, — и Потанин, к своему ужасу и восторгу, оказался среди почётных и получил свой кусок. Баранью голову, которую подали Перемышльскому, и Перемышльского, который ловко отрезал от неё ухо и подал младшему из присутствующих — Потанину, — и Бардашева, шепчущего: «Это значит — слушай. Ухо — тому, кто должен слушать старших». Лаптева, пытающегося танцевать впрысядку под домбру и падающего в костёр. Боброва, невозмутимо пьющего кумыс чашку за чашкой и не пьянеющего ни на волос. Звёзды — огромные, близкие, — и горы под звёздами, и снег на горах, и песню, которую пел тот самый старик Ешмухамбет, и мальчика Жанузака, который сидел рядом с ним и учил его киргизским словам: «Аспан — небо. Жулдыз — звезда. Тау — гора. Дос — друг. Ты — дос?»

— Дос, — сказал Потанин. — Конечно, дос.

Он проснулся на рассвете, в чужой юрте, на чужой кошме, укрытый чужим халатом. Голова у него была ясная и лёгкая, как бывает только после кумыса, и он долго лежал, глядя на круглое отверстие в куполе юрты — шанырак, — через которое было видно небо, бледное, утреннее, с последней гаснущей звездой.

Он подумал: я буду это помнить всю жизнь.

Он не ошибся.

Осень отряд провёл на Иссыке.

Место для зимовки выбрал Перемышльский, и выбрал хорошо: долина реки Иссык, в шестидесяти верстах к востоку от Алматы, была широкой, защищённой от ветров горами, с хорошей травой и чистой водой. Здесь построили землянки, конюшни, склады, обнесли всё валом и рвом, поставили пушки на углах. Это было не настоящее укрепление — настоящее собирались строить весной, на Алматы, — а временный лагерь, «зимовник», как говорили казаки. Но для Потанина эта осень на Иссыке осталась лучшим временем его молодости.

Потому что здесь были горы.

Он уходил в них при каждой возможности. Один, или с Бардашевым, или с Булеком, который почему-то привязался к нему и называл его «улан» — сынок. Они поднимались по ущельям, по звериным тропам, по осыпям, всё выше и выше — через ельники, где пахло смолой и грибами, через альпийские луга, где цвели последние осенние цветы, к самым снегам. Потанин собирал растения для гербария — сушил их между листами бумаги, которую выпрашивал у полкового писаря, — и записывал всё: высоту по барометру, который одолжил ему Перемышльский, породы деревьев, следы зверей, названия урочищ по-киргизски.

Однажды Булек повёл его к водопаду.

Они шли полдня — сначала верхом по долине, потом пешком вверх по ущелью, где река Иссык бежала по огромным валунам, белая от пены, ревущая так, что приходилось кричать. Ущелье становилось всё уже, стены — всё выше; ели цеплялись за скалы над головой, и небо превратилось в узкую голубую полоску. Потом ущелье повернуло, и Потанин остановился.

Перед ним стояла стена — тёмная, мокрая, блестящая, поросшая мхом, — и с этой стены, с огромной высоты, падала вода. Она падала не струёй, а широким полотнищем, и полотнище это было не прозрачным, а белым, плотным, словно его соткали из тысяч нитей. Внизу, у подножия стены, вода разбивалась о камни в мелкую пыль, и в этой пыли, когда солнце заглядывало в ущелье, вставала радуга.

— Есік, — сказал Булек, кивая на водопад. — Дверь.

— Почему дверь?

Булек сел на камень, достал кiset, набил трубку.

— Смотри. Как у юрты. — Он показал руками: у юрты дверь закрывают войлоком, который свисает сверху, от притолоки. — Вот она висит. Белый войлок. А за ней — дом.

— Чей дом?

Булек затянулся, выпустил дым и долго смотрел на водопад.

— Старики говорят — там живёт Тау-ана. Мать гор. Она старая, старше всех. Она здесь жила, когда ещё не было ни киргизов, ни калмыков, никого. Она эти горы родила. Каждую гору — как ребёнка. Она там сидит, за этой дверью, и прядёт. Видишь — вода как нитки? Это она прядёт. Из снега прядёт воду, из воды — реки, из рек — траву, из травы — коней, из коней — людей. Всё, что есть, — она спряла.

— А зачем дверь?

— Чтобы никто не входил. Кто войдёт — тот её увидит. А кто её увидит — тот не вернётся. Останется у неё. Будет с ней прясть.

Потанин смотрел на водопад. Радуга дрожала в водяной пыли, то появляясь, то исчезая.

— А кто-нибудь входил?

— Один входил, — сказал Булек. — Давно. Шаман. Он хотел узнать, где живут души мёртвых. Он вошёл за дверь — и не вернулся. Через год его нашли внизу, на камнях, — живого, но седого, как снег. Он ничего не говорил. Только пел. Всю жизнь пел — одну песню, без слов. Говорили, это та песня, которую поёт Тау-ана, когда прядёт.

Он помолчал.

— Мой дед его видел. Он был очень старый, этот шаман. Он сидел у дороги и пел. Люди давали ему кумыс и мясо. Он не ел. Он только пел.

Потанин достал книжку. Руки у него были мокрые от водяной пыли, бумага размокала, карандаш скользил. Он писал, торопясь, неровно, боясь упустить хоть слово.

Булек смотрел на него с любопытством.

— Зачем пишешь, улан?

— Чтобы не забыть.

— Зачем не забыть? Я же помню. Мой сын будет помнить. Его сын будет помнить.

Потанин поднял голову.

— А если не будет? — спросил он. — Если ваш сын будет пить чай с сахаром в Семипалатинске и ходить в ситцевой рубаше — он будет помнить про Тау-ану?

Булек долго молчал. Потом выбил трубку о камень, встал и сказал:

— Пиши, улан. Пиши.

В конце сентября Бардашев отдал ему «Современник».

Это было неожиданно. Однажды вечером, когда Потанин вернулся из очередного похода в горы, мокрый, усталый, с охапкой полусохших растений в руках, он нашёл у себя в землянке на нарах аккуратную стопку книжек в серых обложках, перевязанную бечёвкой. Сверху лежала записка, написанная мелким, изящным почерком:

«Хорунжему Потанину. Проверку прошли. Возвращать не обязательно — но обязательно передать дальше тому, кто тоже пройдёт. С. Б.

P.S. Тургенева пока не дам. Тургенев — это на зиму. Зимой без него здесь пропадёте».

Потанин читал всю ночь. Он читал при сальной свече, которая коптила и трещала, лёжа на животе на нарах, а за стеной землянки шумел ветер с гор, и ему казалось, что он не в землянке на краю света, а в Петербурге, в кабинете у Белинского, и слушает, как спорят умные люди о том, о чём на линии не говорят никогда: о мужиках, о крепостном праве, о том, что такое народ, о том, кто виноват.

Он закрыл последнюю книжку на рассвете и долго сидел, глядя в маленькое окошко, затянутое бычьим пузырём. Потом вышел наружу.

Над Иссыком вставало солнце. Горы были розовые, долина — синяя, и над рекой поднимался туман. Где-то ржали кони. Дымились костры. Казаки, позёвывая, шли к реке умываться.

Он подумал: а ведь Таучубек — это тоже «народ». И Айганым. И Авдотья. И Булек. И старик Ешмухамбет с домброй, и мальчик Жанузак. О них никто не пишет в «Современнике». Их нет в спорах умных людей в Петербурге. Их как будто вообще нет — есть только «дикие орды», которые надо просвещать.

А они — есть.

Через неделю они с Бардашевым затеяли журнал.

Мысль пришла Лаптеву — после того, как они втроём, сидя вечером у костра, придумали эпиграмму на Гасфорда, — но Лаптеву было лень, и он предоставил исполнение другим. Бардашев взялся за редактуру и прозу. Потанин — за «учёный отдел»: описания гор, растений, легенд. Лаптев обещал писать стихи и рисовать карикатуры. Ещё двое офицеров — молодой артиллерист Корнилов и пехотный прапорщик Зеленский — обещали «содействовать по мере сил», что на практике означало, что они будут читать журнал и смеяться.

Журнал назвали «Заилийская пчела» — в насмешку над петербургской «Северной пчелой» Булгарина, которую все ненавидели и все читали.

Он выходил раз в две недели, в одном экземпляре, рукописный, на сшитых листах писчей бумаги. Читали его вслух, по вечерам, у костра или в самой просторной землянке, куда набивалось человек двадцать. Читал обычно Бардашев — у него был хороший голос и талант к лицедейству; он изображал всех героев на разные голоса, и офицеры хохотали так, что дрожали стены.

В первом номере были: передовая статья «О пользе вооружённых гумен для распространения просвещения» (сочинение Бардашева, пародия на Гасфорда); стихотворение «К Иссыку» (сочинение Лаптева, двенадцать строф, рифмовалось «Иссык» с «язык», «восток» с «потолок» и «киргиз» с «сюрприз»); «Легенда о Матери гор, записанная со слов проводника Булека» (сочинение Потанина, без единой шутки, и, к его удивлению, слушали её в полной тишине); и карикатура — Лаптев нарисовал генерал-губернатора в виде пчелы с орденами, которая пытается опылить юрту.

Во втором номере была карикатура на Перемышльского. Это был риск. Лаптев нарисовал пристава в виде старого беркута, сидящего на скале и смотрящего вдаль, — а под ним, внизу, маленькие казачьи фигурки, суесящиеся, как муравьи. Подпись гласила: «Наш начальник созерцает вечность, пока мы ищем, где бы выпить».

Номер, как обычно, прочли вслух. Все хохотали. А на следующее утро Перемышльский вызвал Потанина к себе.

Потанин шёл к нему, как на расстрел.

Пристав сидел в своей землянке за столом, заваленным картами и бумагами. Перед ним лежал второй номер «Заилийской пчелы», раскрытый на карикатуре. Лицо у Перемышльского было непроницаемое.

— Твоё? — спросил он, кивнув на журнал.

— Никак нет, ваше высокоблагородие. Рисунок — хорунжего Лаптева. Но журнал — общий. Я тоже...

— Знаю. — Перемышльский перелистнул страницы. — «Легенда о Матери гор» — твоё?

— Так точно.

Пристав помолчал. Потом сказал, не поднимая глаз от бумаги:

— Хорошо написано. Без соплей. Продолжай.

Он закрыл журнал и протянул Потанину.

— А Лаптеву скажи: беркут у него вышел похоже. Только нос длинноват. Пусть исправит. Ступай.

В середине октября на горах выпал снег.

Не на вершинах — там он лежал всегда, — а ниже, на ельниках, на альпийских лугах, на тех тропах, по которым Потанин ещё неделю назад ходил собирать последние осенние цветы. Утром он вышел из землянки и увидел: горы стали белыми почти до самого подножия. Только долина ещё была зелёной — вернее, жёлто-бурой, — и река ещё бежала, и кони ещё паслись на лугах.

Было холодно. Из рта шёл пар. Казаки, хмурясь, натягивали полушубки.

Булек стоял у конюшни, смотрел на горы и курил. Потанин подошёл к нему.

— Рано в этом году, — сказал старик, не оборачиваясь. — Плохо.

— Почему плохо?

— Большая зима будет. Много снега. — Он показал трубкой на табун, пасшийся на лугу у реки, — несколько сотен казачьих лошадей. — Их надо гнать вниз. К Или. Там снега мало, там камыш, там они перезимуют. Здесь — помрут.

— Ты говорил начальству?

— Говорил. — Булек сплюнул. — Ваш есаул, Абрамов, говорит — рано. Говорит, ещё месяц можно здесь пасти, трава хорошая. Говорит, если угнать сейчас, а зима будет тёплая, — над ним смеяться будут. Говорит — киргиз всегда пугает.

— А Перемышльский?

— Перемышльский уехал в Копал. На две недели. Здесь Абрамов командует.

Потанин посмотрел на горы, на снег, на табун. Лошади мирно щипали траву, не подозревая ни о чём.

— Может, обойдётся? — спросил он.

Булек усмехнулся беззубым ртом.

— Тау-ана не любит, когда её не слушают, — сказал он. — Она прядёт снег, улан. Она уже начала. Ты видишь?

Потанин видел.

Над горами, над белыми ельниками, медленно, тяжело напоздали тучи — серые, низкие, набухшие, — и из них уже сыпалась, кружась в воздухе, мелкая сухая крупа. Она падала на чёрную землю, на жёлтую траву, на спины лошадей, на рукав потанинского мундира, и не таяла.

— Есік закрывается, — тихо сказал Булек. — Дверь закрывается.

И пошёл прочь, к своей юрте, оставив Потанина одного под первым снегом.



Глава 3. Белая осада

Буран начался ночью и длился трое суток.

Потанин проснулся оттого, что землянка гудела. Гудела вся — стены, потолок, нары, — как гудит пустая бочка, если по ней бить кулаком. Снаружи что-то выло, свистело, ухало, и в этом вое не было ничего человеческого и ничего звериного: так, наверное, воет сама земля, когда ей больно. Свеча погасла. В темноте было слышно, как с потолка сыплется сухая глина и как Лаптев на соседних нарах бормочет во сне молитву, которую не помнил наяву.

Под утро в дверь застучали.

— Ваше благородие! — кричал кто-то снаружи, и крик этот ветер рвал на куски. — Ваше благородие! Табун! Табун пропадает!

Он выскочил наружу, натягивая на ходу полушубок, — и его едва не сбilo с ног.

Мира не было. Был только снег — не падающий, а летящий, несущийся сплошной стеной, горизонтально, с такой силой, что он сёк лицо, как песок. Нельзя было разглядеть ничего дальше вытянутой руки. Нельзя было понять, где верх и где низ, где земля и где небо. Потанин схватился за жердь коновязи и держался за неё, как утопающий за доску, и видел перед собой только белое — белое, белое, мутно-белое, ревущее.

Рядом возникла фигура — огромная, заснеженная, в тулупе до пят. Бобров.

— Табун на лугу! — проорал урядник ему в самое ухо. — Пастухи пригнали к реке, а дальше не могут! Лошади встали! Есаул велел гнать вниз, к Или!

— Сейчас? В такой буран?

— Сейчас, ваше благородие! Завтра будет поздно! Завтра не будет табуна!

Потом Потанин много раз вспоминал этот день, и каждый раз — как сон, в котором всё происходит одновременно и ничто не связано. Вот они идут цепью, держась за верёвку, — двадцать казаков, Лаптев, Булек, он, — идут туда, где должен быть луг, и не видят ничего. Вот они находят первую лошадь — она стоит неподвижно, повернувшись крупом к ветру, опустив голову к самой земле, вся облепленная снегом, похожая на снежную бабу, — и не идёт, сколько её ни тяни. Вот их становится больше — десятки лошадей, сотни, — они сбились в кучу, прижались друг к другу, и над ними поднимается пар, который ветер тут же уносит. Вот Булек, без шапки, с обледеневшей бородой, кричит что-то по-киргизски и бьёт лошадей плетью, и лошади, вздрагивая, начинают двигаться — медленно, по грудь в снегу, проваливаясь, падая, поднимаясь. Вот они гонят их вниз по долине, к выходу на равнину, туда, где за горами должна быть Или с её камышами и тёплым ветром. Вот снег становится глубже — по брюхо, по холку, — и лошади встают. Совсем встают. Их бьют плетями, их тянут за поводья, на них кричат — они не двигаются. Они стоят в снегу, как вкопанные, и смотрят мутными глазами, и в этих глазах — Потанин запомнил это навсегда — нет ни страха, ни боли, ни упрёка. Только усталость. Огромная, нечеловеческая усталость.

— Не пройдем! — кричит Булек. — Назад! Назад, улан! Не пройдем!

Они возвращаются. Часть лошадей идёт за ними. Часть остаётся в снегу.

К вечеру третьего дня буран стих — так же внезапно, как начался. Ветер упал, снег перестал лететь, и над долиной Иссыка встало ясное, звёздное, нестерпимо морозное небо. Потанин вышел из землянки и не узнал места. Долины не было. Были горы — белые до самого подножия, — и между ними белая равнина, гладкая, ровная, сверкающая под луной, как скатерть. Ни реки, ни кустов, ни дороги. Только кое-где из-под снега торчали верхушки юрт и коновязи, и белые холмы, которые раньше были землянками.

А дальше, на лугу, где пасся табун, из снега торчали лошадиные головы.

Их было много. Потанин не стал считать.

Они были отрезаны.

Это поняли не сразу, а постепенно, как понимают тяжёлую болезнь. Сначала думали: ничего, через неделю снег осядет, и придёт почта из Копала. Почта не пришла. Потом думали: через две недели. Потом перестали думать.

Выход из долины на равнину завалило так, что казаки, посланные на разведку, вернулись через два дня, обмороженные, почти ослепшие от снежного блеска, и сказали, что дороги нет. Нет вообще. Там, где летом была тропа вдоль реки, теперь лежали сугробы в три человеческих роста, и под ними — пустоты, в которые проваливаешься с головой. Перевал через горы на Алматы тоже закрыло. Отряд — триста человек, пятьсот лошадей, те, что уцелели, — оказался запечатан в долине, как муха в янтаре.

Есаул Абрамов, командовавший отрядом в отсутствие Перемышльского, был человек неплохой. Он был храбр, честен, по-своему заботлив, и солдаты его любили. Но он был человек линии, человек плаца, привыкший к тому, что всё делается по уставу, а устав ничего не говорил о том, как зимовать в горах, когда тебя заперло снегом. Он растерялся. Он не признавался в этом ни себе, ни другим, он отдавал распоряжения, проверял караулы, распекал урядников за нечищенные пуговицы, — но по вечерам, запершись в своей землянке, пил, и пил всё больше, и денщик его по утрам выносил пустые бутылки, пряча их под полкой.

Однажды Потанин застал его одного. Абрамов сидел на нарах в расстёгнутом мундире, с бутылкой в руке, и смотрел в стену.

— Хорунжий, — сказал он, не поворачивая головы. — А киргиз-то этот... Булек... Он ведь говорил мне. Ещё в октябре. Гони, говорит, табун к Или. А я не погнал.

Потанин молчал.

— Я думал — рано. Думал — смеяться будут. Думал — подумаешь, киргиз, они всегда пугают. — Абрамов отхлебнул из бутылки. — Двести лошадей, хорунжий. Двести казённых лошадей. А сколько ещё будет... — Он замолчал. Потом повернулся, и Потанин увидел, что глаза у есаула мокрые. — Вы только Перемышльскому не говорите, что Булек предупреждал. Ладно? Я сам скажу. Я сам.

Потанин кивнул и вышел. Ему было жаль есаула. И было стыдно, что жаль.

Лошади начали есть друг друга.

Не мясо — хвосты и гривы. Сено кончилось в конце ноября. Овса было мало, и его берегли для людей — из него пекли хлеб, когда кончилась мука. Траву из-под снега лошади добыть не могли: снег слежался, обледенел сверху, и копыта, которыми степные кони умеют разгребать снег до земли, только скользили по насту. Казаки рубили для них ветки тальника и тополя на реке, и лошади грызли кору, обдирая губы в кровь. Потом кончился тальник.

И тогда Потанин увидел то, что потом не мог забыть всю жизнь.

Он вошёл утром в конюшню — длинную, полутёмную, с низким потолком из жердей и камыша — и увидел, что лошади стоят без хвостов. Вместо хвостов у них торчали короткие обгрызенные обрубки, а вместо грив на шеях — неровная щетина. Лошади стояли тесно, голова к крупу, и та, что стояла сзади, медленно, сосредоточенно жевала хвост той, что стояла впереди. Хрустел конский волос. Никто из них не сопротивлялся — ни та, что ела, ни та, которую ели. Им было уже всё равно.

Он вышел из конюшни, и его вырвало прямо на снег.

Лаптев, вышедший следом, ничего не сказал. Он стоял рядом, белый как мел, и смотрел на горы. Потом сказал тихо, без своей обычной насмешки:

— Гриша. А ведь у нас тоже скоро хвосты кончатся.

Каждое утро казаки выносили из конюшни павших лошадей. Их оттаскивали за вал, в овраг, и там, на снегу, они лежали — сначала одна, потом пять, потом двадцать, — и над ними кружились вороны, а по ночам приходили волки. Мясо павших лошадей поначалу ели, но потом перестали: оно было синее, жёсткое, без капли жира, и от него начинался понос. Его отдавали собакам. Потом кончились и собаки — их тоже съели.

Мука кончилась в декабре. Соль — к Рождеству.

Хлеб пекли теперь из ячменя, который мололи на ручных жерновах, найденных в одном брошенном киргизском зимовье. Хлеб получался тёмный, тяжёлый, крошащийся, и без соли — пресный, как глина. Его ели, потому что больше нечего было есть. Мясо — немного баранины, оставшейся от осенних запасов, — выдавали по фунту в неделю на человека. Чай кончился ещё раньше муки.

Вместо чая заваривали корни шиповника.

Это придумал Булек. Он повёл Потанина и десяток казаков на склон горы, где летом рос густой колючий кустарник, — теперь от него остались только торчащие из снега чёрные прутья, — и показал, как раскапывать снег у корней, как рубить мёрзлую землю топором, как вытаскивать корни — толстые, бурые, узловатые, похожие на скрюченные пальцы старика. Их рубили на куски, сушили у огня и заваривали в котле. Получался отвар — красно-бурий, горьковатый, вяжущий, с лёгким запахом ржавчины. Пить его было противно. Но Булек сказал, что это от цинги, и все пили.

— Откуда ты знаешь? — спросил Потанин.

— Бабка говорила, — ответил Булек. — Когда джут бывает — большая зима, скот падает, — люди корни едят. Шиповник, солодку, кандык. Кто ест корни — живёт. Кто не ест — зубы падают, и умирает.

— А почему так?

Булек пожал плечами.

— Не знаю. Земля даёт. Тау-ана даёт. Она злая, когда её не слушают, но она не хочет, чтобы все умерли. Она даёт корни.

Потанин записал в книжку: «Корни шиповника — от цинги (по киргизскому поверью). Проверить у Палласа». Паллас был далеко, в Омске, в корпусной библиотеке. Проверять было негде. Он пил отвар и надеялся, что бабка Булека знала, что говорит.

В середине января к лагерю пришли люди.

Их увидел часовой на валу — сначала чёрные точки на белой равнине, потом фигуры, потом всадников. Их было шестеро, на маленьких лохматых киргизских лошадках, которые шли по насту так легко, будто снег был им не помехой, а дорогой. За ними тянулись на поводках ещё три лошади, навьюченные мешками.

Абрамов приказал не стрелять. Всадники подъехали к валу, остановились, и передний — молодой парень в лисьем малахае, закутанный до глаз — поднял руку в знак мира.

Потанин узнал его не сразу. А когда узнал, сердце у него ёкнуло.

Это был Жанузак — мальчик от костра сказителя Ешмухамбета, тот самый, который учил его словам «аспан» и «дос». За три месяца он, кажется, вырос на вершок и стал серьезнее.

— Дос! — крикнул Жанузак, увидев его на валу, и улыбнулся во весь рот, показав белые зубы. — Улан-дос! Живой!

Они привезли соль. Два мешка серой каменной соли, наколотой с какого-то горного выхода, известного только им. И ещё — четырёх баранов, зарезанных и замороженных, и мешок сушёного творога — курта, — твёрдого, как камень, кислого, солёного.

— Диканбай прислал, — объяснил Жанузак через Бардашева, сидя в землянке Абрамова и обеими руками держа кружку с отваром шиповника. — Он сказал: русские — гости. Гость не должен умирать в доме хозяина. Это позор для хозяина. Он сказал: в горах снега много, а у реки Чарын мало. Там наш аул зимует. Мы прошли по льду реки, потом по гребню, где ветер сдувает снег. Три дня шли.

— Передай Диканбаю, — сказал Абрамов хрипло, — что мы этого не забудем. Что я лично доложу генерал-губернатору. Что он получит награду...

Бардашев перевёл. Жанузак выслушал серьёзно, кивнул и сказал что-то коротко.

— Он говорит, — перевёл Бардашев, и в голосе его была странная интонация, — что Диканбаю не нужна награда. Он говорит, что Таучубек тоже знает, что вы здесь умираете. И что Таучубек мог бы прийти сейчас и взять вас голыми руками. Но он не придёт. Потому что Таучубек — батыр, а батыры не бьют лежачих. Он подождёт весны.

Абрамов побледнел. В землянке стало тихо.

Ночью Жанузак пришёл к Потанину. Он сел на корточки у нар, порылся за пазухой и достал что-то, завернутое в тряпицу.

— Тебе, — сказал он по-русски. — От Ешмухамбета.

Потанин развернул тряпицу. Внутри лежала маленькая деревянная фигурка — грубо вырезанный конь, с длинной шеей и поджатыми ногами, словно в прыжке. На боку коня было выжжено что-то вроде узора или знака.

— Тайбурыл, — сказал Жанузак. — Конь Кобланды. Ешмухамбет сказал: ты записал его песню. Теперь Тайбурыл будет с тобой. Хороший конь всегда приходит. Он тебя вывезет.

Потанин держал фигурку на ладони, и у него щипало глаза.

— Скажи Ешмухамбету — рахмет. Большой рахмет.

— Скажу, — кивнул Жанузак. И добавил, помолчав: — Ешмухамбет ещё сказал: ты не такой, как другие урусы. Ты слушаешь. Он сказал — береги уши, улан. Уши — это самое дорогое, что у тебя есть.

Утром они уехали — так же легко, по насту, на своих маленьких лохматых лошадках, — и через час исчезли в белой равнине, как будто их и не было. А деревянный конь остался у Потанина. Он носил его с собой потом всю жизнь — в Омск, в Петербург, в тюрьму, в Свеаборг, в Монголию, в Китай, — и ни разу не потерял.

Тринадцатый номер «Заилийской пчелы» вышел в конце января и оказался последним.

Готовили его долго и трудно. Бумага кончилась — писали на обороте старых ведомостей. Чернила замёрзли — разводили сажу на воде. Бардашев написал пародийную передовицу «О пользе голода для умственных занятий», но читать её вслух не стал: шутка вышла слишком горькой. Потанин дал статью о корнях шиповника и о киргизских средствах от цинги — серьёзную, с перечнем растений и способов приготовления. Корнилов и Зеленский, артиллерист и пехотинец, обещавшие «содействие», за всю зиму не написали ни строчки: Корнилов лежал с цингой, а Зеленский пил вместе с Абрамовым.

Лаптев нарисовал карикатуру.

Это была последняя его карикатура в «Пчеле», и Потанин потом много раз думал, что, может быть, лучшая. На ней были изображены все они — редакция, — в виде снеговиков. Снеговик Бардашев с бородкой из сосулк держал в руке перо. Снеговик Потанин в казацкой фуражке читал книгу, и из книги торчали корни шиповника. Снеговик Лаптев — сам автор — лежал на боку, наполовину растаявший, и из его рта выходил пузырь со словами: «Господа, я, кажется, начинаю понимать Тургенева».

Подписи не было.

Номер прочли вслух, как обычно. Смеялись — но тихо, устало, через силу. Потом долго молчали. Потом Бардашев встал, свернул тетрадь в трубку и сказал:

— Господа, «Заилийская пчела» прекращает своё существование по причине отсутствия бумаги, чернил, мёда и сил. Мы благодарим наших читателей за внимание и надеемся, что весна воскресит нас всех. Аминь.

Никто не засмеялся.

Ванька Сизов заболел в начале февраля.

Ему было девятнадцать лет — на год больше, чем Потанину. Он был из станицы Пресновской, той самой, где Потанин прожил детство, — из бедной казацкой семьи, младший из пяти братьев. Он пошёл в поход охотником, добровольно, потому что дома ему светило только батрачить на старших братьев, а здесь — жалованье, может быть, награда, может быть, чин

урядника. Он был тихий, светловолосый, с веснушками, которые не сходили у него с лица даже зимой, и он всё время пел — протяжные казачьи песни про Иртыш, про волю, про чёрного ворона.

Цинга началась у него, как у всех: сначала кровоточили дёсны, потом зашатались зубы, потом на ногах появились синие пятна, похожие на синяки. Потом он перестал вставать.

Отвар шиповника не помог. Или помог слишком поздно. Или бабка Булека ошибалась. Полковой лекарь — фельдшер, на самом деле, — разводил руками: от цинги одно средство — свежая пища, капуста, лук, а где их взять в этих снегах? Он предлагал пустить кровь. Ванька отказался.

Потанин сидел с ним по вечерам. Он не мог объяснить, почему. Может быть, потому, что Ванька был из Пресновска, и они вспоминали вместе одни и те же улицы, одну и ту же церковь, один и тот же полковничий сад с клумбами. Может быть, потому, что больше никто не сидел — у всех были свои больные, свои заботы, своя цинга. А может быть, потому, что Ванька однажды сказал ему, глядя в потолок:

— Ваше благородие... Вы ж учёный. Почитайте мне чего-нибудь. А то лежу — и в голову всякое лезет.

И Потанин пошёл к Бардашеву.

— Тургенева, — сказал он. — Вы обещали — на зиму.

Бардашев посмотрел на него долго, потом молча полез в седельную суму и достал книгу в зелёном коленкоровом переплёте, потёртом на углах. «Записки охотника». Москва, 1852.

— Берегите, — сказал он. — Это не моя. Это одного человека, который сейчас в Нерчинске. Он мне её дал, как я — вам.

Потанин читал Ваньке «Бежин луг».

Он выбрал этот рассказ случайно — просто открыл книгу посередине. Но, начав читать, понял, что выбрал правильно. Это был рассказ про охотника, который заблудился ночью и вышел к костру, у которого пятеро деревенских мальчишек стерегли табун. Мальчишки сидели у огня и рассказывали друг другу страшные истории — про домового, про русалку, про лешего, про утопленника, про то, как в Тришкин день придёт антихрист, и про голоса, которые кличут человека из-под земли. А охотник лежал рядом, притворяясь спящим, и слушал.

Ванька слушал, не шевелясь. Свеча горела на ящике у изголовья. Снаружи выл ветер.

Когда Потанин дошёл до места, где мальчик Павлуша рассказывает, как слышал голос утонувшего Васи — «Павлуша, а Павлуша, подь сюда», — Ванька вдруг сказал:

— А у нас тоже так было.

— Где?

— В Пресновке. На Горьком озере. Там, говорят, девка утопла — давно ещё, при деде. И кто ночью мимо идёт — она зовёт. По имени. Своим голосом. — Он помолчал. — Меня тоже звала. Я маленький был, пошёл ночью за коровой. Слышу — «Ваня, Ванюша, иди сюда». Тихо так. Ласково.

— И что ты?

— Убежал. — Ванька слабо улыбнулся, и Потанин увидел, что у него во рту почти не осталось зубов. — Мамка потом сказала: правильно убежал. Кто на зов пойдёт — того не будет.

Он закрыл глаза.

— Ваше благородие... А вы как думаете — правда это? Что зовут? Что мёртвые зовут?

Потанин не знал, что ответить. Он думал о шамане, который вошёл за войлочную дверь водопада и вернулся седым. О плачущей скале в Копале. О тигре в камышах, которого не видел. О Тау-ане, прядущей снег.

— Не знаю, Ваня, — сказал он честно. — Может, и правда. Киргизы тоже так говорят.

— Киргизы, — повторил Ванька. — Киргизы, они много знают. Булек вот знал про зиму. А есаул не послушал.

Он замолчал. Потанин читал дальше — про то, как утро пришло, как туман поднялся над рекой, как мальчики погнали табун домой. Он читал тихо, медленно, и голос у него иногда срывался.

Последнюю фразу рассказа — о том, что Павлуша в том же году умер, разбился, упав с лошади, — он прочёл и замер. Он забыл, чем кончается рассказ. Если бы помнил — не стал бы читать.

Но Ванька уже спал. Или делал вид, что спит.

Он умер через три дня, ночью, во сне. Утром его нашли холодным, с открытыми глазами, устремлёнными в потолок, будто он прислушивался к чему-то.

Похоронить его было трудно.

Земля промёрзла на аршин, на два — она была как железо. Лом отскакивал от неё со звоном. Кирка выбивала мелкие осколки, и только. Тогда Бобров сказал: жечь.

Они развели костёр на том месте, где решили копать, — на склоне холма над долиной, откуда были видны горы. Жгли весь день — драгоценные дрова, которых не хватало для землянок. Когда костёр прогорел, сгребли угли в сторону, выкопали оттаявший слой — на четверть аршина. Снова развели костёр. Снова выкопали. Так копали три дня.

Хоронили всем отрядом — те, кто мог стоять. Полковой священник — его не было; отпевал Бобров, который знал службу наизусть, потому что пел когда-то на клиросе в Семипалатинске. Он пел густым, хриплым, неожиданно красивым басом, и пар от его дыхания поднимался в морозный воздух. Ваньку положили в яму без гроба — досок не было, — завернутым в старую кошму. Сверху положили его фуражку и медный крестик.

Потом засыпали. Мёрзлые комья стучали по кошме глухо, как по барабану.

Крест сделали из двух жердей, связанных ремнём. На поперечине Бардашев вырезал ножом: «Казак Иван Сизов. Ст. Пресновская. 1834–1854. Помяни его, Господи».

Потанин стоял у могилы дольше всех. Когда все ушли, к нему подошёл Булек. Старик долго молчал, потом достал из-за пазухи что-то и положил на свежий холм — пучок сухой травы, перевязанный красной ниткой.

— Это зачем? — спросил Потанин.

— Чтобы аруах не скучал, — ответил Булек. — Чтобы знал — его помнят. Он хороший был. Пел хорошо. Аруахи любят, когда поют.

— Он же русский, Булек. Православный.

Булек пожал плечами.

— Аруахам всё равно, — сказал он. — Земля одна. Небо одно. Все мёртвые — одно. — Он посмотрел на горы. — Это первый ваш. Здесь, в нашей земле. Первая русская могила за Или. Теперь вы тоже здесь лежите. Теперь это и ваша земля тоже. Так всегда бывает. Сначала могила, потом земля.

Он повернулся и пошёл вниз, к лагерю.

Потанин остался один у креста. Он думал о словах Таучубека на вече: «Здесь лежат наши кости. Здесь наши аруахи». И о словах Булека: «Сначала могила, потом земля». И о том, что, может быть, именно так всё и происходит — не пушками, не приказами генерал-губернатора, не речами о просвещении, а вот так: мёртвый мальчик из Пресновска в мёрзлой яме на склоне чужого холма, и пучок киргизской травы с красной ниткой на его могиле.

Перемышльский вернулся в конце февраля.

Он пришёл не по дороге — дороги не было, — а через горы, по гребню, тем путём, которым ходил Жанузак, с проводниками-киргизами Диканбая и караваном из двадцати верблюдов, навьюченных мукой, солью, крупой, чаем и сушёной капустой. Он шёл четыре дня, ночевал в снежных ямах, потерял двух верблюдов, сорвавшихся с обрыва, и отморозил себе два пальца на левой руке.

Когда караван показался на гребне над долиной — длинная цепочка тёмных фигур на ослепительно белом фоне, — весь лагерь высыпал на вал. Кто-то закричал «ура». Кто-то заплакал. Казаки обнимались. Лаптев, стоявший рядом с Потаниным, тихо сказал:

— Гриша. Мы живы.

Перемышльский спустился в лагерь, не слезая с верблюда. Он был худой, почерневший, заросший седой щетиной, с обвязанной тряпкой рукой. Он оглядел лагерь — землянки, засыпанные снегом до крыш; конюшню с обгрызенными лошадьми; овраг за валом, полный павших туш; людей — худых, бледных, с распухшими дёснами, с синими пятнами на руках, — и ничего не сказал.

Он прошёл в землянку Абрамова. Дверь закрылась. Потанин, стоявший неподалёку, не слышал, о чём они говорили. Слышал только, что разговор был короткий. Через четверть часа Абрамов вышел — без пашки, бледный, с опущенной головой — и пошёл в свою землянку. Больше он отрядом не командовал. Весной его отправили в Семипалатинск, и Потанин его больше никогда не видел.

Вечером Перемышльский позвал к себе Булека. Говорили долго. О чём — Потанин не знал. Но когда старик вышел, в руках у него был новый халат из синего сукна и серебряные часы — такие же, какие дарили старшинам на вече.

— Начальник сказал, — объяснил Булек, заметив взгляд Потанина, — что я был прав. Что надо было меня слушать. Что он меня благодарит. — Он покрутил часы в руках, приложил к уху, послушал тиканье. — Хороший начальник. Умный. Только поздно. Двести лошадей — поздно. Ванька — поздно.

В середине марта зацвели яблони.

Это было так неожиданно, что Потанин сначала не поверил своим глазам.

Ещё неделю назад вокруг лежал снег — серый, ноздреватый, осевший, но снег. Ещё неделю назад по ночам трещал мороз. А потом с юга, из-за гор, подул тёплый ветер — сухой, сильный, пахнувший пылью и далёкими пустынями, — и снег начал таять. Он таял на глазах, днём и ночью, с шорохом и журчанием; он оседал, проваливался, превращался в лужи, в ручьи, в потоки; река Иссык вскрылась с грохотом, как пушечный выстрел, и понесла льдины. Из-под снега показалась земля — чёрная, мокрая, пахнувшая так, что кружилась голова. Потом трава — бледная, жёлто-зелёная. Потом — первые цветы: жёлтые тюльпаны, лиловые крокусы, белые подснежники.

А потом зацвели яблони.

Потанин вышел утром из землянки — и замер. Весь склон над лагерем, вся долина вверх по реке, все предгорья — всё было белым. Не снежно-белым, а другим: розовато-белым, кремовым, живым. Тысячи, десятки тысяч диких яблонь стояли в цвету — корявые, низкорослые, с чёрными изогнутыми стволами, — и каждая была покрыта цветами так густо, что не видно было ни веток, ни листьев. Только облака белых и розовых лепестков. И над этими облаками гудели пчёлы — откуда они взялись, где переждали эту страшную зиму? — и воздух был тяжёлый, сладкий, медовый, и от него хотелось плакать.

Он пошёл вверх по склону, к яблоням. Шёл медленно, как во сне, по мокрой траве, по цветам, не разбирая дороги. Зашёл в самую гущу, туда, где ветки смыкались над головой белым шатром. Лёг на землю, на спину, и смотрел вверх — на цветы, на небо сквозь цветы, на пчёл.

Лепестки падали ему на лицо. Тихо, медленно, по одному. Как снег.

Он думал о Ваньке Сизове, который лежал под своим крестом из жердей в двух верстах отсюда и не видел этого. О лошадях, которые грызли друг другу хвосты. О Таучубеке, который ждёт весны в горах. О Жанузаке, который три дня шёл по гребню, чтобы привезти им соль. О Булеке, который знал, а его не слушали. О Тау-ане, которая прядёт снег, а потом, когда нарядёт довольно, — прядёт цветы.

Он думал о том, что был счастлив здесь осенью, а потом был несчастен зимой, а теперь, кажется, снова счастлив — и что это неправильно, стыдно, нельзя быть счастливым, когда Ванька в земле. Но он был. Ничего не мог с собой поделать.

Он достал из кармана деревянного коня — Тайбурыла — и поставил его на землю рядом с собой, в траву, среди упавших лепестков.

— Вывез, — сказал он тихо. — Вывез ведь.

Конь стоял в траве, поджав ноги, готовый к прыжку, и молчал.

Где-то внизу, в лагере, заиграла труба. Казаки строились на поверку. Потанин лежал ещё минуту, глядя на небо сквозь цветы, потом встал, отряхнул с мундира лепестки, сунул коня в карман и пошёл вниз.

Через неделю отряд выступил на Алматы — строить крепость.

Таучубек, как и обещал, ждал их там.



Глава 4. Четыре шеста

Ужин у подполковника Перемышльского украли в первую же ночь.

Это была хорошая ночь — тёплая, апрельская, лунная. Отряд стоял лагерем у выхода реки Малой Алматы из гор, на той самой луговине, где осенью собиралось вече; теперь здесь вместо юрт белели палатки, а вместо кострищ киргизских старшин дымились солдатские котлы. Днём размечали место для будущего укрепления — вбивали колья, натягивали верёвки, спорили, где ставить бастионы, — а к вечеру повар подполковника, отставной солдат Мокеич, сварил своему начальнику то, чего никто в отряде не ел уже полгода: щи со свежей бараниной, кашу с маслом и пирог с диким луком. Всё это он поставил на стол под навесом у палатки, накрыл холстиной от мошкары и пошёл звать подполковника.

Когда он вернулся вместе с Перемышльским, стола не было.

Не ужина — стола. Вместе с котелком щей, горшком каши, пирогом, оловянными мисками, ложками, холстиной, солонкой и самим столом — грубым, сколоченным из тополевых досок, тяжёлым. Всё исчезло бесследно. Ни шороха, ни топота, ни следов, кроме нескольких отпечатков мягких сапог на росистой траве, уходивших в сторону яблоневого рощи.

Мокеич стоял над пустым местом, разинув рот. Перемышльский посмотрел на траву, на рощу, на луну и вдруг засмеялся — коротко, сухо, но совершенно искренне.

— Ловко, — сказал он. — Очень ловко. Это, Мокеич, нам письмо. От Таучубека. Он нам пишет: я здесь. Я рядом. Я могу взять у вас всё, что захочу, — и вы даже не услышите.

— Так что ж, ваше высокоблагородие... — растерялся повар. — Без ужина, значит?

— Без ужина, — согласился Перемышльский. — И ты, Мокеич, впредь ставь стол поближе к часовому. А лучше — прямо на часового.

Наутро история облетела весь лагерь. Над ней смеялись. Лаптев сочинил куплет — «Таучубек наш, Таучубек, украл у пристава обед», — и куплет пели у костров на мотив «Во поле берёза стояла». Но Потанин заметил: казаки, смеясь, всё время поглядывали на яблоневую рощу, на горы, на тёмные ущелья, уходившие вверх. И часовых в ту ночь поставили вдвое больше.

Таучубек не нападал. Он делал хуже: он не давал спать.

Каждую ночь — не каждую, а через одну или через две, так, чтобы нельзя было угадать, — из темноты раздавались крики. Сначала далеко, в горах, потом ближе, потом совсем рядом, у самого табуна: «Ай-гай! Ай-гай-гай!» — пронзительные, переливчатые, нечеловеческие, — и топот, и свист, и выстрелы — то один, то несколько. Лагерь вскакивал. Казаки хватали ружья, бежали к табуна. Артиллеристы зажигали фитили у пушек, и в темноте вспыхивали красные огоньки, освещая напряжённые лица. Пушкари стояли у орудий, вглядываясь в ночь, и ждали команды. Команды не было: стрелять было не в кого. Крики затихали так же внезапно, как начинались. Всадники исчезали.

Иногда они уводили лошадей — пять, десять, двадцать. Иногда не уводили ничего. Это было ещё страшнее: значит, приходили просто так. Чтобы показать.

Через две недели отряд ходил с красными глазами. Люди засыпали на ходу, на постах, в сёдлах. Двое часовых, заснувших на посту, получили по сто розог. Это не помогло. Третий, заснувший на следующую ночь, проснулся с перерезанной подпругой у седла, на котором сидел, — и с ножом, воткнутым в землю у самой его ноги. Нож был хороший, с костяной рукоятью, с выжженным на ней тамгой — знаком рода. Казак принёс его Перемышльскому, трясясь всем телом.

— Таучубеков знак, — сказал Булек, взглянув на рукоять. — Дулат-ботбай. Он говорит: я мог тебя убить. Я не убил. В следующий раз — убью.

Перемышльский долго вертел нож в руках. Потом положил его на стол — на новый стол, который Мокеич теперь ставил у самого караула.

— Хватит, — сказал он. — Он хочет войны — он её получит.

Приказ собраться пришёл вечером, когда солнце уже садилось за горы.

Собирали тихо, без барабана, без трубы, шёпотом. Две казачьи сотни, отборные, на лучших лошадях, тех, что пережили зиму и отъелись на весенней траве. Сорок человек пехоты на телегах. Одна лёгкая пушка — горный единорог на вьючном лафете. Проводники — Булек и ещё двое из людей Диканбая. Сухари, вода, патроны. Всё лишнее — оставить.

Потанин попал во вторую сотню, в полусотню под командой сотника Подгорбунского, — молчаливого рябого казака из Омска, про которого говорили, что он не боится ни Бога, ни чёрта, но боится собственной жены. Лаптев был там же. Бобров был там же. Они стояли в строю, в темноте, держа коней в поводу, и ждали. Никто не знал, куда идут.

Перемышльский вышел к ним, когда уже совсем стемнело. Он не стал подниматься ни на какой помост — встал перед строем на землю, в своём выцветшем сюртуке, с перевязанной ещё с зимы левой рукой, — и заговорил негромко, так, что задним рядам приходилось вытягивать шею.

— Казаки, — сказал он. — Мы идём на аул Таучубека. Он стоит в ущелье Каскелена, в двух переходах отсюда. Идти будем ночами. Днём — прятаться в оврагах. Огня не разводить. Не курить. Не петь. Не разговаривать. Лошадям — подвязать удила, чтобы не звякали. Если кто шуметь начнёт — пристрелю сам.

Он помолчал.

— И ещё. Слушайте меня все, и запомните. Мы идём брать Таучубека, а не его баб. Женщин и детей — не трогать. Пальцем не трогать. Стариков — не трогать. Кто сопротивляется — вязать. Кто бежит — пускай бежит. Юрты не жечь. Котлы не брать. Добычи — никакой, кроме скота. Скот — казённый, будет поделен по закону. Кто возьмёт хоть одну серьгу, хоть один ковёр, хоть одну бабу тронет, — тот будет повешен. Не выпорот — повешен. На первом дереве. Поняли?

— Поняли, ваше высокоблагородие, — глухо ответил строй.

— Я спрашиваю: поняли?

— Так точно, ваше высокоблагородие!

— Тише, черти, — сказал Перемышльский. — Весь Таучубек услышит.

И в строю кто-то тихо засмеялся.

Потанин потом думал об этой речи долго. О том, что Перемышльский — единственный из начальников, которых он знал, — сказал перед набегом не о славе, не о царе, не о просвещении диких орд, а о бабах и котлах. О том, что он понимал, что такое набег, что такое казаки в чужом ауле, и пытался — может быть, безнадежно — этому помешать. О том, что в этом сухом, неразговорчивом человеке было что-то, чего не было ни в Гасфорде с его новой религией, ни в Абрамове с его уставом: он видел живых людей. И тех, кого вёл, и тех, на кого вёл.

И ещё он думал о том, что вешать за серьгу — тоже ведь государство. Тоже приказ. Тоже петля. Просто петля поменьше.

Шли две ночи.

Это были странные ночи — тихие, тёмные, бесконечные. Луны не было: Перемышльский нарочно выбрал новолуние. Шли без дороги, по степи, по предгорьям, вслед за Булеком, который ехал впереди на своей пегой лошадке, и казалось — он видит в темноте, как кошка. Копыта лошадей были обмотаны тряпками, удила подвязаны, оружие пригнано так, чтобы не звякало. Шли молча. Слышно было только шуршание травы, тяжёлое дыхание лошадей, редкий всхрап, редкий кашель, тут же подавленный. Над головой горели звёзды — огромные, близкие, — и в их свете смутно белели снеговые вершины справа.

Днём прятались в оврагах. Это было хуже, чем идти. Овраги были глубокие, сырые, заросшие колючим кустарником; солнце не доставало дна, и там было холодно и мокро. Лошадей держали в поводу, не расседывая. Спать не давали — Подгорбунский ходил между казаками и тыкал задремавших ножами шашки в бок. Есть давали сухари, размоченные в воде. Курить не давали совсем, и это было мучительнее голода. Бобров, которому без трубки было невозможно, сидел, засунув в рот пустой чубук, и сосал его, как младенец соску.

Потанин не мог спать и без запретов. Он лежал на дне оврага, на мокрой траве, и смотрел вверх — на узкую полоску неба, на ветки кустарника, на облака — и думал.

Он думал о том, что идёт убивать людей. Не воевать — воевать с кокандцами, с китайцами, с каким-то неизвестным врагом было бы понятно, — а нападать на спящий аул. На людей, которые сидели вокруг вечернего круга, на людей, которые пили кумыс у костра и слушали песню про Кобланды. На Таучубека, который смотрел на него так, будто что-то о нём знал.

Он думал о речи Таучубека на вече. О змее, которая говорит, что пришла с миром. О костях предков под русским плугом.

Он думал: а ведь Таучубек прав. И мы сейчас идём ему это доказать.

Лаптев лежал рядом. Он тоже не спал. Он шевельнулся, повернулся к Потанину и шепнул — так тихо, что тот едва расслышал:

— Гриша. Ты боишься?

— Боюсь.

— Я тоже. — Лаптев помолчал. — Знаешь, чего я боюсь? Не того, что убьют. Того, что я убью. Я никогда никого не убивал. Даже курицу. У нас дома курам мать головы рубила, а я убежал.

Потанин протянул руку и сжал его плечо. Больше они не говорили.

Аул увидели на рассвете второго дня.

Он стоял в широкой долине между двумя отрогами, на берегу горной речки, — двадцать или тридцать юрт, белых и серых, раскиданных по зелёному лугу. Дымков ещё не было: аул спал. Вокруг паслись табуны — сотни, тысячи голов, — и отары овец, похожие сверху на рассыпанную по траве шерсть. Где-то лаяла собака. Где-то кричал петух — откуда у кочевников петух? — подумал Потанин мельком. Над горами вставало солнце, и снег на вершинах становился розовым.

Это было красиво. Невыносимо, нестерпимо красиво. Потанин смотрел на аул сверху, с гребня холма, лёжа в траве рядом с Лаптевым и Бобровым, и думал о том, что через четверть часа здесь будет кровь.

Перемышльский, лежавший чуть поодаль, поднял руку.

Всё произошло быстро — так быстро, что потом Потанин не мог восстановить порядок событий. Вот сотни, развернувшись лавой, спускаются с холма — шагом, рысью, галопом. Вот земля начинает гудеть под тысячами копыт. Вот из юрт выскакивают люди — полуодетые, босые, с растрёпанными волосами — и замирают, увидев несущуюся на них лаву. Вот кто-то кричит — пронзительно, по-женски. Вот кто-то стреляет. Вот кто-то бежит. Вот лошади в табунах, испуганные шумом, срываются с места и несутся в разные стороны. Вот казаки врываются в аул, вертятся между юртами, кричат, хлещут нагайками...

Таучубек ушёл.

Он ушёл так, будто ждал. Будто знал. Когда первые казаки ворвались в аул, его юрта — большая, белая, стоявшая в центре, — была уже пуста. Сам он, с тремя жёнами, с ближними нукерами, на лучших конях, скакал вверх по ущелью, в горы, и догнать его было невозможно: тропа поднималась круто, лошади казаков были измучены двумя ночами перехода, а кони Таучубека — свежие, отборные, знающие каждый камень.

— Ушёл, — сказал Перемышльский, глядя вслед удаляющимся точкам. Голос у него был спокойный, почти довольный. — Ну и пускай. Я так и думал.

Но ушли не все.

Казаки взяли табун — огромный, лучший табун Таучубека, семьсот голов, — и отары овец. Взяли человек двадцать мужчин, тех, кто не успел ускакать или пытался сопротивляться, — связали их и согнали в кучу посреди аула. Женщин и детей не тронули — Потанин видел, как Подгорбунский самолично стащил с коня одного казака, сунувшегося было в юрту, и ударил его рукоятью нагайки по лицу так, что тот кувырнулся в траву.

А ещё взяли мальчика.

Его вытащили из юрты Таучубека — он спрятался там, за сундуками, видимо, отстав от отца при бегстве или нарочно оставшись. Ему было лет четырнадцать. Он был тонкий, смуглый, в шёлковом халате с золотым шитьём и в маленькой бархатной тюбетейке. Он не плакал и не просил пощады. Он стоял, связанный, перед Перемышльским, вскинув голову, и смотрел на пристава таким взглядом, что тот, кажется, впервые за всё время немного растерялся.

— Это кто? — спросил Перемышльский.

Булек подошёл, посмотрел на мальчика, сказал что-то по-киргизски. Мальчик ответил — коротко, гордо.

— Сын, — сказал Булек. — Младший сын Таучубека. Бексултан.

— Вот как, — сказал Перемышльский задумчиво. — Вот, значит, как.

Отходили сразу — не теряя ни часа. Перемышльский знал: Таучубек ушёл не насовсем. Он соберёт людей — по соседним аулам, по своим родичам, по всем, кто стоял за войну на вече, — и вернётся. И если отряд с табуном и пленными не успеет выйти из гор на равнину, его перебьют в ущельях, как куропаток.

Табун гнали в середине, взяв в кольцо. Пленных — на телегах, со связанными руками. Бексултана посадили на отдельную лошадь, привязав его ноги под брюхом к стремянам; рядом с ним ехал Булек, и за весь путь они не сказали друг другу ни слова.

Вторая сотня шла в арьергарде. Это значило — последней. Это значило — первой под удар.

Потанин потом не мог вспомнить, как это началось. Вот они едут по узкому ущелью, вдоль бурной речки, в тени высоких скал; позади — пустая тропа, впереди — пыль от уходящего табуна. Вот кто-то из казаков поднимает голову и кричит. Вот сверху, со скал, — сначала один камень, потом несколько, потом лавина — несутся вниз, подпрыгивая, грохоча, ломая кустарник. Вот лошадь рядом с Потаниным встаёт на дыбы, сбрасывая всадника. Вот камень величиной с человеческую голову ударяет в круп лошади Лаптева, и она падает, придавив ногу хозяина. Вот наверху, на гребне, появляются фигуры — всадники, пешие, — и стреляют, и кричат своё «ай-гай».

— Вперёд! — кричит Подгорбунский. — Вперёд, не стоять! Галопом!

Потанин скачет. Он не знает, куда скачет и зачем; он знает только, что надо вперёд, что стоять нельзя, что камни летят сверху и что каждый из них может убить. Рядом скачет Бобров, пригнувшись к гриве. Сзади кто-то кричит — тонко, жалобно, по-детски. Потанин оборачивается — и видит Лаптева. Лаптев лежит на тропе, под своей лошадыю, и тянет руки, и рот его открыт в крике, и на гребне над ним уже появляются фигуры.

Потанин поворачивает коня.

Он не думает. Он потом, сколько ни пытался, не мог вспомнить, о чём думал в эту минуту, — может быть, ни о чём. Он скачет назад, навстречу камням, навстречу фигурам на гребне. Рядом с ним вдруг оказывается Бобров — огромный, рыжий, с перекошенным лицом, — и кричит ему что-то, чего он не слышит. Они подъезжают к Лаптеву. Потанин соскакивает с коня, хватается за седло лаптевской лошади, тянет — лошадь мёртвая, тяжёлая, как бревно. Бобров тянет с другой стороны. Лаптев кричит. Камень пролетает мимо — так близко, что Потанин чувствует ветер.

Они вытаскивают его. Лаптев не может стоять — нога вывернута, сапог в крови. Бобров вваливает его на свою лошадь, как мешок, и бьёт её нагайкой. Потанин вскакивает на своего коня. Они несутся вниз по ущелью, вдогонку уходящей сотне.

Сзади кричат.

Он оборачивается ещё раз — и видит, что на тропе остались двое. Казак Филатов и казак Мосолов — молодые, оба из одной станицы, оба пешие, их лошади убиты. Они стоят спина к спине, с шашками наголо, а с гребня к ним спускаются люди Таучубека. Много людей.

— Назад! — кричит Потанин Боброву. — Там наши!

— Нельзя, ваше благородие! — орёт урядник, не оборачиваясь. — Нельзя! Там их сорок человек! Всех положат!

И Потанин понимает, что Бобров прав. И скачет дальше, вниз, вслед за сотней. И не оборачивается больше.

Он не оборачивался потом очень долго. Может быть, всю жизнь.

Вышли на равнину к вечеру. Потеряли двоих — Филатова и Мосолова, взятых в плен. Пятеро раненых, в их числе Лаптев — у него была сломана нога, фельдшер наложил шину из ружейного шомпола и сказал, что, если Бог даст, срастётся. Восемь убитых лошадей. Зато — табун в семьсот голов, двадцать пленных и сын Таучубека.

Перемышльский был доволен. Он не говорил этого, но Потанин видел по тому, как он держался в седле, как смотрел на табун, как распоряжался. Он сделал то, что хотел: показал Таучубеку, что русские тоже умеют приходить ночью. И взял заложника. Теперь можно было торговаться.

— Филатов и Мосолов, — сказал Потанин, подъехав к нему. — Ваше высокоблагородие... Мы их бросили.

Перемышльский посмотрел на него.

— Мы их не бросили, хорунжий. Мы их потеряли. Это разное. — Он помолчал. — Их не убьют. Таучубек не дурак. Он знает, что у нас его сын. Он будет менять.

— А если убьют?

— Тогда убьют, — сказал Перемышльский спокойно. — Это война, хорунжий. Здесь убивают. Ты думал — здесь в бирюльки играют?

Потанин молчал. Перемышльский посмотрел на него ещё раз — внимательнее — и вдруг сказал другим тоном, тише:

— Ты Лаптева вытащил. Видел. Бобров рассказал. Молодец. Глупо, но молодец.

И поехал вперёд, к голове колонны.

Беда ждала их у самого лагеря.

Её увидели издали, ещё за версту, — и сначала не поняли. На дороге, у въезда в лагерь, стояли четыре шеста. Высокие, тонкие, тополевые, воткнутые в землю в ряд, на равном расстоянии друг от друга, у самой обочины. На каждом шесте что-то было.

Подъехали ближе. Колонна замедлилась. Потом остановилась. Потом кто-то впереди закричал — страшно, звериным голосом, — и закричали все.

На шестах были головы.

Человеческие головы. Казачьи. Отрубленные — грубо, неровно, со свисающими лоскутами кожи, — и насаженные на острые концы шестов. Глаза у них были открыты. Рты — тоже. Над ними кружились мухи. Кровь, стекавшая по шестам, уже засохла бурыми потёками.

Потанин смотрел на них и не мог отвести взгляд.

Одну голову он узнал. Это был казак Сорокин, из первой сотни — весёлый, уса́тый, вечно рассказывавший похабные анекдоты про попа и попадью. Зимой, на Иссыке, он делился с Потаниным своим табаком, когда у того кончился. Теперь его голова смотрела с шеста мёртвыми глазами, а в усах запутались мухи.

Потом рассказали, как это случилось. Пока отряд ходил на Таучубека, его старший сын, Сатыбалды, собрал людей и напал на сенокос — в пяти верстах от лагеря, на залидном лугу у реки, где косили сено казаки, оставшиеся в лагере. Их было двенадцать — с косами, без ружей. Восемь успели убежать. Четверых догнали.

Тезек привёз их головы сюда, к лагерю, и выставил на шестах у дороги. Чтобы отряд, возвращаясь, увидел.

Отряд увидел.

Это началось вечером, когда стемнело.

Потанин был на дежурстве — его поставили караулить пленных. Их держали в отдельной загородке, сколоченной наспех из жердей и колючего кустарника, на краю лагеря. Двадцать человек — киргизы Таучубека, связанные попарно, сидели на земле, прижавшись друг к другу, и молчали. Бексултана держали отдельно, в палатке, под двойным караулом: Перемышльский боялся, что его попытаются освободить.

Сначала Потанин слышал голоса. Много голосов — сердитых, пьяных, нарастающих. Потом увидел огни — факелы, приближающиеся от казачьих палаток. Потом увидел людей.

Их было человек пятьдесят. Может, больше. Казаки — из первой сотни, той, из которой были убитые на сенокосе. Пьяные — не сильно, но достаточно. С шашками, с нагайками, с факелами. Впереди шёл огромный бородатый казак — Потанин узнал в нём урядника Сорокина, брата убитого.

— Ваше благородие, — сказал урядник, подойдя вплотную. Голос его был тихий, страшный. — Отойдите.

— Не отойду, — сказал Потанин. Голос у него сорвался, и он повторил: — Не отойду. Это приказ пристава.

— Пристав, — повторил Сорокин. — Пристав. Пристав у себя в палатке чай пьёт. А братова голова на шесте. Отойдите, ваше благородие. Мы не вас пришли. Мы — их.

Он кивнул на загородку. Пленные, увидев факелы, вскочили на ноги. Кто-то из них закричал. Кто-то начал молиться — Потанин слышал «Аллах, Аллах».

— Не их, — сказал Потанин. — Они Сорокина не убивали. Они в ауле были, за сто вёрст. Это Сатыбалды. Его и ищите.

— Сатыбалды из них, — сказал урядник. — Одна кровь. Одна порода. Волчья. Отойдите, ваше благородие. В последний раз прошу.

Толпа за его спиной загудела. Кто-то поднял факел выше. Кто-то крикнул: «Да чего с ним говорить! Отпихни его, и всё!»

Потанин стоял между ними и загородкой. Он был один — двое казаков, караулившие с ним, отошли в сторону, сделав вид, что не видят. У него была шашка, которой он почти не умел владеть, и пистолет, которого он не зарядил. Ноги у него дрожали. Он думал: сейчас меня убьют. Сейчас меня убьют свои.

И он вдруг вспомнил тётку Меланию с ухватом. Авдотью на кухонном полу, с разбитой головой. Себя — маленького, висящего на тёткиной руке. Тогда его отшвырнули, как котёнка.

Сейчас он не был котёнком.

— Сорокин, — сказал он, и голос его вдруг стал твёрдым, неожиданно для него самого. — Ты брата любил?

Урядник замер.

— Ты его любил. Я знаю. Он мне про тебя рассказывал. Говорил — ты его в детстве из проруби вытащил. На Иртыше. Говорил — если б не ты, его бы раков кормить. Говорил?

— Ну, — глухо сказал Сорокин.

— А у этих, — Потанин кивнул на загородку, — у этих тоже братья есть. И отцы. И матери. Они сейчас тоже ждут их домой. Ты их убьёшь — Тезек убьёт Филатова и Мосолова.

А потом ещё кого-нибудь. А потом ты убьёшь ещё. А потом он. И так до конца света. Ты этого хочешь? Чтобы и мы, и они — одни головы на шестах?

Толпа молчала. Факелы потрескивали.

— Брат твой не за это умер, — сказал Потанин. Он не знал, откуда берутся слова; он говорил, и сам слушал себя, удивляясь. — Он умер, потому что его на этот сенокос поставили без ружья, без охраны, без ничего. Его государство сюда пригнало — землю брать, крепость строить. Пригнало и бросило. Не Таучубек его убил. Его убили те, кто его сюда послал и не защитил. А ты теперь хочешь отомстить — кому? Мужикам, которые за сто вёрст отсюда были? Так это не месть, Сорокин. Это то же самое. Это ещё четыре шеста.

Сорокин стоял, опустив шапку. Лицо его было мокрым — от слёз или от пота, Потанин не мог разобрать. Потом он сказал — тихо, хрипло:

— Складно говоришь, ваше благородие. Учёный.

— Не учёный, — сказал Потанин. — Я с Пресновки. Как Ванька Сизов. Как ты.

Урядник долго смотрел на него. Потом повернулся к толпе.

— Пошли, — сказал он. — Пошли, ребята. Пошли брата помянем.

Толпа заколебалась, загудела. Кто-то крикнул: «Да ты что, Сорокин!» Кто-то выругался. Но урядник уже уходил, тяжело ступая, опустив голову, — и за ним, один за другим, потянулись остальные. Факелы удалялись, мигая, в темноту, к казачьим палаткам.

Последним уходил Бобров — Потанин и не заметил, что он был в толпе. Урядник остановился, посмотрел на хорунжего долгим взглядом, покачал головой и сказал:

— Ну, ваше благородие... Ну и ну.

И ушёл.

Потанин сел на землю у загородки. Ноги его не держали. Он сидел, обхватив колени, и трясся, как в лихорадке. За спиной, за жердями, сидели пленные — двадцать человек, которых он только что спас, — и молчали.

Потом один из них — старик, седой, с жидкой бородкой, — подполз к жердям, просунул сквозь них руку и тронул Потанина за плечо. Потанин обернулся. Старик что-то сказал по-киргизски — тихо, несколько слов.

Потанин не понял. Он знал только одно слово из сказанного. «Аруах».

Наутро Перемышльский вызвал его к себе.

Пристав сидел за своим столом — тем самым, у караула, — и пил чай. Перед ним лежали бумаги. Он не предложил Потанину сесть и долго молчал, глядя на него поверх кружки.

— Мне доложили, — сказал он наконец. — Что ты ночью толпу остановил. Пятьдесят человек. Один.

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Что ты им говорил?

Потанин помедлил.

— Что их брата убило государство. А не Таучубек.

Перемышльский поставил кружку.

— Это ты зря, — сказал он медленно. — Это ты очень зря, хорунжий. Если это до Омска дойдёт — тебя не спасёт никто. Даже я. Даже Гасфорд со своей новой религией.

Он помолчал.

— Но ты прав. — Он отвернулся, глядя в сторону гор. — Чёрт тебя дери, ты прав. Я им говорил — не косить без охраны. Говорил дежурному офицеру. Он сказал — людей нет, все в набеge. А сено нужно — лошадям жрать нечего. Вот и косили без охраны. Сено нужно... — Он вдруг ударил ладонью по столу так, что подпрыгнула кружка. — Всё нужно! Крепость нужна, сено нужно, табун нужен, рапорт нужен, донесение нужно! И из Омска пишут: где отчёт о строительстве? где ведомость по фуражу? почему перерасход пороха на сорок фунтов? А

что людей нет, что лошадидохнут, что головы на шестах — это им в Омске не нужно. Это им всё равно.

Он замолчал так же внезапно, как начал. Потанин стоял не шевелясь. Он никогда не видел пристава таким.

— Ступай, — сказал Перемышльский устало. — И никому не говори, что я тебе сейчас сказал. И сам больше такого не говори. Никогда. Ни при ком. Понял?

— Понял, ваше высокоблагородие.

Потанин вышел. У палатки его ждал Булек.

— Начальник ругал? — спросил старик.

— Нет, — сказал Потанин. — Не ругал.

Булек кивнул, будто так и думал.

— Старик, которого ты спас, — сказал он, — это Кенжебай. Он родич Таучубека. Дворянский брат. Он ночью сказал тебе, знаешь что?

— Нет.

— Он сказал: тебя аруахи бережут. Он сказал: я видел, как они стояли за твоей спиной. Он сказал: теперь Таучубек тебе должен.

Таучубек прислал гонца через три дня.

Гонец приехал днём, открыто, с белой тряпкой на пике, — молодой, гордый, с соколом на руке. Он не слез с коня у палатки Перемышльского, а говорил, сидя в седле, глядя на пристава сверху вниз. Говорил коротко. Булек переводил.

Таучубек предлагал обмен. Его сын — на двух казаков. Его родичи — двадцать пленных — на табун. Не весь табун — половину. Вторую половину он оставлял русским как плату за мир. И ещё: он обещал не трогать больше русские сенокосы и табуны, если русские не будут трогать его кочевья.

— А Сатыбалды? — спросил Перемышльский. — Его сын, который головы на шестах выставил?

Гонец выслушал перевод и ответил коротко.

— Он говорит, — перевёл Булек, — что Сатыбалды — взрослый. Что он сам за себя отвечает. Что Таучубек его не посылал. Что Таучубек сам велел снять головы с шестов и похоронить их. Он говорит: батыры не воюют с мёртвыми.

Перемышльский долго думал. Потом сказал:

— Передай: согласен. Завтра, на рассвете, у брода на Каскелене. Я привезу его сына и родичей. Пусть он привезёт моих казаков. И пусть приедет сам.

Гонец выслушал, кивнул, развернул коня и уехал.

Обмен был на рассвете, у брода.

Брод был широкий, мелкий, с галечным дном, — река здесь растекалась по равнине несколькими рукавами, и вода в них едва доходила лошадям до колен. На одном берегу стояли русские — две полусотни казаков, Перемышльский, Булек, Потанин и пленные. На другом — киргизы. Их было примерно столько же. Впереди, на сером коне, сидел Таучубек.

Потанин видел его второй раз в жизни. Старик сидел в седле прямо, неподвижно, в том же тёмном халате без украшений и лисьей шапке. Лицо у него было каменное. Рядом с ним стояли двое казаков — Филатов и Мосолов, — без оружия, без шапок, но живые и, кажется, целые.

Сначала переправились пленные. Двадцать киргизов, развязанных, пешком, по колено в воде, перешли на тот берег. Их встретили молча, но Потанин видел, как кто-то из стоявших там бросился обнимать старика Кенжебая.

Потом переправились Филатов и Мосолов — на этот берег. Они шли медленно, оглядываясь, будто не веря. Выйдя на гальку, Филатов упал на колени и стал креститься. Мосолов

стоял, озираясь, и вдруг заплакал — громко, по-детски, как плачут деревенские парни, когда никто не видит.

Потом настала очередь Бексултана.

Его вывели вперёд — без верёвок, в его шёлковом халате, в бархатной тюбетейке. Он шёл медленно, гордо, не глядя по сторонам. У самой воды он остановился и вдруг обернулся — и посмотрел на Потанина.

Потанин не знал, почему. Он все эти дни видел мальчика только мельком — у палатки, издали. Он ни разу с ним не говорил. Но Бексултан смотрел именно на него — долго, внимательно, будто запоминая. Потом сказал что-то — громко, отчётливо, по-киргизски — и вошёл в воду.

— Что он сказал? — шёпотом спросил Потанин у Булека.

Булек помолчал.

— Он сказал: я знаю, кто ты. Мне дядя Кенжебай рассказал. Я тебя запомню.

— Это хорошо или плохо?

Булек пожал плечами.

— Не знаю, улан. Посмотрим.

Мальчик перешёл реку. На том берегу Таучубек слез с коня — впервые за всё время, — шагнул к сыну и обнял его. Обнял крепко, коротко, не говоря ни слова. Потом отстранил, посадил на свободного коня и сам вскочил в седло.

И тут он посмотрел на русский берег. На Перемышльского. Потом — на Потанина.

Он смотрел долго — так же, как тогда, на вече. Потом медленно, едва заметно наклонил голову. Не поклон — нет. Просто наклон головы. Как кивают человеку, которого узнали.

Потом он развернул коня и поскакал в горы. За ним — его люди, его сын, его родичи, половина табуна. Пыль поднималась над равниной и долго висела в утреннем воздухе.

Потанин смотрел им вслед, пока они не скрылись за холмом. Он смотрел на мальчика в шёлковом халате, который скакал рядом с отцом, на старика Кенжебая, на гордого гонца с соколом.

И думал: кто прав?

Таучубек, который защищал землю отцов и кости предков? Сатыбалды, который отрубил головы четырём безоружным косарям? Перемышльский, который пришёл строить крепость на чужой земле, но запретил трогать женщин и котлы? Сорокин, который хотел отомстить за брата? Гасфорд, который сочинял новую религию? Сам он — хорунжий Седьмого казачьего полка, который ходил в набег на спящий аул, а потом остановил толпу у загородки?

Он не знал.

— Ваше высокоблагородие, — сказал он, не оборачиваясь. — Кто прав?

Перемышльский, стоявший рядом, долго молчал. Потом сказал:

— Никто, хорунжий. — Он помолчал. — Никто никогда не прав. Есть только те, кто живёт, и те, кто умер. И те, кто их хоронит.

Он повернул коня и поехал к лагерю.

Через неделю из Омска пришла почта.

Среди бумаг было предписание генерал-губернатора Гасфорда. Его читали вслух, на построении, — Перемышльский велел, чтобы слышали все. В предписании говорилось, что его высокопревосходительство с удовлетворением узнал об успешных действиях Заилийского отряда против мятежного султана Таучубека и о захвате значительного табуна. Что, однако, его высокопревосходительство с крайним неудовольствием узнал о том, что захваченный табун был наполовину возвращён мятежнику без надлежащего на то разрешения. Что возврат казнённого имущества противнику есть нарушение статей таких-то и таких-то Воинского устава. Что подполковнику Перемышльскому предписывается в двухнедельный срок представить подроб-

ное объяснение в трёх экземплярах, с приложением ведомости возвращённых лошадей по мастям, возрастам и полу.

И ещё: что новое укрепление на Алматы его высокопревосходительство повелевает впредь именовать «Верное» — в ознаменование верности киргизов Большой орды Российскому престолу.

Когда чтение кончилось, в строю долго стояла тишина. Потом Лаптев — он стоял на костылях, с ногой в лубке, — тихо, чтобы слышал только Потанин, сказал:

— Верное. В ознаменование верности. Гриша, по-моему, наш генерал — единственный юморист во всей Сибири. Только он сам об этом не знает.

Потанин не засмеялся. Он смотрел на Перемышльского, стоявшего перед строем. Пристав держал в руках предписание и смотрел на горы. Лицо у него было такое, какое бывает у человека, который давно перестал удивляться.

Потом Перемышльский свернул бумагу, сунул её за обшлаг сюртука и сказал, обращаясь к строю:

— Казаки. Нужен офицер — отвезти казённое серебро в Кульджу, консулу. Двенадцать дней пути через горы. Охрана — двое. Дорога опасная. Кто пойдёт?

Потанин шагнул вперёд раньше, чем успел подумать.

— Я, ваше высокоблагородие.

Перемышльский посмотрел на него — и, кажется, впервые за всё время улыбнулся. Едва заметно, одними глазами.

— Я так и знал, — сказал он. — Ну что ж, хорунжий. Поезжай. Посмотри на Китай. Тебе полезно.



Глава 5. Западная дорога

Серебро было тяжёлое.

Это первое, что понял хорунжий Потанин, когда в палатке Перемышльского ему показали груз. Четыре кожаных мешка, зашитых суровой ниткой, опечатанных сургучом с казённым орлом; в каждом мешке — слитки, в каждом слитке — по три фунта, всего на двенадцать тысяч рублей серебром. Жалованье консульства за полгода, деньги на подарки китайским чиновникам, на покупку чая, на содержание караван-сарая для русских купцов. Мешки были маленькие, но поднять каждый можно было только двумя руками, и когда их навьючили на лошадь, она присела.

— Двенадцать тысяч, — сказал Перемышльский, глядя, как казаки затягивают ремни. — Хорунжий, ты за всю жизнь столько не заработаешь. Если потеряешь — тебя не разжалуют. Тебя повесят. А меня вместе с тобой — за то, что послал.

— Не потеряю, ваше высокоблагородие.

— Все так говорят. — Пристав помолчал. — Охрана — двое. Больше не дам: большой отряд заметят, а маленький — может, и проскочит. Бобров и Мосолов.

— Мосолов? — удивился Потанин. — Тот, что в плену был?

— Сам попросился. — Перемышльский усмехнулся. — Говорит — должен. Говорит — вы, ваше благородие, Лаптева вытащили, а я в ущелье с шашкой стоял, вас ждал, а вы не вернулись. Хочу, говорит, теперь посмотреть, какой вы есть. Возьми его. Он хороший казак. Злой только, после плена.

Проводником дали Сарсенбая — человека Диканбая, немолодого, кривоногого, с бородой цвета соли с перцем и глазами, которые, казалось, всё время улыбались, даже когда лицо оставалось серьёзным. Он ездил в Кульджу каждый год, с караванами, и знал дорогу так, как знают дорогу к колодцу у собственной юрты.

Выехали на рассвете. Перемышльский провожал их до брода. Там он придержал коня, посмотрел на Потанина долгим взглядом и сказал:

— Захарову поклон передай. Консулу. Он человек странный, учёный. Десять лет в Пекине прожил, по-китайски говорит лучше, чем по-русски. Тебе понравится.

Они ехали двенадцать дней.

Это были лучшие двенадцать дней в жизни Потанина — так он думал потом, много лет спустя, когда у него было уже много других лучших дней, и всё-таки эти не уступали ни одному. Весна в Семиречье — короткая, бурная, ослепительная — была в самом разгаре. Степь, ещё месяц назад серая и мёртвая, стала зелёной от края до края, и по этой зелени, как огонь по сухой траве, бежали маки — алые, тёмно-красные, почти чёрные в середине. Их было столько, что казалось, будто земля истекает кровью. Потом маки сменялись тюльпанами — жёлтыми и красными, с острыми лепестками. Потом — белыми ирисами, которые киргизы зовут «козьими рожками». Потом снова маками.

Днём было жарко. Ночью — холодно. Ехали с утра до полудня, потом пережидали зной где-нибудь в тени скал или у ручья, потом ехали снова, до заката. Ночевать Сарсенбай находил место сам — и находил его способом, которого Потанин никогда не забыл.

В первый вечер, когда солнце уже село и степь начала синеть, Сарсенбай вдруг остановил коня, приложил ладони рупором ко рту, запрокинул голову и завыл.

Это был волчий вой — настоящий, тоскливый, протяжный, с переливом в конце. Потанин вздрогнул. Мосолов схватился за ружьё. Бобров, ехавший последним, только хмыкнул.

Сарсенбай выл, замолкал, слушал. Выл снова. И вдруг откуда-то издалека, из-за холмов, — едва слышно, тонко — отозвалась собака. Потом другая. Потом целый собачий хор — залистый, возмущённый.

— Аул, — сказал Сарсенбай довольно, опуская руки. — Там. Полчаса.

— Как ты узнал? — спросил Потанин.

— Собака волка не любит. Собака волка слышит — лает. Где собака лает — там аул. Где аул — там чай, мясо, кошма. — Он засмеялся. — Старый способ. Мой дед так ездил. Его дед так ездил.

Через полчаса они действительно сидели у костра в юрте — у незнакомых людей, которые никогда их не видели и не знали, кто они. Хозяин, пожилой киргиз с седой бородкой, встретил их у входа, принял коней, ввёл в юрту, посадил на почётное место — напротив двери, на лучшую кошму. Хозяйка, не говоря ни слова, поставила на огонь котёл. Дети, разинув рты, смотрели на русских из-за полога. Через час гости ели мясо, пили кумыс и чай с молоком, а хозяин, улыбаясь, подкладывал им лучшие куски.

Никто не спросил, кто они. Никто не спросил, куда едут и зачем. Никто не спросил, что в тяжёлых кожаных мешках, которые Мосолов, не выпуская из рук ружья, положил у себя в ногах.

— Почему он ничего не спрашивает? — шёпотом спросил Потанин у Сарсенбая.

— Нельзя, — ответил тот. — Гость — от Бога. Құдайы қонақ. Божий гость. Кто бы ни пришёл — бедный, богатый, свой, чужой, урус, калмык, — его надо накормить, напоить, положить спать. Спрашивать нельзя. Сам скажет, если захочет. Если хозяин гостя не накормит — позор ему. На весь род позор. Люди скажут: у него Бог в гостях был, а он Бога голодным отпустил.

— А если гость — вор? Разбойник?

Сарсенбай пожал плечами.

— Всё равно гость. Пока под крышей — гость. Выйдет за порог — тогда разбирайся.

Потанин долго не мог уснуть в ту ночь. Он лежал на кошме, рядом с храпящим Бобровым, и смотрел на звёзды сквозь отверстие в куполе юрты. И думал.

Он думал о том, что у них, в Пресновске, если чужой человек постучится ночью в дом — ему не откроют. Сначала спросят: кто? откуда? есть ли пачпорт? Потом, может быть, пустят в сени. Может быть, дадут хлеба. А может быть, пошлют за урядником. Потому что чужой человек без пачпорта — это бродяга, беглый, вор. Так велит закон. Так велит государство.

А здесь — никакого государства. Никаких пачпортов. Никаких урядников. Только старый закон, которому тысяча лет: гость — от Бога.

И этот закон, подумал Потанин, лучше.

На шестой день они подошли к перевалу Алтын-Эмель.

Дорога, долго петлявшая по предгорьям, вдруг круто пошла вверх, и вместе с ней круто пошла вниз погода. Ещё утром они ехали по зелёной степи, среди маков, сняв мундиры и оставшись в рубахах; к полудню пришлось надеть мундиры; к вечеру — полушубки. Трава кончилась. Начались камни — серые, бурые, рыжие, покрытые лишайником. Потом — снег.

Сначала он лежал пятнами, в тени скал, в расщелинах. Потом пятна слились в поля. Потом — в сплошную белую пелену, из которой торчали только чёрные зубцы утёсов. Ветер стал острым и злым. Лошади шли медленно, осторожно, проваливаясь в снег по колено, и выучная лошадь с серебром стонала, как человек.

Ночевали на самом перевале, в каменной хижине, сложенной неизвестно кем и неизвестно когда — четыре стены из необтёсанных камней, без крыши, без двери. Развели костёр из сухого помёта, которого кто-то запасливый оставил в углу. Сарсенбай сказал, что хижину сложили калмыки — давно, ещё когда здесь было их ханство. Что они ставили такие на всех перевалах — для путников, для гонцов, для всех. Что ханство кончилось сто лет назад, калмыков почти не осталось, а хижины стоят.

— Кто же теперь оставляет помёт? — спросил Потанин.

— Все, — ответил Сарсенбай. — Кто идёт мимо — оставляет. Киргиз идёт — оставляет. Китаец идёт — оставляет. Ты будешь идти обратно — тоже оставишь. Так надо. Иначе тот, кто придёт после тебя, замёрзнет.

Потанин записал это в книжку. Записал, а потом долго смотрел на написанное. «Кто идёт мимо — оставляет. Иначе тот, кто придёт после тебя, замёрзнет». Ему казалось, что в этих словах есть что-то очень важное, больше, чем помёт и перевал. Но он не мог понять, что.

Утром они начали спуск.

Это было как чудо. Как сказка. Как сон, в котором тебя переносят из одного мира в другой.

Они перевалили гребень — последний, самый высокий, — и Потанин придержал коня. Позади, за спиной, лежала зима: снег, утёсы, серое небо, ледяной ветер. А впереди, внизу, в бесконечной дали, лежала равнина — жёлтая, золотая, залитая солнцем, — и над ней стояло синее, чистое, тёплое небо. Не было ни снега, ни ветра, ни облаков. Была весна — нет, уже почти лето. Вдали, на самом краю, синели горы — другие горы, незнакомые, китайские. Внизу, в долине, серебрилась река — Или, та самая Или, через которую они переплывали осенью, только здесь она была шире, спокойнее, величественнее. По её берегам, тёмными пятнами, зеленели сады.

И над всем этим, высоко в небе, пел жаворонок.

Потанин не видел его — только слышал. Песня падала сверху, из синевы, звонкая, захлё-бывающаяся, бесконечная — трели, переливы, рулады, — как будто сама весна сидела там, в небе, и не могла удержать своей радости. Он слушал, задрав голову, и чувствовал, как с него сходит холод — не только тот, что от снега и ветра, но и какой-то другой, давний, глубокий, накопившийся за всю эту страшную зиму. За Ваньку Сизова. За лошадей, грызущих хвосты. За четыре шеста.

Он снял полушубок. Потом мундир. Остался в рубаше. Солнце грело плечи.

— Ваше благородие, — сказал Бобров, тоже стягивая тулуп. — Вы чего?

— Ничего, Бобров. — Потанин улыбнулся. — Смотри. Это Китай.

Он смотрел вниз, на золотую равнину, на синие горы, на серебряную реку, — и ему казалось, что он видит не только эту долину, но весь Китай: всю эту огромную, древнюю, неведомую страну до самого Тихого океана. Города с загнутыми крышами, о которых он читал у Иакинфа Бичурина. Великую стену. Пекин. Императора в жёлтом халате на драконовом троне. Миллионы людей, которые живут, работают, любят, умирают, — и ничего не знают о нём, о хорунжем Потанине, о Седьмом казачьем полку, о Пресновске, о Копале, о Российской империи.

И он подумал: а ведь Чокан ещё не видел Китая. А я — вижу.

Ему стало стыдно этой мысли. И всё-таки он улыбался.

Китайский караул стоял у подножия перевала, у самого выхода на равнину.

Это была маленькая глинобитная крепостца, квадратная, с башенками по углам, с воротами, над которыми висела доска с иероглифами. Над воротами развевался жёлтый флаг с драконом. У ворот стояли солдаты — четверо, в синих куртках, в круглых шапках, с длинными копьями, которые они держали так, будто боялись уронить.

Сарсенбай поехал вперёд один. Он долго говорил с солдатами, жестикулируя, показывая то на русских, то на мешки, то на небо. Солдаты слушали, качали головами, что-то отвечали. Потом один из них ушёл в крепостцу, и через некоторое время оттуда вышел офицер.

Это был маньчжур — немолодой, сухой, с жидкими усами, свисавшими ниже подбородка, и с длинной косой, перекинутой через плечо. На нём был халат с вышитым на груди квадратом — знаком чина, — и шапка с шариком на макушке. Он подошёл к русским, оглядел их с головы до ног, потом оглядел мешки, потом снова их — и заговорил.

Говорил он долго, ровным, бесцветным голосом. Сарсенбай переводил — сначала с маньчжурского на киргизский, потом Мосолов, который немного понимал по-киргизски, с киргизского на русский. Получалось медленно и не очень понятно.

— Он говорит, — сообщил Мосолов, морща лоб, — что у нас нет... это... бумаги. С печатью. Красной. Что без красной печати через границу нельзя. Что надо написать... это... прошение. Илийскому цзянь-цзюню. Это у них вроде генерал-губернатора. И ждать ответа.

— Сколько ждать?

Мосолов спросил. Сарсенбай спросил. Офицер ответил.

— Говорит — месяц. Может, два. Если цзянь-цзюнь здоров и в хорошем расположении.

— Но у меня письмо! — Потанин полез за пазуху. — Письмо к консулу! От пристава Перемышльского! С печатью!

Офицер взял письмо, повертел его в руках, посмотрел печать — русскую, восковую, с двуглавым орлом, — понюхал её зачем-то и вернул.

— Говорит — печать не та, — перевёл Мосолов. — Говорит — у нас печать должна быть красная, квадратная. А эта — круглая. И цвет не тот. Говорит — круглая печать — это не печать, это... это игрушка.

Бобров за спиной выругался. Потанин стоял, не зная, что делать. Двенадцать тысяч серебром. Месяц ожидания у этой глиняной крепостцы. Перемышльский. Захаров. Казённое имущество.

Он вспомнил предписание Гасфорда — объяснение в трёх экземплярах, с ведомостью лошадей по мастям, возрастам и полу. И вдруг ему стало смешно. Он смотрел на маньчжурского офицера с усами до подбородка, с косой и с шариком на шапке, который отказывался признать русскую печать потому, что она круглая, — и видел в нём Гасфорда. И Абрамова с его уставом. И омских чиновников с их ведомостями. Тот же самый человек — только в другом халате.

— Сарсенбай, — сказал он. — Скажи ему... Скажи ему, что у нас тоже есть такой закон. Что у нас тоже без бумаги никуда. Что я его понимаю.

Сарсенбай удивлённо посмотрел на него, но перевёл. Офицер выслушал — и впервые на его неподвижном лице что-то дрогнуло. Он посмотрел на Потанина внимательнее.

А потом произошло то, чего Потанин никак не ожидал.

Из ворот крепостцы вышел ещё один солдат — старый, сторбленный, в рваной синей куртке, — и, увидев Сарсенбая, вдруг закричал что-то и бросился к нему. Сарсенбай соскочил с коня. Они обнялись — крепко, долго, хлопая друг друга по спинам, смеясь, что-то выкрикивая на языке, который не был ни киргизским, ни маньчжурским.

— Кто это? — спросил Потанин.

Сарсенбай повернулся к нему — лицо у него сияло.

— Это Ойтун! Солон! Мой тамыр — побратим! Мы с ним двадцать лет назад кровь смешали. Вот здесь. — Он показал на шрам на ладони. — Он солон, они у китайцев служат, на границе. А я киргиз. А мы — тамыры. Братья.

Старый солдат что-то быстро говорил маньчжурскому офицеру, показывая на Сарсенбая, на русских, на мешки. Офицер слушал, хмурился, качал головой. Потом махнул рукой и что-то сказал.

— Он говорит, — перевёл Сарсенбай, ухмыляясь, — что если Ойтун за нас ручается, то он запишет в книгу, что мы — киргизские купцы. Что везём войлок. Войлок можно без печати.

— Войлок? — Потанин посмотрел на мешки с серебром.

— Войлок, — твёрдо сказал Сарсенбай. — Очень тяжёлый войлок. Лучший войлок. Из шерсти белого верблюда.

Офицер ушёл в крепостцу — записывать в книгу войлок. Ойтун потащил их всех к себе — в маленькую глиняную каморку при казарме, — и поил чаем, и угощал сушёными дынями,

и расспрашивал Сарсенбая о его жене, детях, внуках, о верблюдах, о прошлогоднем джуге, и сам рассказывал о своей жене, о детях, о внуках, о том, что маньчжурский офицер — человек неплохой, только очень боится начальства, а начальство в Кульдже очень строгое, а император далеко, в Пекине, и никто его никогда не видел, но все его боятся.

Потанин сидел, пил чай, слушал. И думал о том, что вот — две империи. Русская и китайская. У каждой — своя печать, свой закон, свой генерал-губернатор, свои ведомости, свои пачпорта. Они стоят друг против друга, разделённые этой крепостной стеной, этим флагом с драконом, этим офицером с косой. А под ними, под всеми этими печатями, живут другие люди — киргиз и солон, которые двадцать лет назад смешали кровь и стали братьями. И им нет дела ни до какой печати. И когда приходит нужда — они помогают друг другу, и никакая печать им не указ.

«Тамыр, — записал он вечером в книжку. — Побратимство через кровь. Киргиз и солон. Сильнее любой границы». И подчеркнул последние слова двумя чертами.

Кульджа открылась на десятый день — сначала садами.

Они тянулись по обе стороны дороги, сколько хватало глаз: яблони, абрикосы, персики, груши, тутовые деревья, виноградники на шпалерах. Между садами бежали арыки — узкие канавки с прозрачной водой, — и вода эта, отведённая от реки за много вёрст, разбегалась по садам и полям тысячей тонких ручейков, как кровь по жилам. На полях работали люди — мужчины в длинных халатах и белых тюбетейках, женщины в ярких платках, — и пели. Песня у них была протяжная, грустная, совсем не похожая на киргизские.

— Таранчи, — сказал Сарсенбай. — Землепашцы. Их китайцы сюда пригнали из Кашгара — давно, сто лет назад, когда калмыков не стало. Землю пахать. Хлеб растить для солдат.

— Пригнали? Силой?

— Силой. — Сарсенбай кивнул. — Как вы своих мужиков в Сибирь гоните. Как ваших казаков сюда пригнали. Империя — она всех гонит. Кого куда.

Потанин смотрел на таранчей, работающих в полях, на их арыки, на их сады. Сады были прекрасны. Арыки — сложные, разветвлённые, продуманные до последнего ручейка. Чтобы построить такое, подумал он, нужны не приказы цзянь-цзюня. Нужны сотни людей, которые договорились между собой: кто копает, кто чистит, кто когда берёт воду. Которые помогают друг другу. Иначе ничего не вырастет.

Он спросил об этом Сарсенбая. Тот подумал.

— Да, — сказал он. — У них есть мираб — водный старшина. Его выбирают все. Он смотрит, чтобы воду делили честно. Кто воду украдёт — тому позор. Китайский начальник в это не лезет. Ему всё равно — лишь бы хлеб был.

«Мираб, — записал Потанин. — Водный старшина. Выборный. Государство не вмешивается. Сады — как рай».

Потом показались стены.

Город был обнесён высокой глинобитной стеной с башнями по углам и с воротами, над которыми поднимались многоярусные башни с загнутыми вверх углами крыш. Крыши были покрыты зелёной черепицей и блестели на солнце. На углах крыш сидели глиняные драконы и какие-то фантастические звери с разинутыми пастьми. Над воротами висели доски с иероглифами — золотыми на чёрном.

Потанин смотрел на эти ворота, разинув рот, как деревенский мальчишка на ярмарке. Он видел такие только на гравюрах в книгах.

Русское консульство стояло вне городских стен, на отдельном участке, окружённом садом. Это был дом в китайском стиле — три двора, один за другим, соединённые круглыми воротами в виде луны; низкие строения с загнутыми краями черепичных крыш; галереи на красных столбах; в среднем дворе — маленький пруд с золотыми рыбками и искривлённая сосна в фаянсовой кадке. Над главными воротами висел, впрочем, вполне русский двуглавый

орёл, покрашенный жёлтой краской, — но и он, казалось Потанину, смотрел как-то по-китайски.

Консул Иван Ильич Захаров встретил его в среднем дворе.

Это был человек лет сорока, невысокий, полноватый, с мягким круглым лицом, с очками в тонкой металлической оправе и с рыжеватой бородкой. Он был одет в китайский халат из тёмно-синего шёлка, подбитый мехом, и в китайские туфли на войлочной подошве. Когда Потанин, вытянувшись, начал рапортовать о доставке серебра, Захаров махнул рукой.

— Бросьте, хорунжий, бросьте. Вы не на плацу. Серебро сдадите моему секретарю, он пересчитает. А вы — садитесь. Пейте чай. Вы двенадцать дней в седле — вам надо пить чай. Китайцы говорят: чай смывает пыль дороги не только с лица, но и с души.

Чай был не такой, какой пьют на линии, — не кирпичный, заваренный с молоком и солью, а зелёный, светлый, почти прозрачный, в маленьких фарфоровых чашечках без ручек, тонких, как яичная скорлупа. Захаров наливал его сам из маленького глиняного чайника и пил медленно, маленькими глотками, держа чашечку двумя пальцами.

Потанин сидел напротив и не знал, что сказать. Он чувствовал себя неуклюжим, грязным, огромным — в своём пропылённом мундире, в сапогах, на которых засохла глина всех двенадцати дней пути, — среди этого фарфора, шёлка, золотых рыбок.

— Вы робеете, — сказал Захаров, улыбаясь. — Это хорошо. Это значит, вы видите. Большинство казачьих офицеров, которые сюда приезжают, не робеют. Они видят только, что китайцы — косатые, что едят палочками и что у них нет водки. А вы — видите.

— Я читал, — сказал Потанин, краснея. — Отца Иакинфа читал. Бичурина. Описание Чжунгарии.

Захаров поставил чашку.

— Вот как, — сказал он медленно. — Бичурина. На линии. Хорунжий Седьмого казачьего полка читает Бичурина. — Он засмеялся, тихо, с удовольствием. — Ну, тогда мы с вами поговорим.

Они говорили до вечера.

Захаров рассказывал о Пекине, где он прожил десять лет в русской духовной миссии, — о его улицах, храмах, рынках, о Запретном городе, куда не пускают никого, о маньчжурском языке, которым он владел, о китайских книгах, которые читал, о том, что китайская цивилизация старше русской на три тысячи лет и что у них были бумага, порох и компас, когда наши предки ещё жили в землянках. Потанин слушал, затаив дыхание, и задавал вопросы — один за другим, без конца, — и Захаров отвечал, радуясь, как радуется человек, долго молчавший и наконец нашедший собеседника.

Потом, когда солнце начало садиться, консул встал.

— Пойдёмте, хорунжий, — сказал он. — Я покажу вам свою прогулку.

Они вышли из ворот консульства и пошли по дороге — не к городу, а в другую сторону, на запад. Дорога была пыльная, узкая, обсаженная тополями. По ней тянулись арбы — высокие, двухколёсные, с огромными колёсами в человеческий рост, — запряжённые лошадьми и ослами. Шли пешеходы — таранчи с мотыгами на плечах, киргизы с овцами, китайцы с коромыслами, на концах которых раскачивались корзины. Захаров шёл медленно, заложив руки за спину, глядя вперёд, на заходящее солнце.

— Каждый вечер я здесь хожу, — сказал он. — Одной и той же дорогой. Вот до того тополя — видите, высокий, с раздвоенной верхушкой? И обратно. Полторы версты туда, полторы обратно.

— Зачем?

Захаров помолчал.

— Видите ли, хорунжий... Эта дорога ведёт на запад. В Россию. Через горы, через степь, через Семипалатинск, Омск, Тобольск, Казань — до самой Москвы. И когда я иду по ней на

запад — хоть полторы версты, — я на полторы версты ближе к России. Каждый вечер. Это глупо, я знаю. Но это помогает.

Он улыбнулся — грустно, виновато.

— Я здесь три года. До этого — десять лет в Пекине. Тринадцать лет вдали от родины. Я люблю Китай — люблю его книги, его людей, его чай, его сосны, его тишину. Я понимаю его лучше, чем большинство русских понимают Россию. И всё-таки каждый вечер я иду на запад. Полторы версты. Чтобы помнить, где дом.

Они дошли до тополя с раздвоенной верхушкой. Остановились. Солнце садилось за горы — те самые, через которые Потанин только что перевалил, — и небо над ними было золотым, розовым, лиловым. Захаров стоял, глядя на закат, и молчал. Потом повернулся и пошёл обратно.

— Вы, хорунжий, тоже будете так ходить, — сказал он вдруг. — Когда-нибудь. В какой-нибудь чужой стране. Я это вижу.

— Почему?

— Потому что вы — не служака. — Захаров посмотрел на него сквозь очки, и глаза у него были серьёзные. — Вы — путешественник. Я сразу понял, как только вас увидел. Служаки так не смотрят. Служаки смотрят — где тут непорядок. А вы смотрите — что тут есть. Это разное. Это совсем разное. Вас, хорунжий, служба не удержит. Вы уйдёте. И будете ходить по чужим дорогам — и каждый вечер идти на запад. Или на восток. Куда там будет ваш дом.

Потанин ничего не ответил. Он шёл рядом с консулом по пыльной дороге, мимо тополей и арб, и думал о том, что Захаров, кажется, прав. И что это страшно. И что это — то, чего он хочет больше всего на свете.

На следующий день он пошёл в город один.

Захаров отговаривал: русских в Кульдже не любили, особенно военных; китайские власти смотрели на них с подозрением; простой народ — с любопытством, переходящим в неприязнь. Но Потанин настоял. Он не мог уехать, не увидев города. Захаров вздохнул и дал ему в провожатые своего слугу — старого китайца по имени Лао Ван, который немного говорил по-русски и знал город как свои пять пальцев.

Они вошли через западные ворота — те самые, с многоярусной башней и драконами на углах. Под воротами было темно и прохладно, гулко звенели шаги; стражники в синих куртках проводили их ленивыми взглядами. А потом Потанин вышел на улицу — и его оглушило.

Город шумел, гремел, кричал, звенел, пел, пах. Улица была узкая, кривая, вымощенная камнем, и по обе её стороны теснились лавки — маленькие, тёмные, открытые прямо на улицу, без стен, — и в каждой лавке что-то продавали, делали, чинили, варили. Здесь сапожник шил сапоги, сидя на корточках. Там кузнец ковал подкову, и искры летели на мостовую. Здесь продавали чай — горы чайных кирпичей, спрессованных, тёмных, с оттиснутыми на них иероглифами. Там — шёлк, рулоны шёлка, красного, жёлтого, синего, зелёного, расшитого цветами и драконами. Здесь — фарфор. Там — лекарства: сушёные корни, сушёные ящерицы, сушёные грибы, рога оленей, кости тигров. Здесь — лапша: повар тянул её прямо на глазах у покупателей, растягивая тесто в длинные нити, складывая, снова растягивая, и нити становились всё тоньше, тоньше, тоньше, пока не превращались в паутину.

А люди! Людей было столько, что нельзя было пройти, не задев кого-нибудь плечом. Китайцы — в синих халатах, с косами, с всеерами в руках. Маньчжуры — в шёлке, с важными лицами, в паланкинах, которые несли на плечах носильщики. Таранчи — в белых тибетейках. Киргизы — в лисьих малахаях. Калмыки — в высоких шапках с кистями. Солоны, сибо, дунгане — Потанин не мог различить их всех. Шли женщины — китайки, ковыляющие на крошечных изуродованных ножках, таранчинки в ярких платках. Бежали дети — голые, грязные, смеющиеся. Лаяли собаки. Кричали ослы. Где-то били в гонг. Где-то пели. Где-то ругались.

И над всем этим стоял запах — густой, тяжёлый, ни на что не похожий: жареного мяса, кунжутного масла, чеснока, ладана, навоза, пота, цветов, пыли.

Потанин шёл, оглядываясь, разинув рот, забыв обо всём. Лао Ван семенил рядом, дёргая его за рукав.

— Барин, барин, не гляди так. Не гляди. Люди сердятся.

Люди действительно смотрели на него. Сначала с любопытством — русский офицер в мундире был здесь редкостью, — потом всё более хмуро. Кто-то показывал на него пальцем. Кто-то что-то кричал. Кто-то плюнул ему под ноги.

А потом случилось то, что случилось.

Он засмотрелся на старика, вырезавшего из дерева какие-то фигурки, — и не заметил, что его лошадь, которую он вёл в поводу, ткнулась мордой в лоток у соседней лавки. Лоток был хлипкий, на тонких ножках, и на нём горкой лежали яблоки — красные, жёлтые, наливные. Лошадь толкнула его ещё раз, мордой, приюхиваясь, — и лоток опрокинулся.

Яблоки покатались по мостовой — во все стороны, под ноги прохожим, под колёса арб, в сточную канаву. Хозяйка лотка — маленькая сморщенная старуха-таранчинка — закричала так, что перекрыла весь шум улицы. Люди обернулись. Кто-то засмеялся. Кто-то закричал в ответ. Кто-то нагнулся и поднял с мостовой ком засохшей глины.

Ком полетел и ударил Потанина в спину. Потом второй — в плечо. Потом третий — в голову, сбив фуражку.

— Барин, бежим! — заорал Лао Ван. — Бежим, барин!

Но Потанин не побежал.

Он сам не понимал, почему. Комья летели в него один за другим — глина, конский навоз, гнилые овощи, — толпа вокруг росла и шумела, и Лао Ван тянул его за рукав, а он стоял и смотрел на старуху, которая ползала на коленях по мостовой, собирая своё раздавленное, затоптанное, испачканное богатство. Яблоки. Её единственное богатство, наверное. Весь её заработок на неделю, на месяц.

И он вдруг увидел в ней Айганым. Девочку-джатачку с коромыслом. Которую били за разбитое ведро ценой в полтину.

Он опустился на колени рядом со старухой — прямо на мостовую, в пыль и грязь, в своём мундире, — и начал собирать яблоки.

Толпа замолчала. Комья перестали лететь.

Потанин собирал яблоки — медленно, по одному, — и клал их в подол старухиногo платья. Старуха замерла, глядя на него снизу вверх, и рот у неё был открыт. Он собрал всё, что мог найти, — может быть, половину; остальные были раздавлены колёсами или укатились в канаву. Потом полез в карман, достал всё, что у него было, — несколько медных монет, жалованье за месяц, которое ему выдали перед отъездом, — и высыпал ей в ладонь.

Старуха смотрела на монеты. Потом на него. Потом вдруг заплакала — тихо, беззвучно, — и что-то заговорила, быстро, захлёбываясь, на своём языке.

— Что она говорит? — спросил Потанин у Лао Вана.

Старик-китаец помолчал.

— Она говорит... говорит — Аллах тебя видит. Говорит — у тебя хорошее сердце. Говорит — ты не урус, ты человек.

Потанин встал, отряхнул колени. Толпа вокруг стояла молча, глядя на него. Кто-то из тех, кто только что бросал в него глину, отвёл глаза. Кто-то покачал головой. Кто-то — молодой парень в тюбетейке — вдруг шагнул вперёд, поднял с мостовой его фуражку, отряхнул её рукавом и подал ему.

Потанин взял фуражку. Кивнул парню. Надел.

А старуха, вытерев глаза, протянула ему яблоко — самое большое, самое красное, без единого пятнышка.

— Ал, — сказала она. — Ал, балам.

— Бери, — перевёл Лао Ван. — Бери, сынок.

Потанин взял яблоко. И пошёл дальше по улице, держа его в руке. Толпа расступалась перед ним — молча, без враждебности.

В тот же день Лао Ван привёл его в калмыцкий храм.

Он стоял на окраине города, за таранчинскими кварталами, — низкое квадратное здание с плоской крышей, окрашенное в красный и белый цвета, окружённое стеной, вдоль которой стояли вращающиеся барабаны с вырезанными на них молитвами. Внутри было темно, пахло благовониями и прогорклым маслом от светильников. На стенах висели картины — яркие, пёстрые, страшные: многорукие боги с гирляндами черепов, демоны с оскаленными пастьми, будды в позе лотоса с полужакрытыми глазами. В глубине, на возвышении, сидела огромная золотая статуя.

В храме был только один человек — старый лама в тёмно-красном одеянии, бритый, сухой, с лицом, похожим на печёную картофелину. Он сидел у светильника и перебирал чётки. Увидев Потанина, он не удивился — посмотрел спокойно, кивнул и показал на место рядом с собой.

Лао Ван переводил. Лама говорил медленно, тихо, и его русский — Потанин скоро понял — шёл через китайский, через монгольский и снова через китайский, и многое терялось по дороге. Но главное было понятно.

Лама был калмык — ойрат, как он себя называл. Из тех немногих, кто остался от великого Джунгарского ханства. Сто лет назад, сказал он, здесь, на этой земле, от Иртыша до Тянь-Шаня, от Алтая до Ферганы, было ханство ойратов — сильное, богатое, гордое. У ойратов были свои ханы, свои города, свои храмы, свои книги. Они воевали с китайцами, с казаками, с русскими — и побеждали.

А потом китайский император пришёл с войском. Ойраты стали воевать друг с другом — за ханский трон. Один из князей, Амурсана, позвал китайцев на помощь против своего соперника. Китайцы пришли — и не ушли. Они перебили всех. Мужчин, женщин, детей, стариков. Миллион человек — может, больше. Кто не был убит — умер от оспы. Кто не умер от оспы — бежал к русским, к казакам, в горы. Ханство исчезло. Земля опустела. И тогда китайцы привели сюда таранчей из Кашгара, солонов и сибо из Маньчжурии, китайских ссыльных — и заселили пустую землю.

— Вот почему, — перевёл Лао Ван, — тут столько разных людей. Тут кладбище. Большое кладбище. Мы ходим по костям.

Потанин молчал. Он думал о Таучубеке. О костях предков. О русском плуге.

— А Амурсана? — спросил он. — Тот князь, который позвал китайцев?

Лама улыбнулся — впервые за весь разговор.

— Амурсана понял, что сделал. Понял, что китайцы обманули. Он поднял ойратов против китайцев. Он воевал. Его разбили. Он бежал к русским, в Тобольск. Там умер — от оспы. Русские показали китайцам его тело, чтобы те поверили, что он умер.

Он помолчал.

— Но ойраты не поверили, — сказал он тихо. — Ойраты говорят: Амурсана не умер. Амурсана ушёл на север. Он живёт там, в северной стране, за снегами. Он ждёт. Когда придёт время — он вернётся. На белом коне. С войском. И освободит свой народ. И ханство будет снова.

— Вы в это верите? — спросил Потанин.

Лама посмотрел на него долго, внимательно, своими выцветшими старческими глазами.

— Ты пришёл с севера, — сказал он вместо ответа. — Ты урус, но ты слушаешь. Ты записываешь. — Он кивнул на записную книжку в руках Потанина. — Может быть, ты и есть посланник Амурсаны. Может быть, он тебя прислал. Чтобы ты записал, что мы были.

Потанин не знал, что сказать. Он сидел в полутёмном храме, среди многоруких богов и будд с полужакрытыми глазами, и чувствовал, как по спине бежит холодок.

— Запиши, — сказал лама. — Запиши, что ойраты были. Что у нас были ханы, книги, песни. Что нас убили, но мы помним. Запиши, урус. Пусть кто-нибудь знает.

И Потанин записал. Записал всё — про ханство, про императора, про Амурсану, про белого коня и северную страну. Он писал до темноты, при свете храмового светильника, а лама сидел рядом и смотрел, как движется карандаш, и тихо перебирал чётки.

Много лет спустя, в Монголии, в другом храме, другой старый лама расскажет ему ту же легенду об Амурсане. И Потанин узнает её, как узнают старого друга. И запишет снова — уже не в клеёнчатую книжку, а в толстый том, который будет напечатан в Петербурге. И вспомнит этого старика в Кульдже, полутёмный храм, запах прогорклого масла — и подумает, что лама, может быть, был прав. Может быть, его действительно кто-то прислал. Чтобы записать.

В последний вечер Захаров снова повёл его на свою прогулку. На запад, до тополя с раздвоенной верхушкой.

— Мне рассказали про яблоки, — сказал консул, когда они шли по пыльной дороге. — Весь город уже знает. Русский офицер встал на колени перед таранчинской старухой. Об этом будут говорить месяц. Цзянь-цзюнь, наверное, тоже узнает.

— Я сделал что-то не так?

— Нет. — Захаров покачал головой. — Вы сделали всё так. Вы сделали больше, чем я сделал за три года. Три года я здесь пишу ноты, подаю протесты, веду переговоры о торговле, о границе, о чае, о беглых, о скоте. Три года я объясняю цзянь-цзюню, что Россия желает Китаю мира и добрососедства. А вы за один день — показали. Не цзянь-цзюню — людям. — Он вздохнул. — Знаете, хорунжий, я всё больше думаю, что империи ничего не значат. Ни наша, ни их. Империи — это бумага, печати, ноты, войска, генералы. А настоящее — это вот. Старуха с яблоками. Киргиз и солон, которые побратались. Калмыцкий лама, который помнит. Таранчи, которые сообща роют арыки. Это — настоящее. А империи приходят и уходят. Где Джунгарское ханство? Где Римская империя? Где Чингисхан? А старухи с яблоками остаются.

Они дошли до тополя. Захаров остановился, глядя на запад, где за горами садилось солнце.

— Вы завтра уезжаете, — сказал он. — Обратно, к вашему Перемышльскому. А потом — дальше. Я знаю. Вас переводят.

— Куда? — удивился Потанин.

— В Семипалатинск. — Захаров достал из рукава халата сложенную бумагу. — Пришло с последней почтой. Приказ по полку. Вы назначаетесь казначеем в штаб полка, в Семипалатинск. Под начало полковника Мессароша. — Он помолчал. — Вы знаете Мессароша?

— Нет.

— Узнаете, — сказал Захаров, и в голосе его не было ничего хорошего. — Будьте осторожны, хорунжий. Это человек, который увидел бы в моих яблоках нарушение устава.

Он протянул Потанину бумагу. Потом, подумав, достал из другого рукава ещё что-то — маленький свёрток, завернутый в жёлтый шёлк.

— Это вам. На память.

Потанин развернул шёлк. Внутри лежала книга — небольшая, в мягком переплёте, с иероглифами на обложке.

— Что это?

— «Записки о Западном крае», — сказал Захаров. — Китайское описание этих мест. Земли, реки, горы, народы. Написано сто лет назад, сразу после того, как джунгар не стало. Вы его, конечно, не прочтёте. Пока. Но, может быть, когда-нибудь... — Он улыбнулся. — Вы ведь будете учить языки, хорунжий. Я это тоже вижу.

Потанин держал книгу в руках — первую в своей жизни китайскую книгу — и не знал, что сказать.

— Спасибо, Иван Ильич.

— Не за что. — Захаров повернулся и пошёл обратно, к консульству, заложив руки за спину. — Пойдёмте. Становится холодно. Китайцы говорят: вечерний ветер с гор приносит воспоминания. А воспоминания — это холод.

Они пошли назад. Солнце село. Над горами зажглась первая звезда.

Потанин обернулся — один раз — и посмотрел на запад. Туда, за горы, где была Россия. Где был Семипалатинск. Где был полковник Мессарош.

Потом посмотрел на восток. Туда, где в темноте лежал весь огромный, неведомый Китай, который он видел с перевала Алтын-Эмель.

И подумал, что Захаров ошибся. Он не будет ходить на запад. Он будет ходить на восток.

На обратном пути, на перевале, в каменной калмыцкой хижине без крыши, он оставил в углу мешок сухого помёта, который набрал по дороге. Бобров смотрел на него, как на сумасшедшего.

— Ваше благородие, это вы на что?

— Чтобы тот, кто придёт после нас, не замёрз, — сказал Потанин.

Мосолов, который всю дорогу молчал и только смотрел, вдруг подошёл, порылся в своей седельной суме, достал пригоршню сухих щепок — растопку, которую берёт для себя, — и молча положил рядом с мешком.

Потом посмотрел на Потанина и сказал — в первый раз за все двенадцать дней:

— Я в ущелье вас ждал, ваше благородие. Когда нас с Филатовым окружили. Ждал, что вернётесь. А вы не вернулись.

— Я знаю, — сказал Потанин. — Прости, Мосолов. Бобров сказал — там сорок человек. Всех бы положили.

— Правильно сказал. — Мосолов кивнул. — Я потом думал. Правильно. — Он помолчал. — А в Кульдже, когда вы на колени встали... Я видел. Я за вами шёл, с той стороны улицы. Сторожил. Пачпорт-то ваш, ваше благородие, при вас был? Без пачпорта, слышал я, в Китае никуда.

— Нет, — сказал Потанин. — Без пачпорта.

— Вот и я так думаю, — сказал Мосолов непонятно. И пошёл к лошадям.



Глава 6. Казённые розги

Полковник Мессарош кормил канарейку пинцетом.

Это было первое, что увидел хорунжий Потанин, когда его ввели в кабинет командира полка, — и потом, много лет спустя, вспоминая Мессароша, он всегда видел сначала именно это: худую белую руку в манжете с золотой запонкой, тонкий стальной пинцет и зажатое в нём крошечное зёрнышко конопли, которое медленно, осторожно, с бесконечным терпением просовывалось между прутьев медной клетки, к раскрытому жёлтому клюву.

— Минуту, хорунжий, — сказал полковник, не оборачиваясь. — Она не любит, когда торопят.

Канарейка взяла зёрнышко, вспорхнула на жёрдочку и защёлкала. Мессарош положил пинцет на бархатную подушечку рядом с клеткой, вытер пальцы батистовым платком и только тогда повернулся.

Это был человек лет пятидесяти, высокий, очень прямой, очень худой, с узким бледным лицом, длинным носом и тщательно подстриженными седыми усами. Он был венгр родом — Потанин слышал об этом ещё в Копале, — из мелких дворян, поступивших на русскую службу при Павле. По-русски говорил безупречно, но слишком правильно, слишком отчётливо, как говорят на языке, выученном по книгам. От него пахло одеколоном — сильно, сладко, удушливо. Мундир на нём сидел так, будто его не надели, а отлили по фигуре.

— Хорунжий Потанин, — сказал Мессарош, глядя на него светлыми, почти бесцветными глазами. — Сын Николая Ильича. Я знал вашего отца.

Потанин ничего не ответил. Все на линии знали его отца.

— Способный был офицер, — продолжал полковник. — Очень способный. И очень неаккуратный. Бумаги в беспорядке, отчёты с опозданием, ведомости с пометками. Я сразу сказал: этот плохо кончит. И вот. — Он слегка развёл руками. — Порядок, хорунжий, — это не прихоть. Это не мелочность. Порядок — это то, что отличает армию от орды. Империю — от кочевья. Человека — от животного. Вы понимаете?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Нет, не понимаете. — Мессарош чуть улыбнулся — одними губами. — Но поймёте. Мне доложили, что вы грамотны, аккуратны и любите книги. Хорошо. Будете полковым казначеем. Прежний казначей, сотник Курочкин, уволен — за беспорядок в книгах. Книги в канцелярии. Принимайте. Через месяц доложите мне о состоянии полковой кассы — копейка в копейку. Ступайте.

Он повернулся к клетке и снова взял пинцет.

Семипалатинск лежал на правом берегу Иртыша, на песках, и песок был здесь везде: на улицах, в домах, в постелях, в еде, в зубах, в глазах. Его приносил ветер — сухой, горячий, неутрачивающий ветер из степи, который дул весной с юга, летом с запада, осенью с севера, зимой со всех сторон сразу. Ветер нёс песок, и песок засыпал всё: огороды, заборы, колодцы, могилы на кладбище. Говорили, что старую крепость, построенную при Петре на семи палатах древнего калмыцкого монастыря, — отсюда и название города, — песок засыпал целиком, по самые бойницы, и её пришлось бросить и строить новую, выше по реке. Говорили, что и новую ждёт та же участь.

Город был пёстрый, шумный, торговый. Над плоскими крышами поднимались минареты татарских мечетей — их было больше, чем церквей. По базару ходили киргизы в лисьих малахаях, бухарцы в полосатых халатах, татарские купцы в бархатных тюбетейках, русские мещане в картузах, казачки в ярких платках. Тянулись караваны — из Кульджи, из Ташкента, из Бухары, — и верблюды, лёжа у караван-сараев, жевали жвачку с выражением бесконечного

презрения ко всему существу. В кабаках пили. В мечетях молились. В крепости, за валами и рвами, стояли батальоны, батарея, штаб казачьего полка, гауптвахта и плац.

Плац был большой, утоптаный, посыпанный песком — хотя песка здесь и так хватало. Посередине стояла скамья — длинная, широкая, из толстых дубовых досок, отполированных до блеска. Потанин не сразу понял, для чего она.

Полковая канцелярия помещалась в низком саманном доме у крепостной стены. Там было три комнаты, четыре стола, восемь шкафов и двенадцать писарей. Писари сидели, согнувшись над бумагами, и скрипели перьями с утра до ночи, и над ними стоял тот особый запах, который бывает во всех канцеляриях мира: пыли, чернил, сургуча, нагретого дерева и человеческой скуки.

Полковая касса хранилась в железном сундуке, стоявшем в углу дальней комнаты, и к сундуку прилагались книги — восемнадцать толстых книг в кожаных переплётках, приходных и расходных, кассовых и вещевых, фуражных и провиантских. Потанин открыл первую — и закрыл. Открыл вторую — и долго смотрел на неё, ничего не понимая.

Это был лес. Дремучий, непроходимый лес цифр, граф, итогов, подытогов, пометок на полях, исправлений, подчисток, ссылок на приказы, ссылок на ссылки. Деньги приходили из Омска, из Петербурга, из войсковой казны; деньги уходили на жалованье, на фураж, на провиант, на обмундирование, на лекарства, на ремонт казарм, на свечи для канцелярии, на сургуч для печатей, на розги для экзекуций — была и такая графа: «на розги, берёзовые, вязанками», — и всё это переплеталось, сплеталось, путалось, как корни шиповника под снегом.

— Не робейте, ваше благородие, — сказал кто-то за его спиной. — Я вам помогу.

Потанин обернулся. У соседнего стола сидел писарь — молодой, лет двадцати, худой до прозрачности, с впалыми щеками, на которых горел нездоровый румянец, с белесыми, как лён, волосами и большими серыми глазами. Он улыбался — робко, неуверенно, будто извиняясь за то, что посмел заговорить с офицером.

— Ты кто?

— Писарь Чалков, ваше благородие. Осип. Я при Курочкине три года книги вёл. Я их знаю. Я вам покажу, где что.

И он показал.

Чалков оказался находкой.

Он знал книги так, как старый лесник знает свой лес: каждую тропинку, каждый овраг, каждое гнилое дерево. Он мог за минуту найти любую запись, любую сумму, любой приказ. Он знал, где Курочкин ошибся по рассеянности, где — по лени, а где — нарочно. Он объяснял тихо, терпеливо, никогда не повышая голоса и никогда не показывая, что офицер чего-то не понимает.

А ещё Чалков читал.

Потанин узнал об этом случайно — на третий день, когда, придя в канцелярию раньше обычного, застал писаря одного, с книгой в руках. Чалков вспыхнул, захлопнул книгу, сунул её в ящик стола. Но Потанин успел увидеть обложку.

— Гоголь? — спросил он.

Чалков молчал, опустив глаза.

— «Мёртвые души»? — Потанин подошёл ближе. — Откуда у тебя?

— У сотника Курочкина брал, ваше благородие, — пробормотал писарь. — Он оставил, когда уезжал. Я... Я не украл. Он сам сказал — бери, Осип, мне не надо. Он не читал, ваше благородие. А я читаю. По вечерам. Можно?

— Можно, — сказал Потанин. — Конечно, можно.

Он смотрел на этого худого, чахоточного мальчика, сына отставного солдата — Чалков рассказал потом, — выросшего в казарме, выучившегося грамоте у полкового дьячка, никогда

не бывавшего дальше Семипалатинска, — и думал о себе. О девичьей в Пресновске. О ворованной свече. О «Робинзоне» в кожаном переплёте.

— Тебе что больше всего понравилось? — спросил он.

Чалков поднял глаза — и они вдруг стали живыми, блестящими.

— Шинель, ваше благородие. Это не в «Мёртвых душах», это в другой книжке. Про Акакия Акакиевича. Как он шинель шил, а её украли. И он пошёл к значительному лицу, а значительное лицо на него накричало. И он умер. — Чалков помолчал. — Я плакал, ваше благородие. Стыдно сказать — плакал. Потому что это про нас. Про писарей. Про всех, кто бумаги переписывает. Мы все — Акакии Акакиевичи.

Потанин дал ему почитать «Современник» — один из тех, что подарил Бардашев. Через неделю Чалков вернул его, и у него были красные глаза. Он прочёл там «Записки охотника» — те несколько рассказов, что печатались в журнале.

— Ваше благородие, — сказал он шёпотом, оглядываясь на других писарей. — А ведь это правда? Что мужиков продают? Как скотину?

— Правда.

Чалков долго молчал.

— У нас тоже продают, — сказал он наконец. — Киргизов. Я в книгах видел. В старых, при прежнем полковнике. «Куплен у киргиза Байбатыра мальчик киргизский, лет десяти, за три рубля серебром и два кирпичика чаю». Это ведь тоже — душа. Живая душа, ваше благородие. А в книге — как вязанка розог.

Через три недели Потанин нашёл недостачу.

Он искал её долго — сидел над книгами по вечерам, при свече, когда писари уходили, сверял приход с расходом, расход с приказами, приказы с ведомостями. Чалков сидел рядом и помогал. И однажды, в полночь, писарь вдруг замер над одной из страниц, побледнел и тихо сказал:

— Ваше благородие. Посмотрите.

Потанин посмотрел. Это была фуражная книга. Запись о покупке овса для полковых лошадей — тысяча пудов, у купца Мухаметжанова, по цене один рубль двадцать копеек за пуд. Итого: тысяча двести рублей серебром. Запись была сделана рукой Курочкина и скреплена подписью командира полка.

— Ну и что? — не понял Потанин.

— Овёс в прошлом году стоил по шестьдесят копеек, ваше благородие, — шёпотом сказал Чалков. — Я помню. Я сам ведомости переписывал. Шестьдесят копеек. А тут — рубль двадцать. Вдвое. А купец Мухаметжанов — он полковнику... — Писарь осёкся, оглянулся на дверь. — Он полковнику свояк. По жене.

Потанин смотрел на запись. Тысяча двести рублей. Шестьсот из них — лишние. Шестьсот рублей серебром — почти десять лет его хорунжего жалованья.

— Таких записей много? — спросил он.

Чалков кивнул.

— Много, ваше благородие. Я раньше не смел. При Курочкине. А теперь... Вы ведь честный, ваше благородие. Я вижу.

Они сидели над книгами до рассвета. К утру насчитали четыре тысячи триста рублей — за три года. Все записи — рукой Курочкина. Все подписи — рукой Мессароша.

Потанин вышел из канцелярии на рассвете. Над Иртышом поднимался туман. Ветер утих — впервые за три недели. Было тихо, свежо, и где-то на том берегу кричали гуси.

Он думал о Курочкине, уволенном за беспорядок в книгах. О Мессароше с его канарейкой и его порядком. О том, что порядок, оказывается, тоже бывает разный.

И ещё он думал о том, что теперь ему с этим делать.

Жена слесаря пришла в канцелярию на следующий день.

Это была крупная, рыхлая баба лет тридцати пяти, с красным заплаканным лицом, в рваном платке. Под левым глазом у неё был синяк — свежий, лиловый, во всю щёку. Она вошла, упала на колени прямо у порога и завывала:

— Ваше благородие! Батюшка! Заступитесь! Убьёт он меня! Убьёт!

Потанин в тот день был дежурным по полку — эта обязанность ложилась на всех младших офицеров по очереди. Он поднял бабу с колен, усадил на скамью, дал воды. Чалков принёс бумагу и чернила.

Бабу звали Аграфена Гусева. Муж её, Захар Гусев, был полковой слесарь — из отставных солдат, мастер на все руки: чинил ружья, замки, сбрую, котлы, ковал подковы. Мастер хороший — никто в полку не умел так, как он. Но пил. Пил запоями — неделю, две, — и в запой бил её, бил детей, пропивал всё, что было в доме, до последней тряпки. Вчера пропил её праздничный платок — единственное, что у неё оставалось от матери. Она пыталась отнять — он её ударил. Вот. Она показала синяк. А потом взял топор и сказал, что зарубит.

— Накажите его, ваше благородие, — всхлипывала Аграфена. — Пусть его постегают. Пусть узнает. Может, одумается. Я не со зла, ваше благородие. Он хороший, когда трезвый. Он детей любит. Он мне сундучок сделал, с секретом. Он... Пусть его постегают маленько. Чтoб испугался.

Потанин записал всё в журнал — как полагалось. Записал и доложил по команде: дежурный офицер обязан был докладывать о всех происшествиях командиру полка. Он не думал, что из этого выйдет что-то серьёзное. Ну, вызовут слесаря, пожурят, посадят на гауптвахту на сутки. Он не знал Мессароша.

Мессарош выслушал доклад, не поднимая глаз от бумаг. Потом сказал:

— Двадцать пять розог. Завтра, на разводе. При всём полку. Чтoбы видели.

— Ваше высокоблагородие... — начал Потанин. — Жена просила... Она хотела только — чтoб испугался...

Мессарош поднял глаза.

— Жена просила, — повторил он медленно. — Хорунжий, вы, кажется, полагаете, что в полку распоряжается жена слесаря? Пьянство нижнего чина — нарушение воинской дисциплины. Угроза оружием — нарушение воинской дисциплины. Порча казённого имущества — он пропил, как вы изволили доложить, шинель, а шинель казённая, — нарушение воинской дисциплины. Двадцать пять розог — это милосердие. По уставу полагается пятьдесят. Я учитываю его мастерство. Распорядитесь. Приказ напишет писарь. Я подпишу.

Он снова опустил глаза к бумагам.

Аграфена пришла снова — вечером, когда приказ был уже написан и подписан. Пришла не одна — с детьми. Трое ребятишек, мал мала меньше, держались за её юбку и смотрели на офицера круглыми испуганными глазами.

— Ваше благородие! — Она опять бросилась на колени. — Не надо! Не надо его! Я не хотела! Я передумала! Он протрезвел, он плачет, он прощения просит! Он сказал — больше не будет! Не надо его стегать при всех! Он помрёт от стыда! Он гордый! Ваше благородие, батюшка, отмените!

Потанин стоял над ней и не знал, что делать. Приказ лежал на столе — написанный аккуратным почерком Чалкова, скреплённый размашистой подписью Мессароша. Приказ был приказ. Отменить его мог только тот, кто его подписал.

— Я пойду к полковнику, — сказал он. — Я попрошу.

Он пошёл. Мессарош принял его в кабинете — в шёлковом халате, с трубкой, у клетки с канарейкой. Выслушал. Помолчал.

— Хорунжий, — сказал он наконец, и голос его был мягок, почти ласков. — Вы молоды. Вы добры. Это похвально. Но поймите: если я сегодня отменю приказ, потому что баба передумала, завтра каждая баба в полку будет приходить ко мне и требовать наказать мужа. А после-

завтра — требовать отменить. А через неделю нижние чины поймут, что приказ командира полка можно отменить бабьими слезами. И что тогда будет? — Он затаился трубкой. — Тогда будет орда, хорунжий. Беспорядок. Хаос. Приказ отдан — приказ будет исполнен. Это и есть порядок. Ступайте.

Потанин вышел. Аграфена ждала у крыльца. Он покачал головой. Она завывала — тихо, страшно, как воеет собака над мёртвым щенком.

А ночью Чалков порвал приказ.

Потанин узнал об этом утром, когда пришёл в канцелярию. Приказа на столе не было. Писари сидели, согнувшись над бумагами, и не поднимали глаз. Чалков сидел на своём месте — бледный, неподвижный, с трясущимися руками.

— Где приказ? — спросил Потанин.

Чалков молчал.

— Осип, где приказ?

— Нету, ваше благородие, — сказал писарь тихо, не поднимая головы. — Порвал я его. И в печку.

— Зачем?!

Чалков поднял глаза — и Потанин увидел, что они мокрые.

— Она ночью ко мне пришла, ваше благородие. Аграфена. С детьми. Я в слободке живу, рядом с ними, через забор. Она пришла и плакала. И дети плакали. И Захар пришёл — трезвый, белый, как стена. И сказал: Осип, я не боюсь розог. Я под Варшавой пули не боялся. Я стыда боюсь. При всём полку, при детях, при соседях. Я, говорит, лучше в петлю. — Чалков сглотнул. — А я подумал: ведь приказа нет — и наказания нет. Без бумаги — никак. Без бумаги — это не наказание, это самоуправство. Полковник сам говорил — порядок. Вот я и... Я думал — полковник забудет. Или новый писать не станет. Я дурак, ваше благородие. Я Гоголя начитался.

Потанин смотрел на него и не мог вымолвить ни слова.

А потом дверь открылась, и вошёл Мессарош.

Он узнал всё сам — Потанин так и не выяснил, от кого. Может быть, донёс кто-то из писарей. Может быть, полковник сам зашёл в канцелярию за приказом, чтобы взять его на развод. Неважно.

Мессарош не кричал. Он никогда не кричал. Он стоял посреди канцелярии — высокий, прямой, бледный, пахнувший одеколоном — и смотрел на Чалкова своими бесцветными глазами. Писари сидели, не дыша. Потанин стоял у стола, чувствуя, как у него холодеют руки.

— Писарь Чалков, — сказал Мессарош негромко. — Встать.

Чалков встал.

— Вы уничтожили приказ командира полка.

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Почему?

Чалков молчал.

— Я спрашиваю — почему?

— Жалко стало, ваше высокоблагородие, — сказал писарь едва слышно. — Захара жалко. И детей.

Мессарош долго смотрел на него. Потом повернулся к Потанину.

— Хорунжий. Вы — дежурный по полку?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Тогда пишите. — Мессарош кивнул на стол. — Новый приказ. Слесарю Гусеву — двадцать пять розог, как прежде. Писарю Чалкову — за умышленное уничтожение служебного документа и неповиновение приказу командира полка — сто розог. Исполнить сегодня, на разводе. Дежурному офицеру — присутствовать и вести счёт ударам. Пишите.

Потанин не двигался.

— Ваше высокоблагородие... — сказал он. Голос у него был чужой, хриплый. — Сто розог... Он чахоточный... Он не выдержит...

— Выдержит, — сказал Мессарош. — Полковой лекарь будет присутствовать. Если лекарь скажет, что больше нельзя, — остановим. Остальное — потом, когда поправится. Пишите, хорунжий.

— Я не могу.

Слова вырвались сами. В канцелярии стало так тихо, что Потанин слышал, как скребётся за печкой мышь.

Мессарош медленно повернулся к нему всем телом.

— Не можете, — повторил он. — Хорунжий, вы отказываетесь исполнить приказ командира полка? Вы понимаете, что это значит? Это значит — военный суд. Это значит — разжалование. Это значит — то же самое, что с вашим отцом. Только хуже, потому что ваш отец был просто неаккуратен, а вы — бунтовщик. Вы этого хотите?

Потанин молчал.

— Я дам вам минуту, — сказал Мессарош и достал из кармашка часы на золотой цепочке. — Одну минуту. Потом я позову караул.

Он открыл крышку часов. Тикало.

Потанин стоял у стола. Перед ним лежал чистый лист бумаги. Рядом — чернильница, перо. Чалков стоял у своего стола, опустив голову. Писари сидели, не дыша.

Он думал. Он думал так быстро, как не думал никогда в жизни.

Он думал: если я откажусь — меня разжалуют. Отправят рядовым в линейный батальон. Как отца. Всё кончится — книги, горы, Китай, путешествия. Чокан будет в Кашгаре, а я буду маршировать на плацу.

Он думал: если я откажусь — Чалкова всё равно выпорют. Напишет другой офицер. Считать будет другой офицер. Я ничего не изменю. Только себя погублю.

Он думал: в Алматы я остановил толпу. Пятьдесят человек. Один. А тут — один человек. Один полковник. С часами.

Он думал: но толпа — это беззаконие. А это — закон. Устав. Порядок. Против толпы можно встать. Против закона — как встанешь?

Он думал: трус. Ты трус.

Он думал: Чалков, прости.

— Время, — сказал Мессарош и закрыл часы.

Потанин взял перо.

Он писал медленно, буква за буквой, и рука у него дрожала так, что строчки шли вкривь. «Приказ по Седьмому казачьему полку. Слесарю Гусеву Захару... двадцать пять... Писарю Чалкову Осипу... сто...» Он писал и видел перед собой не бумагу, а лицо Авдотьи на кухонном полу. Девочку Айганым с коромыслом. Ваньку Сизова с открытыми глазами. Четыре шеста.

Он дописал. Мессарош взял лист, пробежал глазами, кивнул, подписал — размашисто, с завитушкой.

— Вот и хорошо, — сказал он. — Вот и порядок. Развод в десять. Не опаздывайте, хорунжий.

И вышел.

Потанин стоял у стола. Чалков стоял у своего. Они смотрели друг на друга.

— Не казнитесь, ваше благородие, — сказал Чалков тихо. — Вы ничего не могли. Никто не может. Я знал, когда рвал.

Развод был в десять.

Полк выстроили на плацу — каре, четыре стороны, лицом внутрь. Казаки, пехота, артиллеристы. Офицеры — впереди своих частей. Барабанщики — у скамьи. Полковой лекарь — старичок-немец с саквояжем — рядом. Мессарош — на коне, в парадном мундире, в стороне.

Ветер — опять поднялся ветер — нёс по плацу песок, и песок шуршал по сапогам, по барабанам, по дубовой скамье.

Потанин стоял у скамьи. Он был дежурный офицер. Он должен был вести счёт.

Привели Гусева. Огромный, широкоплечий, с всклокоченной бородой, с серым, как пепел, лицом. Он шёл сам, не упираясь, глядя прямо перед собой. Ему велели снять рубаху. Он снял — медленно, аккуратно сложил, положил на песок. Лёг на скамью. Двое солдат прижали его плечи и ноги.

Где-то за спинами солдат, у ограды, завывала баба. Аграфена. Потанин не обернулся.

— Начинай, — сказал Мессарош.

Ударил барабан.

Потанин считал. Он считал вслух, громко, отчётливо, как полагалось. «Раз. Два. Три». Розги — длинные, гибкие, берёзовые, из той самой вязанки, что была записана в книгах по графе «на розги, берёзовые», — свистели в воздухе и ложились на голую спину. Гусев молчал. На спине вспухали красные полосы, потом лиловые, потом выступала кровь. «Десять. Одиннадцать. Двенадцать». Гусев молчал. Только кулаки, вцепившиеся в края скамьи, белели всё больше. «Двадцать. Двадцать один». Баба у ограды выла не переставая. «Двадцать пять».

Гусева подняли со скамьи. Он встал сам, шатаясь, — и вдруг, неожиданно для всех, повернулся к строю и поклонился. Низко, в пояс, как кланяются в церкви. Потом поднял рубаху с песка, накинул на окровавленные плечи и пошёл к ограде, где выла Аграфена. Шёл ровно, медленно, не оглядываясь.

Потом привели Чалкова.

Он шёл, путаясь в ногах, и двое солдат поддерживали его под руки. Он был белый, как бумага, на которой писал всю жизнь. Губы у него дрожали. Когда с него сняли рубаху, Потанин увидел его тело — тощее, с выпирающими рёбрами, с ключицами, похожими на птичьи косточки, с впалой грудью, — и у него потемнело в глазах.

Чалкова положили на скамью. Он посмотрел на Потанина — один раз, снизу вверх, — и вдруг попытался улыбнуться.

— Считайте громче, ваше благородие, — сказал он. — Чтоб я не сбился.

Ударил барабан.

«Раз».

Чалков вскрикнул — тонко, по-детски.

«Два».

«Три».

Потанин считал. Он считал и смотрел — не на спину Чалкова, а поверх неё, на строй, на лица солдат. Лица были каменные. Никто не шевелился. Никто не отводил глаз — отводить глаза на экзекуции запрещалось. Только ветер нёс песок, и песок шуршал, и барабан бил, и розги свистели.

«Двадцать. Двадцать один».

Чалков кричал. Потом перестал кричать. Потом стонал. Потом перестал стонать.

«Тридцать восемь. Тридцать девять».

Спина его превратилась в одно сплошное кровавое месиво. Розги, которые меняли каждые десять ударов, были красными от крови. Песок под скамьёй был красным.

«Сорок семь».

Лекарь подошёл, наклонился, пощупал пульс. Покачал головой.

— Достаточно, — сказал он по-немецки. Потом по-русски: — Достаточно, господин полковник. Больше нельзя. Помрёт.

Мессарош посмотрел с коня. Помолчал.

— Сколько? — спросил он.

— Сорок семь, ваше высокоблагородие, — сказал Потанин. Голос у него не слушался.

— Остальные пятьдесят три — когда поправится, — сказал Мессарош. — Записать. Развод окончен.

Он развернул коня и поехал к штабу.

Чалкова сняли со скамьи. Он был без сознания. Солдаты положили его на носилки и понесли. Строй распустили. Люди расходились молча, не глядя друг на друга.

Потанин стоял у скамьи. На ней остались кровь и песок.

Он стоял долго — пока не ушли все. Потом повернулся и пошёл — не в канцелярию, не к себе на квартиру, а куда-то, сам не зная куда, — через крепостные ворота, вниз, к Иртышу.

На берегу его вырвало.

Он стоял на коленях у самой воды, и его выворачивало наизнанку — снова и снова, пока не осталось ничего, кроме желчи, а потом и желчи не осталось. Он умылся ледяной иртышской водой, сел на песок и сидел, обхватив колени, глядя на реку.

Иртыш был широкий, мутный, быстрый. По нему плыли коряги, щепки, пена. На том берегу, плоском, песчаном, стояли киргизские юрты, и над ними поднимался дым. Где-то там, дальше, вниз по реке, была Ямышевская станица, где он родился. Был Пресновск. Был Омск.

Он не помнил, сколько так сидел. Солнце садилось. Ветер утих. С реки тянуло холодом.

— Вас тоже вывернуло, — сказал кто-то рядом. — Это хорошо. Значит, вы ещё живой.

Потанин поднял голову.

Рядом, на песке, сидел солдат. Рядовой линейного батальона — в серой шинели, в бескозырке, худой, сутулый, с нездоровым, землистым лицом, с редкой рыжеватой бородкой, с высоким лбом и глубоко запавшими глазами. Ему было лет тридцать. Он сидел, обхватив колени, точно так же, как Потанин, и смотрел на реку. Руки у него были — Потанин заметил это сразу — не солдатские. Тонкие, длинные, нервные, с вьёвшимися в кожу следами какой-то тяжёлой работы.

— Вы кто? — спросил Потанин.

— Рядовой Седьмого линейного батальона, — ответил солдат, не поворачивая головы. — Бывший каторжник. Месяц как из Омского острога. Четыре года. — Он помолчал. — Я тоже был на разводе. Наш батальон стоял напротив. Я видел, как вы считали.

Потанин молчал.

— Вы хорошо считали, — сказал солдат. — Чётко. Громко. Не сбивались. Это страшнее всего, знаете? Не палач. Палач — что палач, ему за это платят, он ремесленник. Страшнее всего — тот, кто считает. Тот, кто стоит рядом, с чистыми руками, и говорит: раз, два, три. И ничего не делает. И всё в порядке.

Потанин закрыл лицо руками.

— Я не хотел, — сказал он глухо. — Я отказался. А он сказал — разжалует. Сказал — как отца. Сказал — минута. Я... Я испугался.

— Знаю, — сказал солдат. — Я видел ваше лицо. Я в остроге четыре года видел такие лица. Там ведь тоже экзекуции. Каждую неделю. Сквозь строй. Тысяча палок, две тысячи, три тысячи. Я видел, как человек умирает на тысяча двести сороковым ударе. И офицер, который считал, — молоденький, вроде вас, — тоже потом у стены стоял, и его рвало. — Солдат помолчал. — Я тогда думал о нём больше, чем о том, кого били. Тот, кого били, — тот умер. Ему уже ничего. А этот — будет жить. С этим.

Он повернулся к Потанину, и глаза у него были странные — горящие, лихорадочные, глубокие.

— Знаете, что я понял там, в остроге? В каждом человеке сидит палач. В каждом. Во мне, в вас, в этом вашем полковнике с канарейкой. Дайте человеку власть над другим человеком — и палач проснётся. Не сразу. Не у всех. Но проснётся. Потому что это сладко — власть. Сладко бить и знать, что тебе за это ничего не будет. Сладко считать. — Он помолчал. — Но в каждом

человеке сидит и Христос. Тоже в каждом. И в палаче. И в полковнике. И в вас. Вопрос только — кого вы кормите.

— Кого я кормлю, — повторил Потанин.

— Вас вырвало, — сказал солдат. — Значит, Христос в вас ещё жив. Он вас и вывернул. Это он протестовал. — Он вдруг улыбнулся — криво, печально. — Мессароша не вырвало. Мессарош пошёл канарейку кормить. Пинцетом. Я слышал, у него канарейка.

Они долго сидели молча. Солнце село. Над рекой поднялся туман.

— А что мне делать? — спросил наконец Потанин.

Солдат пожал плечами.

— Не знаю. Я не знаю, что делать. Я четыре года думал — и не знаю. — Он встал, отрянул шинель. — Может, просто — помнить. Не забывать. Никогда. Пусть это в вас сидит, как заноза. Пусть болит. Пока болит — вы живой. А когда перестанет болеть — тогда вы станете Мессарошем.

Он повернулся, чтобы уйти. Потанин окликнул его:

— Пойдите! Как вас зовут?

Солдат обернулся. В сумерках его лицо было едва различимо — только глаза светились.

— Достоевский, — сказал он. — Фёдор. Вы, может, читали — «Бедные люди». Давно. Ещё до каторги. — Он помолчал. — Впрочем, неважно. Там тоже про писаря. Про такого же Чалкова. Только у меня он не рвал приказов. Не догадался.

И ушёл в туман, вверх по откосу, к крепости.

Потанин смотрел ему вслед. Имя показалось ему смутно знакомым — где-то он его слышал, может быть, в корпусе, может быть, в «Современнике», в чьих-то спорах. Но он не мог вспомнить где. Он был слишком измучен, чтобы вспоминать.

Он вспомнит потом. Через много лет. И будет удивляться — как мог не узнать.

Чалков лежал в слободке, в доме Гусевых.

Потанин нашёл его там на следующий вечер — после долгих поисков, после расспросов. В полковой лазарет писаря не взяли: лекарь сказал, что мест нет. Тогда Гусев — тот самый Гусев, слесарь, со своей окровавленной, только что перевязанной спиной — пришёл к лазарету, взвалил Чалкова на плечи и унёс к себе.

Дом был маленький, саманный, в одну комнату, с земляным полом и крошечным окошком. В комнате было тесно и душно. Чалков лежал на лавке у печки, на животе, укрытый чистой холстиной. Спина его была обложена какими-то листьями и тряпками. Рядом сидела Аграфена, с синяком под глазом, и меняла на его спине примочки. Дети сидели на печке и смотрели.

А в доме было полно народу.

Потанин не сразу понял, кто все эти люди. Соседки-казачки, которые принесли молока, яиц, хлеба. Старый отставной солдат с деревянной ногой, который принёс бутылку водки — «для примочек». Татарка в цветастом платке, которая принесла кумыс в кожаном бурдюке и какую-то мазь в глиняной плошке. Киргиз-джатак, работавший у соседей, который принёс сушёных трав — от горячки. Ещё одна баба, которая ничего не принесла, но сидела у порога и вязала, чтобы быть рядом, если понадобится.

Гусев сидел у стола, сгорбившись, — его спина тоже была перевязана, и он морщился при каждом движении. Увидев офицера, он хотел встать, но Потанин махнул рукой.

— Сиди, Захар.

Гусев сел.

— Вот, ваше благородие, — сказал он, кивая на лавку. — Вот какой у нас Осип. Из-за меня. Из-за дурака. Из-за пьяницы. — Он помолчал. — Я, ваше благородие, больше не пью. Ни капли. Перед иконой поклялся. Перед ним поклялся, — он кивнул на Чалкова. — Пока он живой — ни капли. А если помрёт — тоже ни капли. До конца дней.

Потанин подошёл к лавке. Чалков был в сознании. Он лежал, повернув голову набок, и смотрел на офицера. Глаза у него были ясные.

— Ваше благородие, — прошептал он. — Пришли.

— Пришёл, Осип.

— Видите, сколько народу? — Чалков слабо улыбнулся. — Это всё слободка. Они сами пришли. Никто не звал. Татарка — она через три двора живёт, я ей письма пишу к сыну, в Казань. Даром пишу. А этот, — он показал глазами на киргиза, — он мне травы носит, когда я кашляю. И бабы... Они всегда так. Когда кого быют — все приходят. Когда кто помирает — все приходят. Когда пожар — все тушат. Когда родины — все несут. Так всегда было. — Он помолчал, переводя дыхание. — Полковник этого не знает. Он думает, всё держится на приказах. А всё держится на этом.

Потанин полез в карман, достал деньги — всё, что у него было, жалованье за два месяца, — и протянул Аграфене.

— Возьми. На лекарства. На еду.

Аграфена посмотрела на деньги, потом на Чалкова. Чалков покачал головой — чуть-чуть, едва заметно.

— Не надо, ваше благородие, — сказал он. — Не надо денег. У нас всё есть. Видите — всё несут. — Он закрыл глаза. — Вы лучше... Вы лучше запомните. Это. Как вы тогда считали. И как здесь — все пришли. Запомните и то, и другое. А потом, когда-нибудь... Когда вы будете большой человек... Вы напишите. Про Акакия Акакиевича. Про нас. Как Гоголь. Только чтоб мы не умирали в конце. Чтоб мы... — Он не договорил. Уснул.

Потанин стоял над ним, сжимая в руке деньги. Потом положил их на стол — незаметно, под краюху хлеба, — и вышел.

На крыльце его догнал Гусев.

— Ваше благородие, — сказал слесарь хрипло. — Остальные-то... Пятьдесят три... Когда поправится... Он ведь не выдержит. Он ведь помрёт.

— Не помрёт, — сказал Потанин. — Не будет остальных. Я тебе обещаю, Захар.

Он не знал ещё, как выполнит это обещание. Но знал, что выполнит.

Он пошёл к Мессарошу на следующее утро.

С собой он взял фуражную книгу. И ещё три книги — провиантскую, вещевую, кассовую. И лист бумаги, на котором его рукой, аккуратно, по пунктам, были выписаны все записи о закупках у купца Мухаметжанова за три года — с датами, суммами, ценами, рыночными ценами из ведомостей и разницей. Итого: четыре тысячи триста рублей серебром.

Мессарош принял его в кабинете. Он кормил канарейку.

— Хорунжий, — сказал он, не оборачиваясь. — Вы рано. Доклад о состоянии кассы — через неделю.

— Я с докладом, ваше высокоблагородие, — сказал Потанин. — С предварительным.

Он положил на стол лист.

Мессарош не торопился. Он докормил канарейку, положил пинцет на бархатную подушечку, вытер пальцы платком. Потом сел за стол, надел пенсне и взял лист.

Он читал долго. Лицо у него не менялось. Ни один мускул не дрогнул. Только раз, на середине, пальцы, державшие бумагу, чуть сжались.

Потом он снял пенсне и положил лист на стол.

— Интересно, — сказал он. — Очень интересно. Вы хорошо поработали, хорунжий. Аккуратно. Я вас недооценил.

Потанин молчал.

— И что же вы намерены с этим делать? — спросил Мессарош мягко.

— Ничего, ваше высокоблагородие.

Мессарош поднял брови.

— Ничего?

— Ничего, — повторил Потанин. — Если писарю Чалкову будет отменено остальное наказание. Пятьдесят три удара. И если меня переведут из полкового штаба. Куда угодно. В любую сотню. На линию. На Алтай. Куда угодно — только не сюда.

Мессарош долго молчал. Он смотрел на Потанина — внимательно, изучающе, как смотрят на редкое насекомое, которое неожиданно укусило. Потом вдруг улыбнулся.

— Шантаж, — сказал он. — Это шантаж, хорунжий. Вы понимаете?

— Понимаю, ваше высокоблагородие.

— И вы понимаете, что я мог бы сейчас позвать караул и арестовать вас за клевету на командира полка? Что эти книги вёл Курочкин, а не я? Что подписи — это формальность? Что купец Мухаметжанов — честный человек, а цены на овёс в прошлом году действительно поднялись из-за засухи в Бийском округе?

— Понимаю, ваше высокоблагородие. Но копию я уже отправил. В Омск. Своему товарищу по корпусу. Он адъютант генерал-губернатора. Если со мной что-нибудь случится — он передаст.

Это была ложь. Никакой копии он не отправлял. Но Чокан действительно был адъютантом Гасфорда, и Мессарош это знал.

Полковник смотрел на него ещё долго. Потом медленно, аккуратно сложил лист вчетверо и спрятал в ящик стола.

— Хорошо, — сказал он. — Хорошо, хорунжий. Писарю Чалкову остальное наказание отменяется — по причине слабого здоровья. Вы переводитесь — в Антоньевку, в сотню полковника Романовского. Это на Алтае. Глушь. Медвежий угол. Вам там понравится — там много книг читать некому.

Он встал, подошёл к клетке. Канарейка защёлкала.

— Но запомните, хорунжий, — сказал он, не оборачиваясь, — вы сегодня поступили не по порядку. Вы поступили, как ваш отец. Неаккуратно. А неаккуратные люди плохо кончают. — Он взял пинцет. — Вы ещё вернётесь к порядку. Все возвращаются. Или ломаются. Третьего не бывает.

Потанин вышел.

Он уезжал через три дня. Чалков уже вставал — с трудом, морщась, держась за стену, — но вставал. Он вышел проводить офицера к воротам крепости, в шинели, накинутой на плечи. Рядом стояли Гусев, Аграфена, дети.

— Спасибо, ваше благородие, — сказал Чалков. — За пятьдесят три.

— Не за что, Осип. — Потанин помолчал. — Прости меня. За сорок семь.

Чалков долго смотрел на него. Потом сказал:

— Я вас прощаю, ваше благородие. Я вас простил ещё тогда, на скамье. Когда вы считали. — Он улыбнулся. — Вы ведь громко считали. Как я просил. Я по вашему голосу держался. Я слушал — раз, два, три — и думал: вот голос. Человеческий голос. Пока я его слышу — я живой.

Он протянул руку. Потанин пожал её — тонкую, холодную, с вьёвшимися чернильными пятнами.

— Мы ещё увидимся, ваше благородие, — сказал Чалков. — Я знаю. Сибирь маленькая.

Потанин сел на коня и поехал. У поворота дороги он обернулся. Они стояли у ворот — писарь, слесарь, баба с синяком, трое ребятишек — и смотрели ему вслед. Ветер нёс песок. Над крепостью, на флагштоке, полоскался трёхцветный флаг.

Он поехал на восток — к Алтаю.

А заноза осталась. Она сидела в нём всю жизнь — и болела. Он никогда не вынул её. И никогда не хотел.



Глава 7. Ручной соболь

У полковника Романовского за пазухой жил соболь.

Потанин увидел его в первую же минуту — и сначала не поверил. Он вошёл в дом командира, стоявший на краю станицы Антоньевской, над рекой, вытянулся, начал рапортовать о прибытии — и вдруг замолчал на полуслове. Из-за отворота полковничьего халата, из меховой опушки, высунулась маленькая треугольная головка — тёмно-бурая, почти чёрная, с круглыми ушками, с блестящими бусинками глаз и с нежным светлым пятнышком на горле. Головка повертелась, понюхала воздух, посмотрела на хорунжего с явным неудовольствием — и спряталась обратно.

— Не обращайтесь внимания, — сказал Романовский добродушно. — Это Прошка. Он гостей не любит. Привыкнет.

Полковник Пётр Андреевич Романовский был человек лет шестидесяти, маленький, кругленький, с розовыми щеками, с венчиком седых волос вокруг блестящей лысины и с маленькими добрыми глазками, утонувшими в морщинах. Он был одет не по форме — в стёганый халат, подбитый лисьим мехом, и в вязаные шерстяные носки, — и вид у него был такой домашний, такой уютный, будто он был не командиром казачьего полка, а сельским батюшкой на покое.

— Садитесь, садитесь, хорунжий, — говорил он, указывая на лавку. — Вы с дороги. Устали. Сейчас Василиса Петровна чаю даст. Василиса Петровна! — крикнул он в сторону кухни. — Гость у нас! Новый офицер! Из Семипалатинска!

— Слышу, не глухая, — донёсся из кухни зычный женский голос. — Из Семипалатинска — так от Мессароша, значит. От Мессароша добрые люди не приезжают. Его выгнали, что ли?

— Василиса Петровна!

— А что — Василиса Петровна? Я правду говорю. У Мессароша либо дурак служит, либо подлец, либо тот, кого он выжил. Это который же из троих?

В дверях кухни появилась женщина — высокая, дородная, в тёмном платье и белом переднике, с засученными по локоть рукавами, с решительным красным лицом и с половником в руке. Она оглядела Потанина с головы до ног — внимательно, как оглядывают лошадь на ярмарке, — и вдруг улыбнулась.

— Третий, — сказала она уверенно. — Выжил. По глазам вижу. Ну, садись, батюшка, садись. Чаю сейчас дам. И щей. Тощий ты больно. Мессарош, поди, не кормил — всё канарейку свою кормит.

Потанин сидел на лавке и не мог удержаться от улыбки. Он вспоминал «Капитанскую дочку» — Белогорскую крепость, капитана Миронова в колпаке и китайчатом халате, капитаншу Василису Егоровну, которая командовала гарнизоном вместо мужа. Ему казалось, что он попал в книгу. Только вместо Белогорской крепости была станица Антоньевская на Алтае, вместо капитана — полковник, а вместо киргиз-кайсаков, которые угрожали Белогорской крепости, — тишина, глушь, тайга и горы.

Соболь Прошка снова высунул головку из-за полковничьего халата и посмотрел на Потанина. Теперь — с любопытством.

Антоньевка была глушью — Мессарош не соврал. Станица стояла в долине, окружённой горами, поросшими лиственничной и кедровой тайгой; к ней вела одна дорога — через перевал, от Бийска, — и по этой дороге раз в две недели приходила почта, а раз в месяц — обоз с провиантом. Зимой дорогу заметало, и станица оставалась отрезанной от мира на месяцы.

Здесь не было ни канцелярии с двенадцатью писарями, ни плаца с дубовой скамьёй, ни развода с барабанами. Полк Романовского был разбросан по всему Алтаю — сотнями, полусотнями, караулами, — и сам полковник командовал им, кажется, главным образом по пере-

писке, да и та шла медленно. Офицеров при штабе было трое: сам Романовский, старый есаул Кочнев, который ничего не делал и только охотился, и теперь — Потанин.

— Вам у нас понравится, хорунжий, — сказал Романовский на второй день, когда они сидели за обедом. — У нас тихо. Начальство далеко, Бог высоко. Делать особенно нечего. Охотьтесь, гуляйте, читайте, если книги есть. У меня вот есть — штук тридцать. Можете брать.

Книги у полковника оказались странные — разрозненные тома Карамзина, «Илиада» в переводе Гнедича, сонник, «Ключ к тайнствам натуры» Эккартсгаузена, поваренная книга Молоховец, два тома «Отечественных записок» за 1840 год, «Юрий Милославский» и какой-то немецкий травник с раскрашенными картинками. Но Потанин был рад и этому. Он брал по книге и читал по вечерам, при сальной свече, в маленькой горнице, которую ему отвели в доме полковника.

А днём он смотрел, как Романовский управляет полком.

Это было удивительное зрелище. Полковник не кричал, не распекал, не наказывал. Он ходил по станице в своём халате и вязаных носках — Прошка за пазухой, — заходил в казачьи избы, пил чай, расспрашивал о хозяйстве, о детях, о скотине, о покосе. Казаки его любили. Не боялись — любили, как любят доброго старого деда. И слушались — не из страха, а из уважения.

— Порядок, хорунжий, — сказал однажды Романовский, когда Потанин спросил его об этом, — это когда людям хорошо. Тогда и порядок будет. А когда людям плохо — никакой порядок не поможет. Хоть сто розог давай, хоть тысячу.

Потанин вспомнил Мессароша с его канарейкой — «порядок — это то, что отличает человека от животного», — и подумал, что оба они говорят о порядке. И что порядки у них совсем разные.

Был у Романовского и полковой оркестр — двенадцать музыкантов, трубы, валторны, кларнеты, большой барабан. Оркестр играл на праздниках, на похоронах, на смотрах, которых почти не бывало, — а в остальное время музыканты занимались своим хозяйством и разучивали новые марши. Играли они плохо — фальшиво, вразнобой, — но громко и с большим чувством.

И вот однажды, в жаркий летний день, Потанин увидел, как Василиса Петровна сама, своими руками, варит в огромном медном котле ботвинью — холодный суп из кваса, свекольной ботвы, огурцов, лука, с кусками варёной рыбы, со льдом из погреба. Котёл был такой большой, что в нём можно было выкупать ребёнка.

— Это для кого же столько? — спросил Потанин.

— Для музыкантов, — ответила капитанша, помешивая ботвинью огромной деревянной ложкой. — Им играть сегодня на именинах у есаула. Жара, они в мундирах, в трубы дуют — им пить хочется. Квасу им надо, холодненького. А то ещё в обморок попадают, как в прошлом году.

— И вы — сами?

— А кто ж? — Василиса Петровна выпрямилась, утирая пот со лба. — Кухарка у меня одна, ей не управиться. А музыканты — они как дети. Им скажи — играйте, они играют, хоть помирай. Сами о себе не позаботятся. Значит, надо, чтобы кто-то позаботился.

Потом, вечером, Потанин видел, как музыканты сидели во дворе полковничьего дома, за длинным столом, и хлебали ботвинью из глиняных мисок — красные, потные, довольные. Василиса Петровна ходила между ними с половником и подливала. Романовский сидел во главе стола, с Прошкой за пазухой, и улыбался.

А потом музыканты встали, взяли инструменты и сыграли — специально для капитанши — вальс. Фальшиво, вразнобой, но с таким чувством, что у Василисы Петровны выступили слёзы на глазах, и она, сердито махнув половником, ушла на кухню.

Потанин записал в книжку: «Ботвинья для музыкантов. Капитанша варит сама. Порядок Романовского: когда людям хорошо».

Весть о смерти государя пришла в Антоньевку в конце марта.

Её привёз нарочный из Бийска — на взмыленной лошади, по распутице, по пояс в грязи. Он вбежал в дом полковника, не сняв шапки, и протянул пакет с чёрной печатью. Романовский распечатал, прочёл — и выронил бумагу на пол.

— Государь император... — сказал он тихо. — Николай Павлович... Скончался. Восемнадцатого февраля. В Зимнем дворце.

Прошка, почуяв неладное, высунул головку из-за халата и тревожно зацокал.

Потанин стоял посреди горницы. Он смотрел на полковника, на упавшую бумагу с чёрной каймой, на нарочного, который наконец снял шапку и перекрестился. И вдруг почувствовал, что по щекам у него текут слёзы.

Он плакал. Он не мог понять, почему, — и всё-таки плакал. Плакал о государе, которого никогда не видел. О государе, чей портрет висел в кадетском корпусе, в классе, над кафедрой, — огромный, в золотой раме: высокий, прямой, с холодными голубыми глазами, с орденами на груди. Каждое утро кадеты пели перед этим портретом «Боже, царя храни», и маленький Гриша пел громче всех, потому что верил: государь — это отец. Отец всех. Строгий, но справедливый. Он всё видит. Он всё знает. Он заботится обо всех.

И вот — отец умер.

Романовский тоже плакал — тихо, по-стариковски, вытирая глаза рукавом халата. Василиса Петровна вышла из кухни, увидела их обоих, всплеснула руками — и тоже заплакала.

Вечером в станичной церкви отслужили панихиду. Собралась вся станица — казаки, казачки, старики, дети. Батюшка, старенький, глуховатый, путал слова, но голос у него дрожал. Пели «Вечную память». Многие плакали.

Потанин стоял в церкви, с горящей свечой в руке, и смотрел на мерцающие лики святых в иконостасе. Слёзы уже высохли. И теперь, когда они высохли, в голову полезли мысли — неудобные, колющие.

Он думал: почему я плакал? Этот государь — это ведь он сослал Достоевского на каторгу. Это его солдаты стреляли бы в Григорьева, если бы не помилование в последнюю минуту. Это его генерал-губернатор сочиняет новую религию для киргизов. Это его закон дал Мессарошу право выпороть Чалкова. Это его империя пришла за Или брать землю у Таучубека. Это под его портретом я пел «Боже, царя храни».

А я плакал.

Он не мог понять себя. Он был как человек, у которого под ногами вдруг треснул лёд — ещё не провалился, но треснул, и он слышит этот треск, и не знает, куда ступить.

После панихиды, выходя из церкви, он столкнулся у паперти со стариком-казак — сухим, жилистым, с длинной седой бородой, в старом кафтане. Старик не был в церкви — стоял снаружи, у ограды, опершись на палку, и смотрел, как расходится народ. Когда мимо прошёл Потанин, старик сказал — негромко, ни к кому не обращаясь:

— Помер, значит. Ну, царство ему небесное. Если примут.

Потанин остановился.

— Ты что, старик? Как ты можешь так о государе?

Старик посмотрел на него — спокойно, без страха, с какой-то даже жалостью.

— А как же мне о нём, барин? — сказал он. — Он мне не государь. Он мне — антихристово семя. Как и отец его, и дед. Помер один антихрист — другой будет. Свято место пусто не бывает. — Он помолчал. — А ты не серчай. Я не со зла. Я старой веры. Нам так положено — думать.

Он повернулся и пошёл прочь — медленно, опираясь на палку.

Потанин смотрел ему вслед. Он хотел крикнуть что-нибудь, догнать, приказать арестовать за оскорбление величества. Но не крикнул. Не догнал. Не приказал.

Потому что лёд под ногами трещал всё громче.

В апреле Романовский отправил его в Чарыш.

— Там у меня полусотня стоит, — сказал полковник. — Сотник Пермиков, хороший казак, но неграмотный. Ему писарь нужен. И офицер, чтобы ведомости вёл. Поезжай, хорунжий. Там красиво. Поживёшь у кержаков — у старообрядцев. Они народ странный, но честный. Не обидят.

— У кержаков? Почему у них?

— А больше не у кого, — развёл руками Романовский. — Там казаков мало, всё больше кержаки. Они туда ещё при Екатерине бежали — от никонианской веры, от рекрутчины, от податей, от царя. Жили в горах, в тайге, по ущельям, без властей, без попов, без пачпортов. Их «каменщиками» звали — потому что в камнях жили, в горах. Потом Екатерина их простила, в подданство приняла, землю дала. Но они так и остались — сами по себе. — Полковник погладил Прошку за пазухой. — Ты с ними поосторожнее, хорунжий. Они табаку не любят. И если тебе миску дадут — ты из неё ешь, а потом не удивляйся, что они её выбросят. Ты для них — мирской. Поганый. Но они тебя не обидят. У них закон — странника принять.

Дорога в Чарыш шла по горам, по долинам, по тайге — три дня верхом. И чем дальше Потанин ехал, тем красивее становилось вокруг. Горы росли, поднимались, вставали стеной — не голые, как в Семиречье, не белые, как Алатау, а зелёные, покрытые тайгой до самых вершин: кедры, лиственницы, пихты, ели. Между горами лежали долины, и в долинах — луга, такие яркие, такие пышные, такие цветущие, что Потанин несколько раз останавливал коня просто для того, чтобы посмотреть. Травы стояли по пояс, по грудь, по плечи — он ехал по ним, как по морю, и только голова коня торчала над цветами. А цветы! Синие, жёлтые, белые, лиловые, оранжевые — огоньки, марьяны коренья, аконит, водосбор, лилии, — и над всем этим гудели пчёлы.

Пчёл здесь было столько, что воздух звенел. Потанин скоро понял почему: по всем долинам, на всех полянах, у всех ручьёв стояли пасеки — ряды деревянных колод-ульев, накрытых берестой, и рядом маленькие избушки пасечников. Кержаки, рассказывали ему потом, держали пчёл с самого прихода в горы — мёд был их хлебом, их деньгами, их лекарством. Алтайский мёд славился на всю Сибирь.

Станица Чарышская стояла на берегу реки — бурной, холодной, прозрачной, бегущей по камням. Дома здесь были не саманные, как в Семиречье, а рубленые — из огромных кедровых и лиственничных брёвен, тёмных от времени, с высокими крыльцами и с окнами, украшенными резными наличниками. Наличники поражали: каждый был не похож на другой, и на каждом — цветы, птицы, звери, солнца, листья, переплетённые в узор такой тонкий и такой сложный, что Потанин часами стоял у них, разглядывая.

Его поставили на квартиру к старику Иванову.

Это был тот самый старик, которого он встретил у церковной ограды в Антоньевке. Потанин узнал его сразу — седую бороду, жилистые руки, спокойный взгляд, — и старик узнал его тоже.

— А-а, — сказал он, открывая калитку. — Это ты. Царя-то оплакал?

Потанин покраснел.

— Оплакал.

— Ну, оплакал — и ладно. Слезы, они не грех. Грех — когда не по тому плачешь. — Старик посторонился. — Входи. Живи. Изба большая, места хватит. Только табаку не кури. И в красный угол не садись — там образа. И миску свою держи отдельно. Внучка даст.

Он говорил ему «ты» — с первого слова и до последнего. Потанин сначала удивлялся, потом привык. Здесь все говорили «ты» — друг другу, детям, старикам, сотнику, хорунжему,

самому Богу. «Вы» говорили только мирским чиновникам, да и то с усмешкой — как говорят с чужими.

— Мы, барин, — объяснил Иванов, когда Потанин спросил его об этом, — всем «ты» говорим. Как в Писании. Там Господь всем «ты» говорит — и Адаму, и Моисею, и царю Давиду. И Христос — «ты». А «вы» — это немцы выдумали. Чтобы баре от мужиков отличались. А перед Богом все одинаковы. И барин, и мужик, и царь. Значит — «ты».

Изба у Иванова была большая, просторная, на два сруба, соединённых сенями. В передней половине жили хозяева — сам старик и его внучка. В задней — гость. Чисто было так, как Потанин не видел ни в одном казачьем доме: полы выскоблены добела, стены вымыты, на окнах — вышитые полотенца, в красном углу — тёмные старые иконы в медных окладах, с лампадой. Пахло воском, мёдом, сушёными травами и свежим хлебом.

Внучку звали Марья.

Ей было лет семнадцать. Она была высокая, тонкая, с длинной русой косой, перекинутой через плечо, с серыми глазами и с таким спокойным, строгим, иконописным лицом, что Потанин в первую минуту оробел. Она была одета в тёмный сарафан и белую рубаху с вышитыми рукавами; голова повязана платком, по-девичьи, так, что видна была коса. Она не улыбалась. Она поклонилась гостю — молча, в пояс, — поставила перед ним на стол миску, ложку и кружку, отдельные, не такие, как у хозяев, — и ушла за перегородку.

— Строгая она у меня, — сказал Иванов, глядя ей вслед. — Мать у неё померла, отец в тайге сгинул — на промысле, медведь задрал. Я её один растил. Грамоте выучил. Псалтирь наизусть знает. Травы знает. По пчёлам — лучше меня. — Он помолчал. — Замуж бы её. Да не за кого. Наших мало осталось. А за мирского — не отдам. Грех.

Потанин ничего не сказал. Он смотрел на перегородку, за которой исчезла Марья, и думал: Марья Иванова. Маша. Как у Пушкина — Маша Миронова, капитанская дочка. Только эта — не капитанская. Эта — кержацкая. И Гринёва ей не надо.

Он почему-то покраснел от этой мысли и уткнулся в свою отдельную миску.

В июле был покос. И Потанин узнал, что такое «помочи».

Он проснулся на рассвете от шума: по улице шли люди — мужики, бабы, парни, девки — с косами, граблями, вилами на плечах, с узелками, с кувшинами. Шли весело, переговариваясь, пересмеиваясь, кто-то пел. Иванов уже стоял у калитки, с косой.

— Вставай, барин, — сказал он. — Помочи сегодня. У вдовы Сазонихи. У неё мужика нету, сыновья малые. Покосить некому. Вот мир и идёт.

— Мир?

— Мир. Все. Вся станица. — Старик кивнул на идущих. — Так у нас заведено. Если у кого беда — пожар, болезнь, вдовство, — мир помогает. Избу ставить — помочи. Хлеб жать — помочи. Сено косить — помочи. За это не платят. За это кормят — хозяйка стол накрывает, вот и вся плата. А потом, когда у тебя беда, — к тебе придут.

— А если кто не пойдёт?

Иванов посмотрел на него с удивлением.

— Как это — не пойдёт? Все пойдут. Кто ж не пойдёт? Кто не пойдёт — тому стыдно будет. И к нему потом никто не придёт.

Потанин взял косу — Иванов дал ему старую, запасную, — и пошёл вместе со всеми.

Луг вдовы Сазонихи был за рекой, на склоне горы — огромный, некошенный, заросший травой по пояс. Косари выстроились в ряд — человек тридцать, мужики и парни, — и пошли. Шли ровно, плечом к плечу, взмахивая косами в такт, как солдаты на марше, — и за ними оставались ровные валки скошенной травы, пахнущие так, что кружилась голова. Позади шли бабы и девки с граблями — ворошили, сушили, сгребали.

Потанин пытался косить — и у него не получалось. Он махал косой, как саблей, — неловко, широко, со всей силы, — и коса то зарывалась носком в землю, то скользила по верху

травы, ничего не срезая. Он вспотел через пять минут. Через десять — натёр ладони. Через пятнадцать — отстал от ряда шагов на двадцать.

Сзади раздался смех — звонкий, девичий. Потанин обернулся. Это смеялись девки с граблями. А среди них — Марья. Она не смеялась — но губы у неё чуть дрогнули, и в серых глазах мелькнуло что-то, похожее на улыбку.

Потом к нему подошёл Иванов.

— Ты, барин, не маши, — сказал он. — Ты не воюешь. Ты траву бреешь. Смотри.

Он встал рядом, взял свою косу — и показал. Медленно, плавно, без усилия: носок косы скользил по земле, лезвие срезало траву у самого корня, валок ложился ровно, — и всё это так легко, будто старик не работал, а танцевал.

— Коса сама идёт, — сказал Иванов. — Ты ей только не мешай. Как с конём. Как с жизнью.

К вечеру Потанин научился. Не так, как Иванов, — далеко не так, — но научился. Он шёл в ряду вместе со всеми, взмахивая косой, и уже не отставал. Ладони у него горели, спина ныла, рубаха прилипла к телу. Но он был счастлив — так, как давно не был.

А вечером Сазониха накрыла стол — прямо на лугу, на скошенной траве: хлеб, мёд, молоко, квас, пироги с черёмухой, варёная баранина, огурцы. Все сидели вокруг, ели, пили, пели. Песни были старые, протяжные, незнакомые — про Беловодье, про святых отцов, про Иисуса, который ходил по земле нищим странником. Потанин не знал слов, но слушал.

Марья пела тоже. Голос у неё был высокий, чистый, прозрачный, как вода в Чарыше.

Про Беловодье Иванов рассказал ему в конце лета, на пасеке.

Они сидели у избушки пасечника, на брёвнышке, в сумерках. Вокруг стояли ульи — колоды, накрытые берестой, — и из них доносилось тихое, сонное гудение. Пахло мёдом, воском, полынью. Над горами всходила луна.

— Есть такая страна, — говорил Иванов, глядя на луну, — на краю света, за горами, за снегами, за морями. Беловодье называется. Там живут праведные люди — те, кто от антихриста ушёл, от царя, от никониан. Там нет ни властей, ни податей, ни рекрутчины, ни пачпортов. Там никто никому не служит. Там земля сама родит — хлеб, плоды, мёд. Там реки молочные. Там церкви древние, с колоколами, с истинными попами, ещё от апостолов поставленными. Там люди живут по сто, по двести лет, и не болеют, и не воюют, и не воруют. Там у всех всё общее. Как в первые дни, при апостолах.

— Где же она? — спросил Потанин.

Иванов помолчал.

— Говорят — за Алтаем. За Катунью, за Белухой, за Китаем. В Опоньском царстве — это у самого моря. Мой дед туда ходил. С пятью мужиками. В тысяча семьсот девяностом году. Шли три года. Дошли до какой-то китайской земли — там их поймали, в тюрьму посадили. Двое померли. Остальные бежали. Вернулись. Дед говорил — не дошли. Говорил — Беловодье есть, но туда не всякого пускают. Туда только праведных пускают. А мы грешные.

— Вы в это верите?

Старик повернулся к нему.

— Ты, барин, всё спрашиваешь — верю ли. Как будто от этого что зависит. — Он усмехнулся в бороду. — Ты вот в царя верил. Плакал по нему. А царь — что? Царь — человек. Помер — и нету. А Беловодье — оно не помрёт. Оно — мечта. Без мечты человеку нельзя. Без мечты он скотина. Вот мы и мечтаем — о стране, где никто никому не служит.

Он замолчал. Луна поднялась над горами — огромная, жёлтая. Ульи гудели.

— Мы ведь, барин, и так — почти в Беловодье, — сказал вдруг Иванов. — Ты посмотри. Властей у нас — сотник Пермьяков, да он неграмотный, ему всё равно. Попов у нас нет — сами молимся, по старым книгам. Податей платим мало — мёдом да пушшиной. Помочи у нас — вся станица как одна семья. Кто болеет — лечим. Кто бедствует — кормим. Кто помер — хороним

всем миром. Никто никому не приказывает. Все сами знают, что делать. — Он помолчал. — Вот только пачпорта. Пачпорта нам выдали — когда Екатерина простила. Мы их не носим. В сундуке лежат. Печать антихристовая на них — двуглавая птица. Мы её не любим.

Потанин молчал. Он думал о том, что в этой глуши, в этих горах, среди этих странных людей с их иконами, псалтирями, отдельными мисками и пачпортами в сундуках, он увидел то, о чём писали в «Современнике» и о чём спорили в Петербурге. Общину. Мир. Взаимопомощь. Жизнь без начальства. Ту самую, о которой мечтали — он смутно слышал об этом — какие-то социалисты во Франции.

Только здесь не мечтали. Здесь — жили.

В сентябре Иванов взял его с собой к калмыкам.

Калмыками на Алтае называли не тех калмыков, что жили за Тарбагатаем, а местных — алтайцев, кочевавших по горным долинам к югу от Чарыша. Они жили в аилах — конических шалашах из жердей, крытых корой лиственницы или войлоком, — пасли скот, охотились, собирали кедровые орехи. Они были «некрещёные», язычники — поклонялись горам, рекам, небу, приносили жертвы духам, держали камов — шаманов.

Кержаки торговали с ними давно — меняли мёд, хлеб, железо на пушнину, на кожи, на кедровые орехи. Торговали честно — Потанин удивился, узнав, что кержаки никогда не обманывают алтайцев, хотя могли бы: те не знали цены деньгам и не умели считать.

— Нельзя обманывать, — сказал Иванов, когда Потанин спросил. — Они нам как братья. Мы — гонимые, и они — гонимые. Нас царь гонит, и их гонит. Нас попы никонианские гонят, и их гонят — крестить силком хотят, миссионеры ездят. Мы друг дружку в беде не бросаем. Сколько раз они наших беглых прятали от исправника. Сколько раз мы их кормили в голодный год. — Он помолчал. — Бог у них другой. Да Бог — Он один. Только зовут по-разному.

Они ехали два дня — по горам, по тайге. Марья ехала с ними: Иванов сказал, что она лучше его знает, какие травы у алтайцев выменивать. Она сидела в седле прямо, по-мужски, в штанах под сарафаном, и молчала. Потанин ехал позади и смотрел на её спину, на русую косу, на тонкую шею под платком.

Аил стоял в широкой долине, у подножия горы, на берегу ручья. Вокруг паслись кони, коровы, козы. Над аилами поднимался дым. Где-то лаяли собаки. Когда они подъехали, из аилов высыпали люди — мужчины в овчинных шубах мехом наружу, женщины в длинных халатах с высокими меховыми шапками, ребятишки — и обступили их, радостно крича: «Иван! Иван-ака!»

Их приняли как дорогих гостей. Усадили у огня, в самом большом аиле. Угостили — араковой, молочной водкой, которую Иванов вежливо отклонил, и кедровыми орехами, которые он принял. Начался торг — долгий, неторопливый, со смехом и прибаутками.

А потом в аил вошла старуха.

Она была очень старая — такая старая, что, казалось, ей не сто лет, а тысяча. Маленькая, сгорбленная, сморщенная, как печёное яблоко, с длинными седыми космами, падавшими на плечи. На ней был странный наряд — халат, увешанный ленточками, кисточками, медными бляшками, колокольчиками, — и всё это звенело и шуршало при каждом её шаге. В руке она держала бубен — большой, круглый, обтянутый кожей, с нарисованными на нём странными фигурами.

Все замолчали. Даже дети.

— Кам, — шепнул Иванов Потанину. — Шаманка. Они её больше князя боятся.

Старуха подошла к огню. Села на корточки напротив гостей. Долго смотрела — на Иванова, на Марью, на Потанина. Потом протянула руку — высохшую, коричневую, с длинными жёлтыми ногтями — и вдруг коснулась лба Потанина.

Он вздрогнул. Пальцы у неё были сухие и горячие.

Старуха что-то сказала — тихо, нараспев. Потом повторила громче. Алтайцы вокруг зашептались.

— Что она говорит? — спросил Потанин у Иванова.

Иванов слушал, наклонив голову. Потом сказал медленно, будто не веря:

— Она говорит... говорит, что тебя Умай держала. Умай — это у них богиня такая. Мать детей. Которая младенцев бережёт. Она говорит: когда ты был маленький — совсем маленький, — ты упал. В снег. Ночью. И Умай тебя держала. В ладонях. И не дала замёрзнуть.

Потанин засмеялся. Это был нервный смех — короткий, удивлённый.

— Откуда она знает? — спросил он. — Я сам об этом... Отец рассказывал. Что я упал с саней. Когда мне полгода было. Но откуда она...

Иванов пожал плечами.

— Кам. Они знают.

Старуха смотрела на Потанина — пристально, не мигая. Потом снова заговорила — долго, нараспев, раскачиваясь из стороны в сторону, позвякивая колокольчиками.

— Она говорит, — переводил Иванов, — что Умай держала тебя не просто так. Что ты нужен. Что духи гор, духи рек, духи неба — все они тебя знают. Что ты будешь ходить по их земле — далеко, много, всю жизнь. Что ты будешь слушать их голоса. Что ты будешь записывать их песни. Что они тебе будут рассказывать — сами. Потому что ты слушаешь. Потому что больше никто из урусов не слушает.

Старуха замолчала. Потом вдруг ударила в бубен — один раз, гулко, так, что звук отдался в груди. И сказала ещё одну фразу — коротко, отчётливо.

— А это что? — шёпотом спросил Потанин.

Иванов долго молчал. Потом сказал:

— Она говорит: когда ты будешь умирать — они придут за тобой. Все. Умай, и Ульгень, и духи гор, и духи рек. Все придут. Чтобы проводить. Потому что ты их помнил.

В аиле стало тихо. Только огонь потрескивал.

Потанин сидел, глядя на старуху, и не знал, смеяться ему или бояться. Он хотел сказать что-нибудь насмешливое, образованное, — про суеверия, про дикарей, про Паллас, который описывал шаманов как фокусников. Но не сказал. Слова застряли в горле.

Марья, сидевшая рядом, вдруг перекрестилась — двумя перстами, по-старому. И Потанин увидел, что у неё дрожат руки.

На обратном пути, ночью, у костра, Марья впервые заговорила с ним сама.

Они сидели у огня — Иванов уже спал, завернувшись в тулуп, кони паслись поблизости. Над горами стояли звёзды. Где-то кричала ночная птица.

— Ты испугался? — спросила Марья. — Шаманки?

Потанин вздрогнул — от её голоса, от того, что она обратилась к нему, от этого «ты».

— Нет, — сказал он. — Не знаю. Немного.

— Я испугалась, — сказала Марья. — Она бесовка. Дедушка говорит — нет, не бесовка, просто другая вера. Но я боюсь. — Она помолчала. — А то, что она сказала... Про Умай... Это правда? Ты падал в снег?

— Правда. Отец рассказывал. Мы ехали ночью из Ямышевой в Пресновск. Я выпал из саней. На подушке. Меня нашли через час — я спал.

Марья смотрела в огонь.

— Значит, тебя Бог сберёт, — сказала она. — Не Умай. Бог.

— Может быть, — сказал Потанин. — Может, это одно и то же. Твой дедушка говорит — Бог один, только зовут по-разному.

Марья подняла глаза — серые, серьёзные, — и долго смотрела на него.

— Ты странный, — сказала она наконец. — Ты мирской, а не такой, как мирские. Ты с нами косил. Ты дедушку слушаешь. Ты шаманку слушал. Ты всех слушаешь. — Она помолчала. — Дедушка говорит — у тебя уши хорошие.

— Мне это уже говорили, — улыбнулся Потанин. — Один старик-киргиз. Сказитель. Говорил — береги уши.

Они помолчали.

Потом Потанин полез в свою седельную суму и достал книгу — маленькую, потрёпанную, в бумажной обложке. «Капитанская дочка». Он взял её в Антоньевке у Романовского — единственная книга Пушкина в полковничьей библиотеке, — и возил с собой, перечитывая.

— Вот, — сказал он, протягивая книгу Марье. — Это тебе. Почитай.

Марья взяла книгу осторожно, двумя пальцами, будто боялась обжечься.

— Это мирская книга? — спросила она.

— Мирская. Но хорошая. Про девушку. Её тоже Марьей зовут. Маша. Она была очень храбрая. Она пошла к самой императрице — пешком, одна — просить за жениха. И упростила.

Марья смотрела на книгу. Потом — на Потанина.

— Дедушка не велит мирские книги читать, — сказала она. — Грех.

— Тогда не читай.

Марья помолчала. Потом спрятала книгу за пазуху, под сарафан.

— Я спрошу у Бога, — сказала она. — Если Он не против — прочту.

В октябре в Антоньевку пришёл «Современник» — номер за май. Он шёл четыре месяца: через Петербург, Москву, Казань, Тобольск, Омск, Бийск. Романовский выписывал его давно, хотя читал мало — больше для Василисы Петровны, которая любила повести. Потанин приехал из Чарыша на несколько дней — с ведомостями, — и полковник, увидев его, обрадовался:

— Хорунжий! Вот кстати! Почитайте нам вслух. У Василисы Петровны глаза слабые, а у меня — голос. Там про Севастополь что-то. Какой-то артиллерийский офицер пишет. Говорят — хорошо.

Потанин читал вслух — вечером, в горнице, при двух свечах. Романовский сидел в кресле, в своём халате, с Прошкой за пазухой. Василиса Петровна сидела у печки, с вязаньем. Есаул Кочнев, пришедший на огонёк, сидел на лавке и курил трубку.

Рассказ назывался «Севастополь в декабре месяце». Подписан был только инициалами — «Л. Н. Т.».

Потанин читал — и чем дальше читал, тем тише становилось в горнице. Это была не повесть, не роман, не стихи — это было что-то другое, чего он никогда не читал. Человек, который сидел там, в Севастополе, на бастионе, под бомбами, писал о том, что видел. Просто писал. Без красивых слов, без «ура», без «за веру, царя и отечество». Писал о госпитале, где отрезают руки и ноги, и о запахе крови и гноя. О матросе, у которого оторвало ногу, и который спокойно говорит, что «всё ничего». О женщине, которая ищет мужа среди раненых. О смерти, которая здесь — каждый день, каждый час, обыденная, будничная, как погода.

Василиса Петровна перестала вязать. Есаул перестал курить. Романовский сидел неподвижно, и по его розовым щекам текли слёзы.

Когда Потанин дочитал, долго никто не говорил. Потом Романовский сказал — тихо, хрипло:

— Вот она, война. Вот она какая. А мы тут... Мы тут мёд едим. Ботвинью варим. — Он вытер глаза рукавом. — Там люди помирают. Мальчишки. А мы...

— А мы что можем, Пётр Андреич? — сказала Василиса Петровна сердито, но голос у неё дрожал. — Ничего мы не можем. Только молиться.

Потанин сидел с журналом в руках и думал. Он думал о том, что этот неизвестный офицер «Л. Н. Т.» написал правду. Что правда — страшная. Что правда — в том, что люди уми-

рают, потому что кто-то где-то решил, что они должны умирать. Государь решил. Министры решили. Генералы решили. А мальчишки — умирают.

Он думал о Ваньке Сизове в мёрзлой земле на Иссыке. О Сорокине с головой на шесте. О Чалкове на скамье. Всё это было одно и то же. Одна и та же машина. Огромная, бездушная, равнодушная, которая перемалывает людей и не замечает.

Через месяц пришла другая весть: Севастополь пал.

Романовский заперся у себя и два дня никого не принимал. Василиса Петровна носила ему еду под дверь. Прошка сидел на подоконнике и смотрел в окно.

В декабре Иванов взял его на соболиный промысел.

— Пойдёшь со мной в тайгу? — спросил старик однажды вечером, когда они сидели на печи. — На неделю. К избушке. Посмотришь, как соболя берут.

Потанин согласился сразу. Он давно просил.

Они шли на лыжах — широких, подбитых камусом, оленьей шкурой с ног, ворсом назад, чтобы не скользили вспять на подъёме. Шли три дня — по тайге, по горам, по ущельям, по замёрзшим ручьям. Снег был глубокий — по пояс, по грудь. Мороз стоял такой, что деревья трещали, как выстрелы. Ночевали у костра, в снежных ямах, на лапнике, завернувшись в тулупы.

Избушку Потанин увидел только тогда, когда Иванов остановился и сказал: «Пришли». Вокруг была ровная снежная поляна среди кедров, без признаков жилья. Потом старик подошёл к едва заметному бугорку в снегу, разгрёб его руками — и под бугорком открылась дыра. Круглая, как колодец, уходившая вниз, в темноту. Из неё торчал конец бревна с зарубками.

— Лезь, — сказал Иванов. — По бревну. Осторожно.

Потанин полез. Бревно уходило вниз круто, почти отвесно, — сажени на две, на три, — и он спускался по зарубкам, как по лестнице, в полной темноте. Потом ноги коснулись земли. Он стоял в тесной, тёмной, тёплой норе. Пахло дымом, смолой, звериными шкурами. Где-то рядом журчала вода.

Иванов спустился следом, зажгёт лучину. И Потанин увидел.

Избушка была маленькая — сажень на сажень, — срубленная из толстых брёвен, с низким потолком, о который он стукнулся головой. В углу — каменная печка, без трубы: дым уходил через тот же колодец, по которому они спустились. Вдоль стен — нары, покрытые шкурами. На стенах — капканы, силки, ружьё, связки шкурок. А через избушку, по самой середине, по деревянному жёлобу, текла вода — живой ручей, прозрачный, быстрый, не замерзающий даже в самый лютый мороз.

— Ключ, — сказал Иванов, кивнув на жёлоб. — Тёплый ключ. Из-под горы бьёт. Я избушку над ним поставил. Сорок лет назад. Вода всегда есть, и тепло от неё. А снег сверху — как шуба. Тут хоть пятьдесят градусов мороза — а внутри тепло, как в бане.

Они прожили в избушке неделю. Днём ходили по тайге — проверять ловушки, ставить новые, тропить соболя по следу. Ночью сидели у печки, на нарах, и Иванов рассказывал.

Он рассказывал о соболе — умнейшем звере тайги. О том, как соболик хитрит, путает следы, уходит по деревьям, прячется в корнях, в дуплах, в камнях. О том, как его выслеживают с собакой, как окружают сетью, как выкуривают дымом. О том, что соболик — зверь гордый: если поймать его живым и посадить в клетку, он будет биться о прутья, пока не убьётся. Не все, правда. Бывают, что привыкают. Вот как Прошка у полковника.

— А Прошку ты поймал? — спросил Потанин.

— Я, — кивнул Иванов. — Щенком. Мать его убил, а он в дупле сидел. Маленький, слепой. Жалко стало. Принёс домой, Марья выкормила — молоком, с пальца. Потом полковнику подарил. Он любит зверьё.

Он рассказывал о «хозяине» — о духе тайги, которого надо уважать. О том, что нельзя брать больше, чем нужно. Что если убьёшь соболя-матку весной, с детёнышами, — хозяин

рассердится, и удачи не будет. Что первую добычу надо оставить хозяину — на пне, на камне. Что нельзя рубить живое дерево без нужды. Что нельзя мусорить у ручья. Что надо разговаривать с тайгой — тихо, вежливо, как с хозяином дома, куда пришёл в гости.

— Это ведь не по-христиански, — сказал Потанин. — Хозяин тайги. Это язычество. Как у алтайцев.

Иванов усмехнулся в бороду.

— А я, барин, от алтайцев и научился. Мой дед, когда сюда пришёл, ничего не знал — ни тайги, ни гор, ни зверя. Его алтайцы учили. Как жить. Как промыслять. Как с тайгой говорить. Они тут тысячу лет живут — они знают. — Он помолчал. — Бог создал тайгу. Значит, и хозяина тайги Он создал. Чтобы порядок был. Чтобы люди не жадничали. Чтобы не всё брали.

— Порядок, — повторил Потанин. И засмеялся.

— Чего смеёшься?

— Так. Вспомнил одного человека. Полковника. Он тоже всё про порядок говорил.

— И что — у него порядок был?

— Был. Только другой. Для него порядок — это когда больно.

Иванов долго молчал. Потом сказал:

— Это не порядок. Это антихристов порядок. Настоящий порядок — когда всем хорошо. И зверю, и человеку, и тайге. Когда никто лишнего не берёт. Когда все друг другу помогают. Когда никто никого не бьёт. — Он подбросил полено в печку. — Вот как в Беловодье.

Ночью Потанин лежал на нарах, слушал, как журчит ручей, протекающий через избушку, и думал. Он думал о том, что Романовский и Иванов говорят одно и то же — разными словами. «Порядок — это когда людям хорошо». «Настоящий порядок — когда всем хорошо». И что Мессарош, и Гасфорд, и Абрамов, и маньчжурский офицер с косой, и те, кто послал мальчишек умирать в Севастополь, — все они говорят о другом порядке. О порядке машины. О порядке печати, приказа, розги, пачпорта, двуглавой птицы.

И что ему, Потанину, — с кем?

Он знал ответ. Он знал его уже давно — с Исыка, с Алматы, с Кульджи, с Семипалатинска. Но только здесь, в этой избушке под снегом, над тёплым ключом, он позволил себе произнести его — мысленно, про себя, шёпотом:

С ними. С Ивановым. С Булеком. С Жанузаком. С Чалковым. С Гусевым. С таранчинской старухой. С калмыцким ламой. С алтайской шаманкой. С теми, кто помогает, а не приказывает. С теми, кто слушает, а не считает.

А не с машиной.

Они вернулись в Чарыш через неделю — с двумя десятками соболиных шкур, обмороженные, усталые, счастливые.

Марьи дома не было.

Изба была пуста и холодна. Печь не топлена. На столе — записка, нацарапанная углём на куске бересты, крупными старинными буквами, по-славянски, без пробелов между словами.

Иванов прочёл её, долго стоял, глядя в одну точку. Потом сел на лавку и закрыл лицо руками.

— Что там? — спросил Потанин.

Старик не ответил. Он протянул ему бересту.

Потанин с трудом разобрал старинные буквы:

«Дедушка прости. Ушла со Пахомовыми в Беловодье. Они давно звали. Бог велел. Не ищи. Помолись за меня. Барину передай — книгу прочла. Маша храбрая была. Я тоже. Марья».

Он стоял, держа бересту в руках, и не мог вымолвить ни слова.

— Пахомовы, — сказал Иванов глухо. — Три семьи. Давно собирались. Звали её. Я не пускал. — Он поднял голову, и Потанин увидел, что глаза у старика мокрые. — А теперь ушла.

Зимой. В горы. Куда — бог весть. За Катунь, за Белуху, в Китай. Как мой дед. Не дойдут. Помрут в снегах. Или китайцы поймают.

— Надо догнать! — сказал Потанин. — Надо послать казаков! Они не могли далеко уйти! Иванов покачал головой.

— Не надо, барин. Не догонишь. Они дороги знают — тайные. Наши, кержацкие. Им алтайцы помогут, спрячут. — Он помолчал. — Да и не надо. Она сама решила. Бог велел — она пошла. Как та Маша, из книжки твоей. — Он вдруг горько усмехнулся. — Ты ей книжку дал. Про храбрую девку. Вот она и стала храброй.

Потанин сел на лавку рядом со стариком. Они долго сидели молча, в холодной избе, при тусклом свете зимнего дня.

Потом Иванов встал, растопил печь, поставил котелок с водой.

— Чай будешь, барин?

— Буду.

Они пили чай — молча, глядя в огонь.

— Может, дойдёт, — сказал вдруг Потанин. — Может, Беловодье и правда есть.

Иванов посмотрел на него.

— Может, — сказал он. — А может, Беловодье — это там, где люди друг другу помогают. Где помочи. Где миром живут. Может, его не надо искать за горами. Может, его надо строить. Здесь.

Он помолчал.

— Только она молодая. Ей не понять. Молодые всегда ищут за горами.

Через месяц пришёл приказ: хорунжего Потанина перевести в Омск, в распоряжение войскового штаба. Для разбора архива.

Романовский, прощаясь, обнял его — крепко, по-отечески, — и Прошка, выглянув из-за халата, вдруг лизнул Потанина в щёку. Василиса Петровна сунула ему в руки узел — пироги, мёд, сало, — и сердито отвернулась, чтобы он не видел её слёз.

— Вы там поосторожнее, хорунжий, — сказал Романовский. — В Омске. Там начальства много. А начальство — оно... — Он не договорил. Махнул рукой.

Иванов проводил его до околицы. Стоял у последней избы, опершись на палку, — седой, сгорбленный, постаревший за этот месяц на десять лет.

— Прощай, барин, — сказал он. — Ты хороший человек. Слушай людей. Слушай духов. Слушай тайгу. Записывай. — Он помолчал. — А если где Марью встретишь — скажи, что дед её простил. И ждёт.

— Скажу, — пообещал Потанин.

Он ехал по зимней дороге, через перевал, на запад, к Бийску, к Омску. Позади оставались горы — белые, тихие, прекрасные. Резные наличники. Пасеки под снегом. Избушка над тёплым ключом. Старик у околицы. Пустая изба с холодной печкой.

И где-то там, далеко, за Катунью, за Белухой, по тайным кержацким тропам, шла через снега девушка с русой косой и с книжкой Пушкина за пазухой. Шла искать страну, где никто никому не служит.

Он не встретил её больше никогда. Но всю жизнь, когда ему рассказывали о Беловодье — а рассказывали часто, в Монголии, в Китае, на Алтае, — он вспоминал её. И думал: может, дошла.

Может, дошла.



Глава 8. Просверленная стена

Из окна своей новой комнаты хорунжий Потанин видел только сапоги.

Окно было низкое, почти вровень с землёй, — домик казака Бердникова за двадцать лет врос в омский песок, как старый гриб, — и всё, что происходило на улице, Потанин видел снизу, от колен. Мимо шли сапоги: казачьи, с подковками, солдатские, растоптанные, бабьи котики, татарские ичиги с загнутыми носами, чиновничьи штиблеты с калошами. Проезжали колёса телег. Пробегали собаки. Иногда в окно заглядывала курица и долго, с большим подозрением, рассматривала его одним глазом.

По сапогам он скоро научился узнавать город. Утром шли на развод солдаты — тяжело, в ногу, поднимая пыль. Потом шли писари и мелкие чиновники — быстро, бочком, придерживая под мышкой папки. Потом шли бабы на базар. Около полудня шагом проезжали верховые — офицеры из крепости, адъютанты, вестовые; их сапоги были блестящие, со шпорами, и висели в стремени высоко, на уровне форточки. Вечером тянулись обратно солдаты — уже не в ногу, вразброд, а кто и зигзагом.

И каждый день, в одно и то же время, мимо окна проходила пара сапог особенных — хромовых, мягких, начищенных до зеркального блеска, с узкими носами, сшитых явно не в Омске. Сапоги ступали легко, пружинисто, чуть небрежно, — так ступают люди, которые никуда не опаздывают, потому что без них не начнут. Потанин знал эти сапоги ещё по кадетскому корпусу. Тогда они, правда, были казёнными.

Это ходил на дежурство к генерал-губернатору Чокан Валиханов.

Комнату ему нашли товарищи по выпуску — казачьи офицеры Пирожков, Чукреев и Усов, которых он разыскал в первый же день по приезде, в начале февраля тысяча восемьсот пятьдесят шестого года.

— Есть, — сказал Сократ Пирожков, рыжий, громкий, с усами, закрученными так лихо, что ими можно было, кажется, проткнуть насквозь, — есть у меня для тебя, Гриша, квартира. Не квартира — рай. Казачий форштадт, хозяин Фирсыч — золото, а не казак, хозяйка Филиппьевна — та и вовсе ангел. Три рубля в месяц. Со столом!

— Три рубля? — не поверил Потанин. — Со столом?

— Со столом. Правда, стол — это чай и шаньги. — Пирожков подмигнул. — Но какие шаньги, брат! Ты таких и в раю не ел. У нас по вечерам к Филиппьевне весь выпуск ходит. Ты нам хозяйство не портить — будем к тебе ходить.

Домик Фирсыча — по паспорту казака Бердникова, но так его никто не называл — состоял из двух половин. В одной, которая называлась «изба», была кухня с огромной русской печью, и там жили сами хозяева со своей маленькой дочкой Оней. Другая называлась «горница», и её отдали Потанину. Городскую обстановку в горнице представляли два стула, стол и железная кровать. Всё остальное место занимали сундуки — хозяйские, огромные, окованные железом, с горбатыми крышками. Они стояли вдоль стен и были покрыты тюменскими полозами — пёстрыми коврами без ворса, с узором из красных и чёрных ромбов. В сундуках, как объяснила Филиппьевна, лежало «добро»: её приданое, приданое её матери, приданое на будущее для Оней, которой было пять лет, тулупы, отрезы, полотенца, пуховые платки и ещё бог знает что, копившееся тут, кажется, со времён Ермака.

Потанин сидел на сундуке, как на лавке, пил чай и ел шаньги. Шаньги у Филиппьевны были действительно удивительные: пышные, круглые, с румяной корочкой, политые сверху сметаной и запечённые, — с картошкой, с творогом, с черёмухой. Она подавала их горой на деревянном блюде и стояла рядом, скрестив руки на могучей груди, пока он не съедал всё.

— Ешь, батюшка, ешь, — говорила она. — Тощий ты. С Алтаю, поди, одними кедровыми орехами питался.

Почему-то все хозяйки Сибири считали его тощим. Это было, видимо, у них общее, как у кочевников — обычай угощать гостя.

Вечерами в горницу набивались товарищи. Садись на сундуки, на кровать, на подоконник, курили, пили чай, ели шаньги, спорили, хохотали. Говорили о службе, о начальстве, о том, кого куда перевели и кто на ком женился; рассказывали анекдоты про атамана, про войскового дьяка, про полковых дам; пели — «Ермак», «Ревела буря», казачьи песни про Суворова. Пирожков играл на гитаре, Чукреев ему подпевал басом, Фёдор Усов, самый серьёзный из всех, сидел в углу на сундуке и читал вслух газету — «Русский инвалид», трёхнедельной давности. Филиппьевна носила из избы новые и новые блюда. Фирсыч — маленький, сухой, кривоногий, с белыми бровями — заглядывал в дверь, слушал и одобрительно кивал. Оня сидела на печи, свесив босые ноги, и смотрела на офицеров круглыми глазами.

Потанину было хорошо. Это было почти как на Чарыше: тепло, свои, просто. Только вместо пчёл гудели голоса, а вместо мёда были шаньги.

Служить его определили в контрольное отделение войскового правления — проверять шнуровые книги.

Шнуровая книга — это книга, прошитая насквозь шнуром, концы которого припечатаны сургучной печатью к последней странице, чтобы никто не мог вырвать лист или вставить новый. В такие книги станицы и полки, сотни и батареи записывали всё: приход и расход денег, провианта, фуража, пороха, свинца, сукна, кожи, дёгтя, свечей. Раз в год книги свозились в Омск, в войсковое правление, и там, в контрольном отделении, их проверяли — сличали приход с расходом, расход с приказами, приказы с ведомостями.

Когда Потанин впервые вошёл в контрольное отделение и увидел книги — их были сотни, они громоздились на столах, на полках, на полу, штабелями до потолка, — у него похолодело внутри. Он вспомнил Семипалатинск. Восемнадцать книг в кожаных переплётках. Лес цифр. Графу «на розги, берёзовые, вязанками». Худые руки Чалкова над фуражной книгой и его шёпот: «Ваше благородие, посмотрите».

Он сел за стол, открыл первую книгу — Бухтарминская станица, за пятьдесят четвёртый год — и начал считать.

Он считал неделю, другую, месяц. Он стал хорошим контролёром — внимательным, дотошным, неподкупным, и начальник отделения, пожилой войсковой старшина Шестаков, человек сонный и добродушный, скоро стал смотреть на него с опаской: этот хорунжий находил то, чего не находил никто. Он находил подчистки, переправленные цифры, двойные записи, мёртвые души — казаков, давно умерших, которым продолжали выдавать провиант. Нашёл овёс, купленный вдвое дороже, порох, «подмоченный» в сухое лето, сукно, «изъеденное молью» на следующий день после получения. Это была мелочь — рубли, десятки рублей, — но мелочь бесконечная, повсеместная, вросшая в книги, как песок в домик Фирсыча.

— Вы бы полегче, хорунжий, — сказал ему однажды Шестаков, позёвывая. — Этак вы всё войско под суд отдадите. Что ж, по-вашему, все воры?

— Не все, — ответил Потанин. — Но книги — все врут.

— Книги не врут, — назидательно сказал Шестаков. — Книги прошиты и опечатаны. Врут люди. А людей, хорунжий, не перевоспитаешь. Вы найдёте вора — пришлют другого. Ещё хуже. Этот хоть своё уже наворовал, сытый. А новый — голодный.

Потанин промолчал. Он подумал, что Шестаков, в сущности, повторяет Мессароша, только с другого конца. Мессарош говорил: порядок — это всё. Шестаков говорил: порядка нет и не будет. А выходило одно и то же: никто ни за что не отвечает, книги прошиты, сургуч цел.

Вечером, придя домой, он записал в книжку: «Шнур и сургуч. Книгу нельзя подделать, можно только написать в ней ложь. Государство верит шнуру больше, чем человеку».

Чокан пришёл к нему в середине марта, без предупреждения, в сумерки.

Потанин сидел за столом над книгами — он брал работу на дом — и вдруг увидел за окном знакомые сапоги. Сапоги остановились. Потоптались. Потом в окно сверху, наклонившись, заглянуло смуглое скуластое лицо с узкими смеющимися глазами и тонкими чёрными усиками.

— Ага! — сказала лицо через стекло. — Вот он где, отшельник! В норе сидит. Как суслик. Открывай, Потанин, я замёрз.

Он вошёл — в шинели с бобровым воротником, в фуражке с кокардой, в белых перчатках, — и в тесной горнице с сундуками сразу стало тесно и празднично, как бывает, когда в бедный дом приносят ёлку. Он снял перчатки, бросил их на сундук, огляделся, присвистнул.

— Ничего себе! — сказал он. — Это что же — склад? Ты что, Потанин, приданое копишь? Или в купцы записался?

— Это хозяйское, — сказал Потанин, краснея.

— Вижу, что хозяйское. — Чокан сел на сундук, закинул ногу на ногу, полюбовался сапогом. — Ну, здравствуй. Три года, а? Три года не виделись. А ты всё такой же. Только похудел. И загорел. И одет — прости меня — как дьячок из Пресновской станицы.

Они обнялись. Потом долго смотрели друг на друга.

Чокан изменился. В корпусе это был живой, быстрый, насмешливый мальчик-киргиз с бритой головой, который читал запоем, рисовал на полях учебников, передразнивал учителей и рассказывал по ночам в спальне сказки своей степи — про батыров, про волшебных коней, про хана Аблая, своего прадеда. Теперь перед Потаниным сидел молодой щёголь — с модной причёской, напомаженной и завитой на висках, с тонкими усиками, в мундире, сшитом лучшим портным Омска, в белоснежном воротничке, от которого пахло французскими духами. Двигался он изящно, говорил небрежно, с лёгкой картавостью, которую, кажется, нарочно перенял у кого-то из столичных, вставлял французские слова. Из кармана он достал портсигар — из слоновой кости, тонкой резьбы — и протянул Потанину.

— Кури.

— Не курю.

— Ах да. Ты и в корпусе не курил. Праведник. — Чокан закурил сам. — А ты посмотри, посмотри, какая резьба. Китайская. Из Кульджи привезли. У меня их уже девять. Коллекцию собираю.

Потанин взял портсигар. На крышке была вырезана крыса — маленькая, тонкая, необыкновенно живая, с длинным хвостом, — которая стояла на задних лапках и штопором сверлила землю.

— Это что? — спросил Потанин.

— Это геолог, — серьёзно сказал Чокан. — Разве не видно?

Потанин засмеялся. Чокан тоже засмеялся — и вдруг закашлялся. Кашлял он долго, отвернувшись, прижимая ко рту батистовый платок, и плечи его под щегольским мундиром дёргались так, что Потанину стало не по себе.

— Ты болен? — спросил он, когда кашель утих.

— Пустяки. — Чокан спрятал платок в карман, быстро, не глядя на него. — Омский ветер. Здесь все кашляют. Ты тоже закашляешь, вот увидишь. — Он снова улыбнулся. — Ну, рассказывай. Где был, что видел. Говорят, ты в Кульдже был? С серебром? И в Верном, при самой закладке? И с Таучубеком дрался? И на Алтае у кержаков жил? Рассказывай всё. Я тут, в Омске, с тоски помираю. Тут, кроме сплетен, ничего не происходит.

Потанин рассказывал. Он рассказывал долго — до полуночи. Про Копал и плачущую скалу, про переправу через Или, про вече у выхода Алматы из гор, про белую осаду и яблони в цвету, про четыре шеста у дороги, про Кульджу и консула Захарова, про Алтай, про Иванова и помочи, про соболью избушку над тёплым ключом. Про Мессароша и Чалкова он не рассказал. И про Марию тоже.

Чокан слушал — так, как в корпусе слушал сказки, сидя по-турецки на кровати: жадно, с горящими глазами, иногда перебивая вопросами. Потом вдруг вскочил, схватил со стола лист бумаги, карандаш и начал рисовать — быстро, не отрываясь, бормоча что-то по-киргизски.

Через пять минут он протянул Потанину рисунок. Там был изображён верблюд — облезлый, понурый, с тощими горбами, — нагруженный огромными шнуровыми книгами. Книги свисали с боков до самой земли. Верблюд был в казачьей фуражке. Морда у него была печальная, задумчивая и необыкновенно похожая на Потанина.

— Это ты, — сказал Чокан. — Корабль пустыни. Везёт отчётность.

Потанин долго смотрел на рисунок. Потом засмеялся — так, что Филиппьевна заглянула из избы.

— Возьми, — сказал Чокан. — На память. Повесь над сундуками.

Он оставил рисунок, надел шинель, натянул перчатки и ушёл — легко, пружинисто, позвякивая шпорами. Потанин подошёл к окну и смотрел, как удаляются хромовые сапоги — по снегу, в лунном свете, в сторону Мокрого форштадта, где жила омская знать.

Верблюда он так и не повесил. Он положил его в Палласа — в ту самую книгу, которую когда-то принёс в корпус Чокан, — и возил с собой потом много лет: в тюрьму, в Свеаборг, в Никольск, в Монголию.

Чокан стал приходить часто — раз в неделю, иногда два. И всегда засиживался допоздна.

С ним было удивительно. Он знал всё и всех. Он был при штабе генерал-губернатора — не то адъютант, не то чиновник особых поручений, — дежурил в доме Гасфорда, принимал просителей, в дни дежурства обедал за генеральским столом. Он бывал во всех лучших домах Омска — у Капустиных, у Гутковского, у Ивановых, у Спасского. Его приглашали на балы, на обеды, на домашние спектакли. Дамы его обожали — за остроумие, за экзотическую красоту, за то, что он был внуком хана и правнуком Аблая. Мужчины его побаивались — за язык.

А язык у Чокана был ядовитый. Он передразнивал всех — генерал-губернатора, его супругу, адъютантов, полицмейстера, архиерея. Он рассказывал анекдоты про омскую «золотую молодёжь» — молодых людей из лучших фамилий, присланных из Петербурга делать карьеру в Сибири.

— Вот, слушай, — говорил он, развалившись на сундуке. — Был у Гутковского вчера обед. Сидим, разговариваем о литературе. Кто-то говорит: а вот Теккерей, английский юморист, — читали «Ярмарку тщеславия»? Прелесть что такое. А теперь новый роман пишет. И тут один наш — фамилию не скажу, громкая фамилия, его тётушка — фрейлина, — один наш поворачивается к Гутковскому и спрашивает: «Простите, полковник, а Теккерей — он у нас в Омске какую должность занимает? Не важное ли что-нибудь? Не нужно ли мне сделать ему визит?»

Он сказал это голосом того молодого человека — тягучим, сонным, гнусавым, — и Потанин хохотал до слёз.

— И ты с ними дружишь? — спросил он, отсмеявшись.

Чокан пожал плечами.

— Дружу. А что ж мне делать? Я, брат, киргиз. Для них я — дикарь. Обезьяна. Учёная обезьяна, которая умеет говорить по-французски. Им интересно на меня смотреть, как на слона, которого привезли из Кокана. — Он затаился папиросой. — Если я буду ходить в халате и есть руками — они будут смеяться. Значит, я буду одеваться лучше, чем они. Говорить по-французски лучше, чем они. Знать больше, чем они. И смеяться над ними — раньше, чем они надо мной. — Он помолчал. — Это моя война, Потанин. Ты воевал с Таучубеком. А я воюю с ними. Каждый день. За обеденным столом.

Потанин посмотрел на него — на напмаженные виски, на тонкие усики, на портсигар из слоновой кости — и вдруг увидел под всем этим того мальчика с бритой головой, которого в первую ночь в корпусе дразнили «косоглазым» и который сидел на кровати, обхватив колени, и

молчал, а утром подрался с самым сильным из обидчиков и был жестоко избит, и снова дрался, и снова, пока его не перестали трогать.

— Ты всё такой же, — сказал Потанин.

— Нет, — серьёзно ответил Чокан. — Я хуже. Я научился врать. — И вдруг улыбнулся. — Но тебе я не вру. Тебе — никогда.

Не врал он и о царе.

Это был их главный спор — долгий, упорный, тянувшийся с марта по октябрь, с вечера на вечер. Начинал всегда Чокан. Он говорил о Николае — о покойном государе — с такой злой, холодной насмешкой, что Потанину становилось не по себе.

— Солдафон, — говорил Чокан. — Фельдфебель на троне. Тридцать лет держал Россию в казарме. Тридцать лет — палки, шпицрутены, цензура, жандармы. Пушкина затравил. Лермонтова сослал. Полежаева сдал в солдаты за стихи. Шевченко — в солдаты, с запрещением писать и рисовать. Представляешь? Художнику — запретить рисовать! А итог? Севастополь. Позор. Тридцать лет готовились к войне — и проиграли первую же.

— Он был великий человек, — упрямо говорил Потанин. — Второй Пётр. Он строил дороги, учреждал школы. Он освободил бы крестьян, если бы успел. Он хотел добра России. Его окружали дурные люди — вот в чём беда. Министры, генералы. Они от него всё скрывали.

— Ах, скрывали! — Чокан всплёскивал руками. — Бедный слепой государь! Не знал, что у него в империи творится! Не знал, что его генерал-губернатор новую веру для киргизов сочиняет! Не знал, что на Иртыше людей сквозь строй гоняют насмерть! — Он вдруг перестал смеяться. — Знал он, Потанин. Всё знал. Он сам этого хотел. Это и был его порядок.

Потанин молчал. Слово «порядок» кольнуло его, как заноза. Он вспомнил Мессароша с пинцетом. Иванова на соболином промысле: «Это антихристов порядок». Свои собственные слёзы в Антоньевке — над бумагой с чёрной каймой.

Но он молчал — и не сдавался. Это было сильнее его. Царь, которому он пел «Боже, царя храни» каждое утро восемь лет подряд, царь, чей портрет висел над кафедрой, огромный, в золотой раме, с холодными голубыми глазами, — этот царь сидел в нём так глубоко, так прочно, что никакие насмешки Чокана не могли его выковырять. Он был как гвоздь, вбитый в дерево по самую шляпку. Его можно было только высверлить.

— Ладно, — сказал однажды Чокан, устав спорить. — Не хочешь слушать меня — послушай другого. Немца. На, возьми.

Он достал из кармана шинели книжку — маленькую, в зелёном коленкоровом переплёте, с золотым обрезом. Это был томик Гейне. По-немецки, лейпцигское издание.

— Ты по-немецки читаешь?

— Плохо. В корпусе учили.

— Ничего. Со словарём. Тут есть переводы — я вложил, переписал от руки. Тютчев переводил. И Фет. И Лермонтов. — Чокан раскрыл книжку на закладке. — Вот, смотри. Ты ведь Лермонтова любишь? Ты его в Копале наизусть читал, мне Лаптев писал. Вот это знаешь?

Он прочёл — негромко, нараспев, с той неожиданной серьёзностью, которая находила на него иногда посреди самой отчаянной насмешки:

— «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна...»

— Знаю, — удивился Потанин. — Это Лермонтов.

— Это Гейне, — сказал Чокан. — Лермонтов перевёл. «Ein Fichtenbaum steht einsam». Немец, еврей, изгнанник. Живёт в Париже, умирает в Париже — говорят, уже лет восемь не встаёт с постели, парализован. А может, уже и умер — пока до нас дойдёт, в Париже три зимы пройдёт. «Матрачная могила» — так он это называет. И оттуда, из могилы, смеётся над всеми королями Европы. Над прусским королём. Над Австрией. Над папами, над жандармами. Над самим собой. — Чокан закрыл книжку и протянул её Потанину. — Почитай. Там есть поэма — «Германия. Зимняя сказка». Про то, как он возвращается на родину после изгнания, и на

границе таможенники роются в его чемодане — ищут запрещённые книги. А книги-то у него в голове. Их не найдёшь.

Он помолчал.

— Книги в голове не найдёшь, Потанин. Это главное. Это единственное, что у них нельзя отнять.

Ночью Потанин сидел над Гейне со словарём, при сальной свече, разбирая слово за словом. Немецкий давался трудно. Но некоторые строчки он понял сразу — без словаря, будто они были написаны по-русски. Одна из них засела в нём надолго:

«Ich hatte einst ein schönes Vaterland» — «Была у меня когда-то прекрасная отчизна».

Он думал: а у меня? Какая у меня отчизна? Та, что с двуглавой птицей на пачпорте? Или та, где помочи, и шаньги, и Иванов на пасеке, и киргизы с бурдюками кумыса у выхода Алматы из гор?

Вопрос был новый, неудобный, и он не знал на него ответа.

К лету шаньги стали его мучить.

Не сами шаньги — они были прекрасны, — а то, что он не мог предложить Чокану ничего другого. Чокан приходил, садился на сундук, Филиппьевна ставила на стол самовар и блюдо с шаньгами, — и Потанину становилось стыдно. Стыдно за низкий потолок, за окна вровень с землёй, за сундуки, покрытые тюменскими полозами, за запах кислой капусты из избы, за Оню на печке. Чокан никогда ничего не говорил, — наоборот, ел шаньги с аппетитом и хвалил хозяйку по-киргизски и по-французски, — но Потанину казалось, что он смеётся. Про себя. Как над тем молодым человеком, что искал в Омске Теккеря.

Это было глупо. Он понимал, что это глупо. Но поделать ничего не мог.

И в июне он съехал от Филиппьевны.

Он нашёл новенький домик на соседней улице, только что выстроенный каким-то писарем войскового правления, который, как говорили, «заправился» — то есть разбогател на казённых подрядах. Писарь сдавал комнату за шесть рублей со столом — вдвое дороже, чем у Фирсыча. Но комната была светлая, окна на юг, потолок высокий, вместо сундуков — стулья, столики под вязаными скатерками, на стене — зеркало в раме и литография «Взятие Варшавы». К чаю подавали французскую булку. На ужин — варёный язык.

Потанин сидел в своей новой комнате, ел язык, пил чай с французской булкой и чувствовал себя человеком из общества. Если Чокан придет вечером и засидится — не стыдно. Можно предложить и чай, и закуску, и никакие сибирские шаньги его не скомпрометируют.

Чокан приехал. Похвалил комнату. Съел булку. Посмотрел на «Взятие Варшавы» и сказал: «Паскевич похож на моего дядю — тот тоже вечно что-нибудь берёт». И уехал.

А казачьи офицеры перестали ходить.

Сначала пришли раз — Пирожков, Чукреев и Усов, втроём. Сели, огляделись — на зеркало, на скатерки, на «Взятие Варшавы» — как-то притихли. Хозяйка подала к чаю булку — одну, французскую, на тарелочке. Булку разрезали на четыре части. Съели. Хозяйка больше не несла — она не считала себя обязанной подавать больше одной булки. Потанин мог бы послать за второй, но тогда вышел бы из бюджета. Посидели. Поговорили. Как-то не пелось. Пирожков даже гитару не взял. Ушли рано.

Потом не пришли совсем. Неделю, другую, третью.

Потанин сидел вечерами один, в светлой комнате с высоким потолком, читал Гейне со словарём и ел язык. Язык был превосходный. Но почему-то не лез в горло.

А в начале июля, в воскресенье, он сидел за письменным столом у окна — окно здесь было высокое, как полагается, и видно из него было не одни сапоги, а всю улицу целиком, — и вдруг увидел: к дому подъезжает кавалькада. Казачьи офицеры, человек восемь, верхом, при полной форме, при шашках, — впереди Пирожков на гнедом жеребце, с лицом торжественным и мрачным, как на похоронах.

Кавалькада остановилась прямо перед окном. Выстроилась в линию. Потанин распахнул форточку.

— Сократ! Господа! Заходите! Я сейчас...

Никто ему не ответил. Пирожков молча, не глядя на него, подъехал вплотную к окну, вынул из-за обшлага письмо — сложенное треугольником, запечатанное хлебным мякишем — и, наклонившись с седла, протянул в форточку. Потом выпрямился, отдал честь — и вся кавалькада, разом развернувшись, ускочила в карьер, подняв пыль до самых крыш.

Потанин развернул письмо. Оно было написано крупным, корявым, старательным почерком Чукреева и подписано восемью фамилиями.

«Милостивый государь Григорий Николаевич! Мы, нижеподписавшиеся, офицеры Сибирского казачьего войска, честь имеем донести, что с тех пор, как Вы изволили переехать на французскую булку, мы отощали и пришли в совершенное изнеможение. Чай без шаньги есть вода, а французская булка, разрезанная на четыре части, есть насмешка над человеческим естеством. У Филиппьевны же какая благодать! Она даёт шаньги до отвала. А посему всепочернейше просим Вас вернуться к Филиппьевне, в противном же случае мы будем вынуждены исключить Вас из числа сибирских казаков и записать в омские аристократы, о чём и уведомить Вашего батюшку. С совершенным почтением и голодным брюхом...»

Ниже стояли подписи, а ещё ниже, рукой Пирожкова, был нарисован кукиш и приписано: «Это — французской булке».

Потанин стоял у окна с письмом в руках и хохотал так, что прибежала хозяйка — узнать, не случилось ли чего.

Через три дня он вернулся к Филиппьевне.

Она встретила его на крыльце, в чистом переднике, с блюдом шанег, покрытым полотенцем. Ничего не сказала. Только посмотрела — с укором и с жалостью, как на блудного сына, — и посторонилась, пропуская в горницу. Сундуки стояли на месте. Полозы лежали на сундуках. Оня сидела на печи и болтала босыми ногами.

Вечером пришли все — восемь человек. Пели до полуночи. Пирожков играл на гитаре. Шаньги кончились трижды, и трижды Филиппьевна приносила новые.

А когда пришёл Чокан и уселся на сундук, Потанин налил ему чаю, поставил перед ним блюдо с шаньгами и сказал — спокойно, без всякого смущения:

— Ешь. Это лучше французской булки.

Чокан посмотрел на него внимательно. Потом взял шаньгу, откусил и сказал:

— Знаю. Я давно хотел тебе сказать. Но ты бы не поверил. — Он помолчал. — Я, брат, тоже всю жизнь французские булки ем. Только мне вернуться некуда.

Ещё весной Чокан нашёл ему работу.

— Слушай, — сказал он однажды, — мне тут Гутковский навязал одно дело. Полковник Гутковский, знаешь его? Начальник Пограничного управления сибирскими киргизами. Умнейший человек, поляк, учёный, только педант страшный. Он пишет историю Средней Азии. И ему нужны выписки из областного архива — всё, что касается джунгар, киргизов, торговли с Туркестаном. Начиная с самых старых дел. Он поручил мне. А мне — некогда. — Чокан развёл руками. — Балы, дежурства, обеды... И, по правде сказать, скучно мне в архиве. Я там на второй день чуть не умер от пыли. Возьми, а? Ты любишь такое. Ты будешь выписывать, а я — отвозить Гутковскому. Он и не узнает, кто выписывал.

— А если узнает?

— Ну и что? Скажу, что ты — мой секретарь. — Чокан засмеялся. — Казачий хорунжий — секретарь у киргиза. Вот будет анекдот для омского общества.

Архив помещался в подвале старого казённого здания у крепости — длинном, низком, сводчатом, пахнущем сыростью, мышами и тлением. Дела лежали на полках, в сундуках, в рогожных кулях, а то и просто на полу, кучами, перевязанные бечёвкой. Старый архивариус,

отставной канцелярист с трясущейся головой, отпер ему дверь, показал, где что, вручил огарок свечи — и ушёл, сказав, что «наверху светлее».

Потанин остался один.

Он начал с самого старого — с дел военно-походной канцелярии генерала Киндермана, начальника линии в середине прошлого века. Листы были толстые, жёлтые, ломкие, исписанные выцветшими рыжими чернилами, старинным скорописным почерком, с титлами, с завитками, с ятями. Читать было трудно — первые дни он разбирал по странице в час. Потом привык. И скоро уже не замечал ни сырости, ни мышей, ни времени. Он сидел в подвале с утра до вечера — все свободные от службы дни, — и наверху, в мире, шли месяцы, а здесь, внизу, шли века.

Это была история, которую никто не читал. Донесения пограничных начальников. Рапорты сотников о «немирных киргизах». Переписка с джунгарскими зайсанами — о беглых, об угнанном скоте, о торговле. Описи товаров, привезённых из Кашгара и Яркенда: «камки китайской десять кусков, чаю кирпичного двести, ревеню два пуда». Допросы пленных. Расспросные речи купцов, вернувшихся из Туркестана. Это была жизнь — живая, пёстрая, шумная, — засушенная в бумаге, как цветок в гербарии.

Он сидел над ней и видел её. Видел джунгарских послов в собольих шапках, приезжающих к коменданту Ямышевской крепости — той самой, где он родился. Видел караваны бухарских купцов на Иртыше. Видел соляные озёра, которые тогда ещё были ничьи. Видел, как вдоль Иртыша, одна за другой, вырастают крепости — Омская, Ямышевская, Семипалатинская, Усть-Каменогорская, — цепь, протянутая через степь, как шнур через шнуровую книгу.

Гутковскому нужны были дела до тысяча семьсот пятьдесят пятого года. Но Потанин не удержался и развязал следующие связки — пятьдесят шестого, пятьдесят седьмого, пятьдесят восьмого годов прошлого века. И там нашёл Амурсану.

Он узнал это имя не сразу — оно было написано по-разному: Амурсана, Амурсанай, Амур-Сана, — но узнал. Он слышал его два года назад, в Кульдже, у костра, от старого калмыка, который рассказывал легенду о последнем хане джунгар. О том, как Амурсана сначала позвал китайцев против своих врагов, а потом восстал против китайцев. О том, как китайский император прислал войско, и войско убивало всех — мужчин, женщин, детей, стариков, — и Джунгария опустела, и на её пастбищах выросла трава в человеческий рост, и не было никого, кто бы её косил. О том, как Амурсана бежал на север, к русским, и умер — а может, не умер, а ушёл в горы и однажды вернётся. «Запиши, — сказал тогда старый калмык, — запиши, что мы были».

Теперь, в подвале омского архива, Потанин держал в руках бумаги, в которых всё это было записано. Без легенды. Сухо. Канцелярским языком.

«Сего июля 28 дня прибыл в Семипалатинскую крепость беглый зенгорский владелец Амурсана с малым числом людей, в крайнем изнурении...»

«...онный Амурсана, будучи отправлен в Тобольск, заболел оспой и сентября 21 дня волею Божиею умре...»

«...китайский двор требует выдачи тела вышеозначенного Амурсаны для учинения над оным казни по их обычаю...»

«...тело ононого Амурсаны, положенное в гроб и засыпанное известью, предъявлено китайским пограничным чиновникам на Кяхте, дабы они в смерти его удостоверились, и паки предано земле...»

Потанин читал и перечитывал. Огарок трещал. Мыши шуршали в углу.

Значит — правда. Последний хан джунгар умер от оспы в Тобольске, в чужом городе, среди чужих людей. И даже мёртвый не получил покоя: его выкапывали, возили через всю Сибирь в гробу, засыпанном известью, показывали китайцам, как показывают на ярмарке дикого зверя, — смотрите, вот он, удостоверьтесь, — и закапывали снова.

А дальше были другие бумаги — о беглецах. Джунгары шли к русской линии сотнями, тысячами — спасаясь от китайских войск, от голода, от оспы. «Пришло к Усть-Каменогорской крепости калмыков мужеска и женска полу сто сорок семь душ, весьма голодны и наги...» «...умре в пути от оспы и голода до трёхсот...» «...малолетние калмычата, оставшиеся без родителей, розданы казакам в услужение...»

Розданы в услужение. Потанин вспомнил Авдотью — калмычку на кухне у тётки, с разбитой головой. Вспомнил Чалкова: «Куплен у киргиза мальчик, лет десяти, за три рубля серебром и два кирпича чаю. Живая душа, ваше благородие. А в книге — как вязанка розог».

Он сидел в подвале до тех пор, пока не догорела свеча. Потом сидел в темноте.

Целый народ, думал он. Целый народ — со своими ханами, зайсанами, ламами, сказителями, со своими песнями и легендами, со своими пастбищами, со своей историей длиной в тысячу лет, — исчез. И всё, что от него осталось, — это несколько связок бумаги в подвале, прошитых шнуром. «Сто сорок семь душ». «Умре до трёхсот». «Розданы в услужение». Цифры. Графы. Итоги.

Империи не помнят народов, думал он. Империи их считают. Как Мессарош считал полковую кассу. Как я считал удары. Раз, два, три — сорок семь.

Он вылез из подвала в синие летние сумерки, к Иртышу. Над рекой летали стрижи. На том берегу, в степи, курился дымок — киргизский аул. Потанин стоял на берегу и думал о старом калмыке в Кульдже: «Запиши, что мы были».

Вечером он начал новую тетрадь. На первой странице написал: «Выписки из дел военно-походной канцелярии генерала Киндермана. 1645–1755». А ниже, мелко, для себя, приписал: «Они были».

Выписки он отдавал Чокану — аккуратные, переписанные набело, с указанием дел и листов. Чокан отвозил их Гутковскому. Гутковский был доволен и ничего не знал.

Только однажды Чокан, листая очередную тетрадь, наткнулся на страницу об Амурсане. Прочёл. Долго молчал. Потом сказал, не поднимая глаз:

— Мой прадед, хан Аблай, в те же годы присягнул на верность русской императрице. Чтобы китайцы не пришли и к нам. — Он закрыл тетрадь. — Знаешь, Потанин, если бы он не присягнул — я бы, может, лежал сейчас в такой же связке бумаги. «Киргизов мужеска полу — столько-то. Умре от оспы — столько-то». — Он вдруг засмеялся — коротко, невесело. — А так я — адъютант генерал-губернатора. Ношу эполеты. Ем французские булки. Великая вещь — вовремя присягнуть.

Осенью контрольное отделение послало его сверять книги штабной чертёжной — бумага александрийская, тушь китайская, карандаши, циркули, мензулы, холст для палаток съёмочных партий.

Работа была ещё скучнее шнуровых книг. Но в чертёжной, среди огромных столов, на которых лежали недорисованные карты — с пустыми пятнами, с пунктирами, оборванными на полпути, с надписями «не обследовано», — он приобрёл нового знакомого.

Его звали Копейкин. Это был пехотный прапорщик лет сорока, долговязый, сутулый, с длинным добрым лицом, изрытым оспой, и с огромными красными руками, которые не знали, куда себя деть. Офицерский чин он выслужил после двенадцати лет солдатской службы рядовым топографом. Числился он в линейном батальоне, но служил в чертёжной при штабе — потому что был лучшим съёмщиком во всей Западной Сибири.

Говорил он медленно, с запинками, глядя в сторону, — как говорят люди, которые больше привыкли молчать. Но когда речь заходила о съёмке, его будто подменяли: глаза загорались, руки переставали мешать и начинали рисовать в воздухе реки, хребты, болота, — и речь лилась, как вода.

Он стал приходить к Потанину по вечерам — к Филиппьевне, на шаньги. Садился на сундук, складывался пополам, как перочинный ножик, и рассказывал.

Рассказывал он об одном: о Васюганском болоте.

Двенадцать лет назад его партия снимала пространство между Иртышом и Обью. Шли от Тары на север, по тайге, а потом тайга кончилась, и началось болото. Копейкин сказал «болото» — и замолчал, будто не мог подобрать слова.

— Вы, хорунжий, болот не видали, — сказал он наконец. — То есть видали, конечно. Займища видали, согры. Это — не то. Это — лужи. А Васюган... — Он развёл свои огромные руки. — Васюган — это море. Только из мха. Идёшь неделю — болото. Две — болото. Месяц — болото. Ни деревца, ни кустика. Ровно, как стол. Мох — рыжий, зелёный, красный, белый. Под мхом — вода. Ступишь — качается. Вся земля качается, как палуба. Мы шли и качались. А посреди — озёра. Круглые, чёрные, как глаза. И гладкие — ни волны. Тишина. Птиц нет. Только комар. Комар — тучей, столбом, до неба. Лошади падали от комара. Люди с ума сходили — один наш солдатик ночью встал и пошёл в болото, голый, прямо, не оглядываясь, — и мы его больше не видели.

Он помолчал.

— А проводник у нас был — остяк. Старик. Звали его Пётр — крещёный, — а по-ихнему как-то иначе, я не выговарю. Он нас по болоту и вёл. Знал тропы — по гривам, по островкам, по кочкам, — где можно пройти, а где засосёт. Без него мы бы все там остались. И вот он мне однажды, ночью, у костра, рассказал, откуда это болото взялось.

— Расскажите, — попросил Потанин и придвинул к себе тетрадь.

Копейкин рассказывал — медленно, запинаясь, стараясь вспомнить слова старика.

— Он говорил: сначала земли не было. Была одна вода. Везде — вода, вода, без конца. И над водой летал Верхний Бог — Торум, по-ихнему. Летал и думал: где же людям жить? И позвал он птиц. Позвал гагару. Гагара — это птица такая, чёрная, с красным глазом, она ныряет глубоко. И сказал: нырни, принеси мне со дна земли. Гагара нырнула. Долго её не было — день, два, семь. Вынырнула — пустая. Не достала. Нырнула опять. Опять пустая. В третий раз нырнула — и вынырнула мёртвая. А в клюве у неё — комочек ила. Маленький, с горошину. И Торум взял этот комочек и положил на воду. И комочек начал расти. Рос, рос, рос — и стал землёй. Горы, леса, степи — всё из того комочка.

Он помолчал.

— А Васюган, говорил старик, — это то место, где земля ещё не затвердела. Где она ещё растёт. Потому и качается. Это — сырая земля, первая, из клюва гагары. Её Торум не успел досушить. И там, говорил, нельзя шуметь, нельзя стрелять, нельзя рубить. Потому что земля там ещё живая, ещё маленькая, ещё слабая — как младенец. Её можно испугать.

Копейкин замолчал. За окном, в избе, Филиппьевна гремела ухватами. На печи сопела Оня.

— А солдатик, который ушёл? — тихо спросил Потанин.

— Старик сказал — его земля позвала. Он ей понравился. Он был тихий, никогда не шумел. — Копейкин вздохнул. — Мы его искали три дня. Старик не искал. Сказал — не надо. Сказал — он теперь там, где земля растёт. Он теперь сам — земля.

Потанин записывал. Рука у него слегка дрожала. Он думал о Тау-ане, Матери гор, которая прядёт воду за водопадом на Иссыке. Об Умай, которая держала его в ладонях, когда он лежал в снегу. О хозяине тайги, с которым разговаривал Иванов. О том, что у каждого народа Сибири есть свой рассказ о том, как появилась земля, — и что эти рассказы никто не записывает. Миссионеры их запрещают. Чиновники их не слышат. Учёные — немногие, Паллас, Георги, — записывают, как курьёз. А старики умирают. И с каждым стариком умирает кусочек мира — такого же древнего и такого же хрупкого, как сырая земля Васюгана.

Через месяц он сделал из рассказов Копейкина статью — о Васюганском болоте, о съёмке, о его природе и о его людях — и отослал в «Тобольские губернские ведомости», в неофициальную часть. Статью напечатали. Подписана она была одной буквой: «Д.».

Почему «Д.», он и сам не мог потом объяснить. Может быть — «Дмитрий», в честь дяди-коннозаводчика, у которого в детстве он смотрел на табуны. А может — «Друг». Или — «Дилетант». Он не хотел ставить своё имя. Его имя было записано в шнуровых книгах войскового правления. А «Д.» был свободен.

Копейкин, прочтя статью, долго держал газету в своих огромных руках, перечитывал, шевеля губами. Потом сказал:

— Хорошо написали, хорунжий. Лучше, чем я рассказал.

— Это ваше, — сказал Потанин. — Я только записал.

— Нет, — серьёзно сказал Копейкин. — Я только видел. А записать — это другое. Это как съёмка. Пока не снял на бумагу — болота как будто нет. Его каждый видит по-своему, а потом забывает. А сняли — и вот оно. На карте. Навсегда. — Он сложил газету и бережно спрятал за пазуху. — Вы, хорунжий, тоже съёмщик. Только не местности. Людей.

Ещё Копейкин приносил ему письма своего друга — офицера, которого перевели в Россию и который плывал по Волге на пароходе. Письма были длинные, восторженные, полные описаний: пароходы, пристани, ярмарки, баржи, гружённые хлебом, рыбой, лесом, — сотни судов на реке, дым, гудки, толпы на пристанях, Нижний, Казань, Самара, Саратов, Астрахань.

Они читали эти письма вдвоём, вслух, по вечерам, — и вздыхали. Потом выходили на берег Иртыша. Иртыш был пуст. Широкий, мутный, медленный, — он тёк мимо Омска, и по нему за всё лето проползала одна-единственная коноводка — баржа, которую тянули бечевой лошади, бредущие по берегу, — гружённая солью с Ямышевского озера.

— С моей родины соль, — сказал Потанин, глядя, как коноводка ползёт мимо, медленно, как черепаха, и лошади на берегу понуро тянут бечеву. — Я в Ямышевской родился. Там озеро солёное. Его ещё при Петре нашли.

— Одна баржа за лето, — покачал головой Копейкин. — А на Волге — тысяча за день. Почему так, хорунжий? Река не хуже. Земля не хуже. Люди не хуже. Почему?

Потанин не ответил. Он не знал. Он только смотрел на коноводку и думал: вот она, Сибирь. Одна баржа соли за лето. Пустая река. Цепь крепостей вдоль берега. Архив, в котором засыхают народы. Шнуровые книги, в которых врут. И генерал-губернатор, сочиняющий новую религию.

Но почему — он не знал. Ответ придёт позже. Много позже. И он будет стоять ему свободы.

В сентябре в Омск пришёл манифест.

Новый государь, Александр Николаевич, короновался в Москве, в Успенском соборе, и по случаю коронации объявил милости. Прощались недоимки. Сокращались сроки. Сосланным полякам разрешалось вернуться. Декабристам — тем немногим, кто ещё был жив, — возвращались права и дозволялось жить где угодно. А петрашевцам, отбывшим каторгу, возвращались дворянство и права состояния.

Город гудел. В соборе служили благодарственный молебен. На крепостной стене палили из пушек. Вечером зажгли иллюминацию — плошки с салом вдоль улиц, бумажные фонари на балконах, а над домом генерал-губернатора — огромный щит с вензелем «А II» в лавровом венке, подсвеченный сзади свечами. Гасфорд дал бал. Чокан на балу танцевал мазурку с генеральшей.

На следующий день он пришёл к Потанину — непривычно серьёзный, без усмешки.

— Пойдём со мной сегодня вечером, — сказал он. — К одному человеку.

— К кому?

— К Дурову. Сергею Фёдоровичу. Петрашевцу. — Чокан помолчал. — Он скоро уезжает. Манифест. Ему вернули права — он теперь опять дворянин, а не каторжник. Может ехать в Россию. Я хочу, чтобы ты его увидел, пока он здесь.

— Зачем?

Чокан посмотрел на него долгим взглядом.

— Затем, что ты полгода споришь со мной о Николае. А я полгода проигрываю. — Он усмехнулся. — Мне нужен союзник посильнее.

Дом Дурова стоял на Мокром форштадте, у самого въезда с моста, рядом с огромным неуклюжим домом купчихи Корабейниковой, который Чокан называл «Вестминстерским аббатством». Это был маленький деревянный домик в три окна, с крылечком, с палисадником, в котором росли подсолнухи. Ставни были закрыты. И в каждой ставне были вырезаны отверстия — в форме сердечек.

Потанин остановился у калитки и смотрел на эти сердечки. Из них сочился жёлтый свет — свечей, лампы, — и казалось, что у дома много маленьких светящихся сердец.

— Хозяйская выдумка, — сказал Чокан, проследив его взгляд. — Прежний хозяин, говорят, был сентиментален. А Дуров оставил. Говорит — пусть. В остроге четыре года не видел ни одного сердечка, кроме нарисованных на тузах.

Они поднялись на крыльцо. Чокан постучал.

Дверь открыл человек, которого Потанин в первую минуту принял за старика.

Он был седой — совершенно седой, с белой головой и белой бородой, — сгорбленный, с палкой. Он стоял, тяжело опираясь на неё, и было видно, что каждый шаг даётся ему с трудом: ноги его, обутые в войлочные туфли, распухли так, что едва помещались в них. Лицо у него было измождённое, жёлтое, исчерченное морщинами. Но когда он улыбнулся, увидев Чокана, — лицо вдруг помолодело на двадцать лет, и Потанин понял, что этому человеку не больше сорока.

— Чокан Чингисович! — сказал он. Голос у него был неожиданно звучный, певучий, поставленный, — голос человека, привыкшего читать стихи вслух. — Ваше сиятельство! Внук хана! Милости прошу. А это кто с вами?

— Это мой друг, — сказал Чокан. — Хорунжий Потанин. Григорий Николаевич. Казак. Мы вместе в корпусе учились. Он верноподданный, Сергей Фёдорович. Ярый. Плакал, когда умер Николай.

Дуров перевёл взгляд на Потанина. Глаза у него были большие, тёмные, очень внимательные.

— Плакали? — переспросил он. — Правда?

Потанин покраснел.

— Правда.

Дуров долго смотрел на него — без насмешки, без осуждения, с каким-то странным, печальным интересом. Потом посторонился.

— Входите, — сказал он. — Входите, хорунжий. Я тоже когда-то плакал. На похоронах Александра Павловича. Мне было девять лет. — Он улыбнулся. — Входите. Я вам расскажу, о чём плачу теперь.

В доме было две комнаты — маленькие, тесные, заставленные книгами. Книги стояли на полках, лежали на столе, на стульях, на подоконнике, на полу — стопками, грудками, — французские, немецкие, английские, русские. На стене висела гитара с выцветшим бантом. На столе стояла лампа под зелёным абажуром, чернильница, лежали листы, исписанные мелким красивым почерком, — стихи. Пахло табаком, воском, лекарствами и старой бумагой.

Дуров усадил гостей, сам сел в кресло у стола — осторожно, с гримасой боли, вытянув перед собой распухшие ноги на скамеечку. Достал трубку. Набил. Закурил.

— Ревматизм, — сказал он, перехватив взгляд Потанина. — Осторожный подарок. Четыре года в кандалах, на кирпичном заводе, на сплаве брёвен по Иртышу — в ледяной воде по пояс. Ноги сгнили. Доктор говорит — ничего, поправится. Врёт. Не поправится. — Он затыкнулся. — Впрочем, неважно. Голова цела. Руки целы — писать могу. Перевожу вот. Виктора Гюго. «Les Châtiments» — «Возмездия». Это стихи против Наполеона Третьего. Гюго тоже изгнанник —

сидит на острове в Ла-Манше и пишет оттуда проклятия императору. — Он улыбнулся. — Нас, изгнанников, много, хорунжий. Целое братство. Гюго на Гернси. Герцен в Лондоне. Гейне умер в Париже нынешней зимой — восемь лет пролежал в своей «матрачной могиле». Мицкевич умер в Константинополе — в прошлом году. А я — в Омске.

— Гейне — мне Чокан давал, — сказал Потанин.

— Чокан Чингисович всем даёт Гейне, — засмеялся Дуров. — Это его способ обращаться в веру. Сначала Гейне, потом я. — Он посмотрел на Чокана. — Это ведь вы его ко мне привели — обращаться?

— Я, — честно сказал Чокан. — Сам не справляюсь.

— Ну что ж. — Дуров положил трубку на стол. — Попробуем.

Он помолчал. За окном, в щели ставен, в сердечках, догорал вечер. Лампа под зелёным абажуром гудела тихо, как пчела.

— Вы знаете, хорунжий, за что нас судили? — спросил Дуров.

— Говорили — заговор. Против государя.

— Заговор. — Дуров усмехнулся. — Мы собирались по пятницам у Петрашевского, в Коломне, в Петербурге. Пили чай. Читали Фурье. Спорили — о фаланстерах, о судах присяжных, о крепостном праве, о свободе печати. Читали письмо Белинского к Гоголю — вот самое страшное наше преступление. Фёдор его читал вслух — Достоевский. Лучше всех читал. — Он помолчал. — Двадцать молодых людей, которые пили чай и говорили. Ни оружия, ни типографии, ни плана. Одни разговоры. А нас — к смерти.

— К смерти? — тихо переспросил Потанин.

— К расстрелянию. Всех. Двадцать один человек.

Двадцать второго декабря тысяча восемьсот сорок девятого года, — рассказывал Дуров, — их разбудили до рассвета и вывели из казематов Петропавловской крепости. Восемь месяцев они сидели поодиночке, не видя друг друга. Теперь их посадили в кареты — каждого в отдельную, с жандармом — и повезли куда-то через весь город. Окна карет были заморожены. Никто не знал, куда везут.

Привезли на Семёновский плац.

Было очень холодно — двадцать градусов мороза. Только что взошло солнце — красное, низкое, зимнее. Плац был белый, огромный, весь в снегу. Посредине стоял эшафот — деревянный помост, обтянутый чёрным сукном. Рядом — три столба, врытые в землю. Вокруг — каре войск. Позади войск — толпа. Народ. Много народу.

Их вывели из карет. Они впервые за восемь месяцев увидели друг друга — обросшие, бледные, исхудавшие, в тех же сюртуках и шинелях, в которых их взяли весной. Кинулись обниматься. Их растащили. Повели на эшафот. Прочли приговор — долго, на морозе, монотонно, — и в конце: «...подвергнуть смертной казни расстрелянием».

Потом на них надели саваны — длинные белые рубахи с капюшонами и длинными рукавами. Священник с крестом обошёл их — исповедоваться. Исповедался только один. Остальные поцеловали крест.

Потом взяли троих — первую тройку. Петрашевского, Момбелли и Григорьева. Свели с эшафота, подвели к столбам, привязали. Надвинули на глаза капюшоны. Перед каждым столбом встало по взводу солдат — шестнадцать человек — с ружьями.

Остальные стояли на эшафоте. Ждали своей очереди.

— Я стоял во второй тройке, — сказал Дуров. — Рядом с Фёдором. Он был бледен, как снег, но спокоен. Удивительно спокоен. Он повернулся к Спешневу — тот стоял по другую сторону — и сказал по-французски: «Nous serons avec le Christ». Мы будем с Христом. А Спешнев усмехнулся и ответил: «Un peu de poussière». Горсточкой праха. — Дуров замолчал. Потом добавил: — Вот так мы стояли. Один верил, другой нет. А смерть у обоих была одна.

Он взял трубку. Она погасла. Он не стал её раскуривать.

— Скомандовали: «На прицел!» Солдаты подняли ружья. Шестнадцать стволов — на каждого из троих. И вот тут, хорунжий, — вот тут случилось то, ради чего я вам всё это рассказываю.

Николай Петрович Григорьев был поручик лейб-гвардии конно-гренадерского полка. Молодой, лет двадцати шести. Тихий, мягкий, застенчивый. Он написал «Солдатскую беседу» — маленькую рукописную брошюрку, сказку для солдат, простым языком: о том, что солдат — тоже человек, что его нельзя бить, что двадцать пять лет службы — это каторга, что царь живёт в золоте, а солдат — в казарме. Брошюрку он прочёл однажды у Петрашевского. Распространить не успел. Даже переписать набело не успел. Этого хватило.

Он стоял у столба, привязанный, с капюшоном на глазах. Скомандовали «на прицел». И в эту минуту — то ли от ветра, то ли капюшон был плохо надет, то ли сам он дёрнул головой, — капюшон сполз. Упал на плечи.

И Григорьев увидел, кто в него целится.

Это были солдаты его роты. Его собственной роты конно-гренадерского полка. Он узнал их — каждого. Вот Митрохин, рябой, которого он учил грамоте. Вот Сенька Белов, весельчак, плясун, которому он давал деньги на побывку к матери. Вот Кузьмич, старик, бывший под Бородином. Они стояли в шеренге, с ружьями у плеча, и целились ему в грудь. А командовал ими фельдфебель Аникеев — тот самый Аникеев, которого он любил больше всех в роте, с которым ночами говорил о жизни, который называл его «сынок», — и который сейчас стоял сбоку шеренги, с поднятой рукой, и должен был эту руку опустить. И крикнуть «пли».

Его выбрали нарочно. Кто-то там, наверху, придумал это нарочно. Чтобы те, о ком он писал свою «Солдатскую беседу», — расстреляли его. Своими руками. По приказу любимого человека.

— Он смотрел на них, — сказал Дуров, — секунду. Может быть, две. И мы видели с эшафота его лицо. Я никогда не забуду этого лица. Оно было не испуганное. Не злое. Оно было... удивлённое. Как у ребёнка, которого ударила мать.

Дуров помолчал.

— А потом ударил барабан — отбой. Ружья опустились. На плац прискакал флигель-адъютант с пакетом. Прочли новый приказ: государь император милует. Смертная казнь заменяется каторгой. Всё это было заранее решено — и казнь, и помилование. Николай сам сочинил этот спектакль. До последней мелочи. Сам назначил, когда скакать флигель-адъютанту, когда бить отбой, когда читать помилование. Он хотел, чтобы мы испытали смерть — и поблагодарили его за жизнь. Он хотел, чтобы мы его полюбили. Как отца.

Он снова замолчал. В сердечках ставен совсем стемнело. Лампа гудела.

— Когда отвязали Григорьева от столба, — тихо сказал Дуров, — он был уже сумасшедший. Совсем. Навсегда. Он больше никого не узнавал. Его так и отправили в Сибирь — помешанного. На каторгу. Сумасшедшего — на каторгу. В кандалах. Пешком. — Он посмотрел на Потанина. — Вы понимаете, хорунжий? Вот это — отец. Вот это — порядок.

Потанин сидел, вцепившись руками в колени, и не мог пошевелиться.

Он видел это. Он видел Семёновский плац, белый снег, красное солнце, три столба, сползший капюшон. Видел шеренгу солдат с ружьями. Видел фельдфебеля с поднятой рукой.

И он вдруг понял, кого он видит.

Он видел себя. Себя — на семипалатинском плацу, у дубовой скамьи, в ветре, в песке. С поднятой — нет, не рукой — голосом. «Раз. Два. Три». Он был этим фельдфебелем. Он был тем, кто стоит сбоку шеренги и считает. Тем, кого любят. Тем, кто должен опустить руку.

Чалков смотрел на него снизу вверх со скамьи — и улыбался. «Считайте громче, ваше благородие. Чтоб я не сбился».

А что, если бы Чалков сошёл с ума? Что, если бы он посмотрел на того, кто считает, — и сошёл с ума, как Григорьев? Тогда — что?

«Страшнее всего — тот, кто считает», — сказал ему тогда солдат на берегу Иртыша. Худой, сутулый, с высоким лбом и горящими глазами. Бывший каторжник. Только что из Омского острога.

Потанин поднял голову.

— Сергей Фёдорович, — сказал он хрипло. — Вы сказали — Фёдор. Достоевский. Он стоял рядом с вами. А где он теперь?

— Фёдор? — Дуров удивлённо поднял брови. — Отбыл каторгу вместе со мной. Здесь, в Омском остроге. Четыре года. Потом его отдали в солдаты — рядовым, в линейный батальон, в Семипалатинск. Там и тянет лямку. Говорят, влюбился там в какую-то чиновницу, бедный. Говорят, пишет опять. — Он вдруг невесело усмехнулся. — Мы с ним в остроге почти не разговаривали, хорунжий. Четыре года — рядом, на одних нарах, в одних кандалах, — и почти не разговаривали. Поссорились ещё в Петербурге, из-за пустяка, из-за фаланстеров каких-то. Глупо. Теперь жалею. — Он посмотрел на Потанина внимательнее. — А вы что, его знаете?

Потанин молчал. Перед ним стоял туман над Иртышом, и в тумане — сутулая фигура в серой шинели, уходящая вверх по откосу. «Вы, может, читали — «Бедные люди». Давно. Ещё до каторги».

— Нет, — сказал он. — Не знаю. Показалось.

Он сам не понимал, почему сказал «нет». Может быть, потому, что тот разговор на берегу был его — только его, как заноза, — и он не хотел ни с кем им делиться. Может быть, потому, что ему было стыдно — за то, что не узнал тогда, не спросил, не догнал. А может быть, он просто ещё не был готов поверить, что тот худой солдат, сказавший ему самые важные слова в его жизни, и был — тот самый Фёдор, который читал вслух письмо Белинского и стоял на эшафоте в белом саване.

Он поверит потом. Много позже. Когда прочтёт «Записки из Мёртвого дома» — и узнает в них и острог, и Иртыш, и тысяча двести сороковой удар.

— А потом, — сказал Дуров, — потом было вот что.

Он взял палку, тяжело поднялся с кресла и, хромая, подошёл к стене — к простенку между окнами, оклеенному старыми, выцветшими голубыми обоями с мелким цветочком.

— Два года назад, — сказал он, — когда я вышел из острога и снял этот домик, через Омск везли Григорьева. Ему тоже кончился срок — ему, сумасшедшему, кончился срок каторги! — и его отправляли в Россию, к родным. Под конвоем. Конвой остановился в Омске на два дня. И я выпросил, чтобы егопустили ко мне — переночевать. Я думал — может, узнает. Может, вспомнит. Может, хоть слово скажет.

Он помолчал, опершись о палку.

— Он не узнал меня. Он никого не узнавал. Он сидел вот здесь, на этом стуле, у этой стены, — сутки, больше суток, не ел, не спал, не говорил. Только смотрел в стену. А потом взял со стола вилку. Простую столовую вилку. И упёр её зубьями в стену. Вот сюда. И начал вертеть. Медленно. Упорно. Час. Другой. Третий. Сверлил. И бормотал. Я наклонился — расслышать. Он бормотал одно и то же, без конца, шёпотом:

«Сердце. Сердце. Сердце. Его сердце. Николая. Я до него доберусь. Я до него досверлюсь. Вот оно. Вот. Сейчас. Сердце».

Дуров замолчал.

— Он сверлил стену и думал, что сверлит сердце царя, — сказал он наконец. — Всю ночь. До утра. А утром пришёл конвой и увёл его. Он ушёл с вилкой в руке. Он её так и не выпустил.

Он поднял палку и указал на стену.

— Вот здесь.

Потанин встал. Подошёл. Наклонился.

На выцветших голубых обоях, на уровне груди сидящего человека, было отверстие. Маленькое, круглое, глубокое, с рваными краями, с осыпавшейся по краям штукатуркой.

Сквозь него виднелось потемневшее дерево бревна — и в бревне тоже была ямка. Неглубокая. С палец.

— Я не стал замазывать, — сказал Дуров. — Хозяин ругался. Я заплатил ему вперёд за год, чтоб не трогал. — Он посмотрел на отверстие. — Это — памятник, хорунжий. Единственный памятник Николаю Павловичу, который мне нравится.

Потанин стоял перед стеной. Потом медленно, сам не зная зачем, поднял руку и коснулся отверстия пальцем. Штукатурка была холодная, шершавая. Края — острые.

И в эту минуту что-то в нём сломалось.

Тихо. Без звука. Как ломается лёд на реке весной — не трещит, не грохочет, а просто вдруг перестаёт держать. Гвоздь, вбитый по самую шляпку, — царь, портрет в золотой раме, холодные голубые глаза, «Боже, царя храни» каждое утро восемь лет подряд, слёзы в Антоньевке над бумагой с чёрной каймой, — вышел. Не выдернули его, нет. Высверлили. Вилкой. Сумасшедший поручик за одну ночь в маленьком домике с сердечками на ставнях высверлил то, чего Чокан не мог выковырять полгода.

Потанин стоял у стены и чувствовал на месте гвоздя пустоту. Дыру. Круглую, глубокую, с рваными краями.

Потом они ещё долго сидели — до полуночи, до первых петухов.

Дуров рассказывал о Николае — не о спектакле на Семёновском плацу, а о другом. О том, каким его видели те, кто видел близко. О его голосе — громовом, металлическом, которым он отдавал команды на смотрах так, что их слышно было в самых дальних углах Марсова поля, — и которым он однажды, на балу, отчитал до слёз шестнадцатилетнюю фрейлину за неправильно приколотый бант. О его глазах — светлых, холодных, неподвижных.

— Глинка говорил — оловянные, — сказал Дуров. — Я знал Глинку — немного, бывал у него. Он не выносил этих глаз. «Не могу видеть эти оловянные глаза», — говорил. Если видел государя вдали на Невском — сворачивал в первый переулок, чтобы не встретиться. А государь не выносил его музыки. «Жизнь за царя» ещё терпел — там всё-таки царь. А на «Руслане» встал посреди третьего акта и уехал. И вся ложа за ним. Глинка в тот вечер плакал за кулисами.

Он рассказывал о том, как Николай сам читал донесения о студентах, о профессорах, о журналистах, о поэтах, — и сам ставил на полях резолюции: «В солдаты». «В крепость». «В Сибирь». «Выслать». О том, как сам, своей рукой, на деле Полежаева написал: «В солдаты, с правом выслуги» — и Полежаев так и умер солдатом в лазарете, от чахотки, не выслужив ничего. О том, как на деле Шевченко — «под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать».

— Это всё он сам, хорунжий, — говорил Дуров. — Не министры. Не генералы. Не дурные советники. Он сам. Своей рукой. Он любил это. Он любил решать судьбы. Как Бог.

Он рассказывал об остроге. О кандалах, которые не снимали ни днём ни ночью, даже в бане, даже в лазарете. О нарах, на которых спали по сто человек в одной казарме. О клопах, вшах, о вони параша. О плац-майоре Кривцове, который приходил ночью в казарму пьяный и порол спящих — за то, что спят на правом боку, а не на левом. О сплаве брёвен по Иртышу — в ледяной воде.

А потом вдруг, неожиданно, заговорил о другом.

— Но знаете, что я вам скажу, хорунжий? — сказал он, и голос у него изменился, стал мягче. — Знаете, что было самое удивительное в Сибири? Народ. Сибирский народ.

Когда нас везли по этапу из Петербурга — зимой, в кибитках, в кандалах, — нас кормили в каждой деревне. Никто не просил. Сами несли. Бабы выбегали к дороге — с шаньгами, с калачами, с молоком, с рыбой. Совали в кибитки. Крестили. Плакали. «Несчастненькие» — так они нас называли. Не «преступники», не «каторжные», не «государственные злодеи». «Несчастненькие». У них обычай такой — у сибиряков: кормить тех, кого гонят в кандалах. Не спрашивая, за что. Убийца ты, вор или — как мы — за разговоры. Всё равно. Ты в беде —

значит, тебя надо накормить. Это у них старое, ещё с тех пор, как сюда гнали раскольников, стрельцов, бунтовщиков, — вся Сибирь из ссыльных выросла.

И в остроге — то же. В Омске, по праздникам, купчихи и мещанки приносили к воротам острога калачи, пироги, деньги — для «несчастненьких». Корзинами. Мы этим жили. Мы на этом выжили.

Он помолчал.

— Я тогда понял одну вещь, хорунжий. Государство — это одно. Народ — это другое. Государство гонит в кандалах. Народ — кормит тех, кого гонят. Государство говорит: «преступник». Народ говорит: «несчастненький». Государство строит острог. Народ несёт к воротам калачи. — Он посмотрел на Потанина. — И пока это так — Россия ещё жива. Не в царе её жизнь. В бабе с калачом у дороги.

Потанин вспомнил. Слободку в Семипалатинске. Татарку с кумысом, киргиза с травами, баб, сидящих у порога с вязаньем, — вокруг выпоротого Чалкова. «Полковник этого не знает. Он думает, всё держится на приказах. А всё держится на этом».

И помочи у вдовы Сазонихи. И Иванова на соболином промысле. И Филиппьевну с её шаньгами. И кавалькаду казачьих офицеров с письмом, запечатанным хлебным мякишем.

«Не в царе её жизнь».

— Я знаю, — сказал он тихо. — Я видел.

Дуров посмотрел на него — долго, внимательно. Потом вдруг улыбнулся — той самой улыбкой, которая молодила его на двадцать лет.

— Вижу, что видели, — сказал он. — Это у вас на лице написано. — Он повернулся к Чокану. — Чокан Чингисович, ваш друг не верноподданный. Вы ошиблись. Он просто ещё не знал, кто он.

— А кто он? — спросил Чокан.

Дуров пожал плечами.

— Не знаю. Сибиряк, наверное. — Он взял гитару со стены, тронул струны. — Это, может быть, новая национальность. Её ещё нет. Её ещё надо придумать.

И он запел — негромко, хрипловато, по-французски, — песню Беранже, которую они пели когда-то у Петрашевского. Чокан подпевал. Потанин не знал слов и слушал.

Они вышли от Дурова в третьем часу ночи.

Чокан хотел проводить его, но Потанин отказался — сказал, что хочет пройти один. Чокан посмотрел на него, кивнул и ушёл к себе, на соседнюю улицу, — лёгкий, тонкий, в шинели с бобровым воротником, покашливая в батистовый платок.

Потанин остался один.

Ночь была тёплая, безветренная, звёздная — последняя тёплая ночь сентября. Пахло рекой, полыньёю, дымом. Где-то лаяли собаки. На Мокром форштадте все спали — только в одном доме, двухэтажном, в глубине улицы, у Капустиных, ещё светились окна, и оттуда доносились музыка — фортепьяно — и смех. Потанин никогда не бывал у Капустиных. Его не приглашали. Он постоял немного под их окнами, послушал — кто-то читал стихи, ему показалось — Гейне, по-русски, «На севере диком стоит одиноко», — и пошёл дальше.

Он шёл через весь Омск — пешком, медленно, без цели.

Через мост над Омыю, на котором днём кричали торговки, а сейчас было пусто. Мимо крепости — тёмной, молчаливой, с часовыми на валах. Мимо Тобольских ворот, с их нелепым классическим портиком, как у петербургского дворца. Мимо Воскресенского собора — белого в звёздном свете. Мимо дома генерал-губернатора, где на фасаде ещё висел огромный щит с вензелем «А П» в лавровом венке, — свечи за ним погасли, и вензель был тёмный, мёртвый, как вывеска закрытой лавки.

Мимо острога.

Острог стоял на краю крепости, у Иртыша, — длинный частокол из заострённых брёвен, за которым виднелись низкие крыши казарм. У ворот ходил часовой с ружьём. Где-то внутри, за частоколом, звякнули кандалы — кто-то повернулся во сне. Потанин остановился у частокола. Здесь сидели Дуров и Фёдор. Четыре года. Рядом, на одних нарах, — и почти не разговаривая. Здесь сидел Григорьев, сумасшедший, в кандалах. Сюда приносили по праздникам калачи для «несчастненьких».

Он стоял и смотрел на тёмные брёвна частокола. Часовой подозрительно на него покусился.

Он ещё не знал — да и откуда было ему знать, — что через девять лет, весной тысяча восемьсот шестьдесят пятого года, его самого привезут сюда, в этот острог, в кандалах. И что он просидит здесь три года. И что по праздникам омские купчихи и мещанки будут приносить к этим воротам калачи. И что одна из них, старая, в цветастом платке, будет каждый раз совать ему в руку горячую шаньгу и говорить: «Ешь, несчастненький. Тощий ты больно».

Он не знал. Он постоял у частокола, потом повернулся и пошёл к Иртышу.

На берегу он сел на перевёрнутую лодку и долго смотрел на реку.

Иртыш тёк мимо — тёмный, широкий, медленный, — неся звёзды. На том берегу, в степи, горел костёр — киргизский. Над костром поднимался дым, и в дыму двигались тени. Кто-то пел там — тонко, протяжно, на одной ноте, — и песня плыла над водой, как дым.

Он думал.

Он думал о том, что всё прежнее кончено. Всё, во что он верил с детства, — кончено. Царь — отец народа. Государство — защитник. Порядок — благо. Империя — мать. Всё это лежало сейчас перед ним на песке, на берегу Иртыша, разбитое, как упавшая с полки фарфоровая чашка. И склеить её было невозможно. Да и не нужно.

Он думал о том, что ему теперь страшно. Не за себя — за себя он ещё не боялся. Страшно потому, что он не знал, во что верить вместо этого. Пустота, оставшаяся на месте гвоздя, — она была огромная, холодная, и её надо было чем-то заполнить. Чем?

Он думал о Гейне. «Была у меня когда-то прекрасная отчизна». Он думал о Дурове: «Сибиряк. Это, может быть, новая национальность. Её ещё надо придумать». О Чокане: «Книги в голове не найдёшь. Это единственное, что у них нельзя отнять». Об Амурсане, которого выкапывали и показывали китайцам. О старом калмыке в Кульдже: «Запиши, что мы были». О сырой земле Васюгана, которая ещё растёт и которую можно испугать. Об Иванове: «Беловодье, может, не надо искать за горами. Может, его надо строить. Здесь». О бабах с калачами у дороги — «несчастненькие».

И постепенно — медленно, смутно, как рассвет за рекой, — в пустоте начало что-то проступать. Не вера ещё. Не идея. Не программа. Только очертание. Как берег в тумане, когда плывёшь на лодке, — ещё не видно ни деревьев, ни домов, только тёмная полоса, но ты уже знаешь: там земля.

Земля. Эта земля. Не империя — земля. Иртыш, и степь, и тайга, и горы, и болота, и снег. Люди, которые на ней живут — казаки, киргизы, кержаки, остяки, калмыки, татары, телеуты, буряты, — и которые кормят друг друга, и косят друг другу сено, и носят калачи «несчастненьким», и помнят, как гагара достала со дна комочек ила. Их песни. Их сказки. Их боги. Их память.

Ей нужен был кто-то, кто бы её записал. Снял на бумагу, как Копейкин снимает болото. Чтобы она была. Чтобы её не забыли. Чтобы через сто лет никто не написал о ней: «Умре — столько-то. Розданы в услужение».

Он сидел на перевёрнутой лодке до рассвета.

Костёр на том берегу погас. Песня кончилась. Звёзды побледнели. Над степью, далеко на востоке, проступила тонкая алая полоса — такая же, наверное, как над Семёновским плацем в то декабрьское утро, когда с поручика Григорьева упал капюшон.

Потанин встал. Отряхнул шинель. Сунул руку в карман — и нащупал там что-то маленькое, гладкое, деревянное.

Это был конь — крохотный деревянный конь, вырезанный из арчи, которого ему подарил когда-то в Семиречье сказитель Ешмухамбет. Тайбурыл, конь батыра Кобланды, который мог перепрыгнуть через горы. Потанин носил его с собой третий год — по привычке, не задумываясь, как носят нательный крест.

Он достал коня, посмотрел на него в рассветном свете. Конь был тёплый от руки.

— Ну что, — сказал он вслух — коню, реке, степи, самому себе. — Ну что, Тайбурыл. Поехали.

Куда — он ещё не знал.

Утром, когда он вернулся домой, Филиппьевна уже возилась у печи. Она посмотрела на него — бледного, небритого, с запавшими глазами, в пыльной шинели, — и ничего не спросила. Только поставила на стол самовар и блюдо с горячими шаньгами.

Потанин сел на сундук. Над столом, в углу горницы, рядом с маленькой тёмной иконой Николая Угодника, висел лубочный портрет — дешёвый, раскрашенный от руки, купленный Фирсычем на ярмарке лет десять назад: покойный государь Николай Павлович, в мундире, при орденах, с усами, с холодными голубыми глазами.

Потанин видел этот портрет каждый день полгода. И никогда о нём не думал.

Теперь он долго на него смотрел.

Потом встал, подошёл, снял портрет со стены — осторожно, чтобы не порвать, — и положил его лицом вниз на крышку ближайшего сундука, под тюменский полоз.

Филиппьевна, стоявшая у печи с ухватом, видела это. Она ничего не сказала. Только перекрестилась — на Николая Угодника, не на Николая Павловича, — и пододвинула к нему блюдо.

— Ешь, батюшка, — сказала она. — Остынут.

Он ел шаньги. Они были горячие, пышные, с черёмухой. Лучше французской булки.

Вечером зашёл Чокан. Сел на сундук. Покосился на пустое место на стене, где остался светлый прямоугольник невыгоревших обоев. Ничего не сказал. Только достал из кармана портсигар из слоновой кости — тот, с крысой, сверлящей землю, — и молча положил его на стол перед Потаниным.

— Это что? — спросил Потанин.

— Тебе, — сказал Чокан. — Подарок.

— Я не курю.

— Знаю. — Чокан улыбнулся — не насмешливо, как всегда, а как-то иначе, тихо. — Это не для курения. Это — на память. О том, как одна маленькая крыса сверлила-сверлила — и досверлилась.

Потанин взял портсигар. Повертел в руках. Крыса на крышке, крошечная, упрямая, стояла на задних лапках и сверлила землю штопором.

Он носил этот портсигар всю жизнь — пустым, без единой папиросы. И когда через много лет, в Пекине, один английский миссионер спросил его, зачем некурящему человеку портсигар, — Потанин ответил:

— Это геолог. Разве не видно?



Глава 9. Латинские имена

— *Raeonia anomala*, — сказал гость и положил засохший цветок обратно на серую бумагу так бережно, будто это была бабочка. — Пион уклоняющийся. Великолепный экземпляр. Где брали?

— На Чарыше, — сказал Потанин. — В июне. На поляне за пасекой.

— А это — *Trollius asiaticus*. Купальница азиатская. Вы её, верно, огоньком называете? Да-да, огоньки, я так и думал. А вот это... — Гость наклонился над следующим листом, поднёс его к лампе, прищурился. — Это *Aquilegia glandulosa*. Водосбор железистый. Смотрите, какая шпорка — короткая, загнутая. На Алтае его много, а в Европе нет вовсе. Вы знаете, что в Берлинском ботаническом саду за этот цветок дали бы... Впрочем, неважно. Дальше.

Он переворачивал листы — один за другим, быстро, легко, будто перелистывал знакомую книгу, — и каждому засохшему цветку, каждой травинке, каждому стебельку, приклеенному к бумаге полосками папиросной бумаги, давал имя. Латинское, звучное, торжественное, как титул. *Rhodiola rosea*. *Bergenia crassifolia*. *Lilium martagon*. *Saussurea latifolia*. *Aconitum septentrionale*. Имена падали в тесную горницу Филиппьевны, на сундуки под тюменскими полозами, одно за другим, как монеты на прилавок, — и Потанин, стоявший рядом с лампой в руке, слушал их с таким чувством, с каким, наверное, Робинзон слушал бы корабельную пушку с моря.

Он собирал этот гербарий два года. На Чарыше, на Алтае, на склонах над Антоньевкой. Сушил в прессах из досок, перекладывал серой бумагой, купленной в Бийске за бешеные деньги, по ночам при свече рассматривал в увеличительное стекло и пытался определить по немецкому травнику Романовского — по раскрашенным картинкам, на которых все цветы были похожи друг на друга. Иногда ему казалось, что он узнал. Чаще — что нет. Цветы молчали. Они были немые. У них были только те имена, которые дали им Иванов и Марья: огоньки, марьян корень, кукушкины слёзки, медвежья дудка, чигирский чай, золотой корень. Домашние имена, которыми нельзя было ничего объяснить за пределами Чарыша.

А теперь этот человек — тридцатилетний, светловолосый, с высоким белым лбом, с тонким умным лицом, в дорожном сюртуке, — листал его немые цветы, и они начинали говорить. На языке, который понимали в Берлине, в Лондоне, в Париже, в Упсале. На языке Линнея.

Человека звали Пётр Петрович Семёнов. Две недели назад он спустился с Небесных гор. Привёл его Чокан.

Это было в конце октября тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года, в сумерки, в сырой, пасмурный, ветреный вечер, когда Иртыш был свинцовый, а улицы казачьего форштадта превратились в одну сплошную лужу. Потанин, как обычно, сидел над выписками из архива Киндермана — он дошёл уже до тысяча семьсот пятидесятого года, — и вдруг за окном, вровень с землёй, остановились две пары сапог. Одни он узнал сразу: хромовые, узконосые, щегольские. Другие были незнакомые — высокие, грубые, дорожные, порыжевшие от воды и солнца, с потрескавшейся кожей на сгибах, с подковками, стёртыми до блеска о камни.

— Потанин! — закричал Чокан, наклоняясь к форточке. — Открывай! Я тебе привёл человека, который видел Хан-Тенгри!

И вот теперь этот человек сидел на сундуке Филиппьевны, держал на коленях гербарий с Чарыша и называл цветы по именам.

Потанин слышал о нём давно. Все в Омске о нём слышали. Молодой учёный из Петербурга, член Географического общества, ученик самого Гумбольдта, — он приехал в Сибирь два года назад, чтобы проникнуть туда, куда до него не проникал ни один европеец: в Тянь-Шань, в Небесные горы. Тот самый Тянь-Шань, о котором Потанин читал у Риттера, на который смотрел издали с берегов Иссыка — белую зубчатую стену на юге, за озером, недоступную, как

луна. Говорили, Семёнов дошёл. Говорили, он поднялся на перевалы, где никто не бывал, увидел ледники, из которых вытекает Нарын, и вершину, которую киргизы называют Хан-Тенгри — Владыка Неба. Говорили, что он доказал: Гумбольдт ошибался, вулканов в Тянь-Шане нет.

И вот он сидел здесь, среди сундуков, ел шаньги Филиппьевны — с аппетитом, нахваливая, — и рассматривал гербарий безвестного казачьего хорунжего.

— А вы, говорят, «Вестник Географического общества» выписываете? — спросил Семёнов, не отрываясь от листа. — На казачье жалованье?

— Выписываю, — сказал Потанин и покраснел.

— Сколько у вас жалованья?

— Семьдесят два рубля в год.

— А «Вестник» сколько стоит?

— Шесть рублей с пересылкой.

Семёнов поднял глаза — светлые, внимательные, с той особой цепкостью во взгляде, какая бывает у людей, привыкших рассматривать вещи в увеличительное стекло.

— Знаете, хорунжий, — сказал он, — я о вас слышал ещё в прошлом году. В Семиречье. Мне рассказывали в Копале, что был тут один казачий офицер, который ходил в горы один, собирал травы, сушил их и всё что-то записывал. И что этот офицер на свои семьдесят два рубля выписывает журнал нашего Общества. Я тогда подумал: такого человека надо найти. — Он улыбнулся. — Вот, нашёл. Благодаря Чокану Чингисовичу.

Чокан, сидевший на подоконнике с папиросой, шутиливо поклонился.

— Я ему про тебя все уши прожужжал, — сказал он Потанину. — Ещё в Верном. Он ко мне туда заезжал перед Тянь-Шанем. Я сказал: есть у меня в Омске друг, который знает о Сибири больше, чем вся Академия наук, только сам об этом не знает. И ещё он умеет слушать сказки.

Потом Семёнов увидел выписки.

Они лежали на столе — три толстые тетради, исписанные мелким аккуратным почерком: «Выписки из дел военно-походной канцелярии генерала Киндермана». Семёнов взял одну, раскрыл, начал читать — сначала мельком, потом медленнее, потом совсем медленно, шевеля губами. Лицо у него стало сосредоточенным.

— Это кто делал? — спросил он.

— Я, — сказал Потанин.

— Для кого?

Потанин замялся. Чокан засмеялся с подоконника.

— Для Гутковского, — сказал он. — Через меня. Я — посредник. Гутковский думает, что это я сижу в архиве. Пусть думает. Ему приятно, что киргиз такой усидчивый.

Семёнов не засмеялся. Он перелистывал тетрадь. Остановился на какой-то странице, долго смотрел.

— Амурсана, — сказал он вполголоса. — Тело в извести. Показывали на Кяхте. — Он поднял глаза на Потанина. — Вы понимаете, что это такое? Это — история. Настоящая. Документальная. Последние дни Джунгарского ханства. Никто этого не публиковал. Никто, может быть, даже не читал, кроме канцеляристов, которые это писали. — Он положил тетрадь на стол, бережно, ладонью сверху, будто боялся, что она улетит. — А вот тут, на полях, — что вы приписали? «Они были». Это что значит?

Потанин молчал. Ему было стыдно, будто его застали за чем-то очень личным.

— Это... это так, — сказал он наконец. — Для себя. Мне один старик в Кульдже рассказывал про Амурсану. Калмык. Он просил записать, что они были. Калмыки. Джунгары. Что был такой народ.

Семёнов долго смотрел на него.

— Вы этнограф, хорунжий, — сказал он. — Вы сами этого не знаете, но вы этнограф. И натуралист. И историк. — Он покачал головой. — И вы сидите в Омске и проверяете шнуговые книги.

— Он ещё и сказки записывает, — вставил Чокан. — У него целая тетрадь. Плачущая скала, Мать гор, которая прядёт воду. Шаманка ему предсказала, что духи придут его провожать.

— Чокан!

— А что? Это правда. Ты сам рассказывал.

Семёнов не смеялся. Он встал, прошёлся по горнице — два шага туда, два обратно, больше не позволяли сундуки, — остановился у окна, посмотрел на сапоги, проходившие мимо, и сказал, не оборачиваясь:

— Вам нужно в Петербург, Григорий Николаевич. В университет. Немедленно. Иначе из вас ничего не выйдет.

— Я казак, — сказал Потанин. — Казаки служат двадцать пять лет. Нас не отпускают.

— Знаю. — Семёнов повернулся. — Знаю, что не отпускают. Это нелепость, это средневековье, это... впрочем, неважно. Но если вы останетесь в Сибири — вы так и останетесь казачьим офицером. Вы будете собирать гербарии, которые никто не определит. Делать выписки, которые никто не напечатает. Записывать сказки, которые сгниют в сундуке вместе с вами. Вы будете — простите меня — вы будете талантом, зарытым в землю. Как в притче. А за это спросится.

Он подошёл к столу и положил ладонь на гербарий.

— Вот этот пион, — сказал он. — *Raeonia anomala*. Вы знаете, что его нет ни в одной европейской коллекции с Чарыша? Что вы, может быть, первый, кто сорвал его в этой долине для науки? А он у вас лежит в сундуке. Без имени.

— У него есть имя, — тихо сказал Потанин.

— Какое?

— Марьин корень.

Он сам не знал, почему сказал это так — почти с вызовом. Слова вырвались сами, как когда-то вырвалось «я не могу» в канцелярии Мессароша.

Семёнов поднял брови.

— Марьин корень, — повторил он. — Да. Конечно. Так его называют в Сибири. И в России. Его корень от падучей пьют, от лихорадки. Но вы понимаете, хорунжий, что в Тамбовской губернии марьиным корнем называют другое растение, а в Олонецкой — третье? А киргизы зовут его по-своему, а алтайцы — по-своему, а буряты — по-своему? И если я напишу в Лондон, что видел на Тянь-Шане марьин корень, — меня никто не поймёт. А если напишу «*Raeonia anomala*» — поймёт любой ботаник от Петербурга до Калькутты. — Он улыбнулся. — Линней дал миру один язык. Чтобы учёные всего света могли говорить друг с другом. Это великое дело. Без него нет науки.

— Я понимаю, — сказал Потанин. — Но...

Он замолчал. Он не знал, как сказать.

Он думал о Марье. О том, как она шла по лугу за пасекой, в июне, в тёмном сарафане, с корзинкой, и наклонялась к цветам, и называла их — тихо, будто здоровалась. «Огоньки. Кукушкины слёзки. А это — марьин корень. Мой». — «Почему твой?» — «Потому что меня Марьей зовут. Дедушка говорит — он девкам от тоски помогает». Он думал о том, что у цветка было два имени — одно латинское, которое знали в Берлине, и другое, которое знала Марья. И что первое — для науки, для всего света, на века. А второе — для Чарыша. Для одной девушки, которая ушла в Беловодье с книжкой Пушкина за пазухой.

И что если записать только первое — второе исчезнет. Как исчезли джунгары. Как исчезнет сырая земля Васюгана. Как исчезнет Марья.

— Но если записать только латинское, — сказал он наконец, медленно, подбирая слова, — то выйдет, что у цветка не было имени, пока не пришёл учёный. А у него было. У него всегда было. Его люди знали тысячу лет. Просто — по-другому.

Семёнов долго смотрел на него. Потом кивнул — медленно, серьёзно.

— Это верно, — сказал он. — Это очень верно. Пишите оба. Латинское — чтобы вас понял мир. А местное — чтобы мир понял, что тут жили люди. — Он помолчал. — Знаете, я ведь на Тянь-Шане тоже так делал. Я спрашивал у киргизов, как называется каждая гора, каждый перевал, каждая река. И записывал. Хотя мог бы назвать их по-своему — в честь государя, в честь Гумбольдта, в честь великих князей. Так многие делают. Пик Николая. Ледник Константина. А я записывал — Хан-Тенгри, Сары-Джас, Музарт. Потому что горы были до нас. И будут после.

Он помолчал.

— Только вот Хан-Тенгри я так и не увидел близко, — сказал он вдруг с неожиданной досадой. — Видел издали, с перевала. Огромная, белая, как пирамида, выше всех. А подойти не смог. Проводники отказались.

— Почему? — спросил Чокан.

— Сказали — нельзя. Сказали — там живёт Тенгри. Небо. Владыка Неба. И кто к нему подойдёт без зова — тот не вернётся. — Семёнов усмехнулся. — Я им объяснял, что это просто гора. Камень и лёд. Они слушали, кивали, соглашались. А потом ночью ушли и увели лошадей. Пришлось поворачивать.

Потанин вздрогнул.

Тенгри. Он слышал это имя. Ешмухамбет пел его у костра в Семиречье — «Көк Тәңірі», Синее Небо. Старая шаманка на Алтае поминала его вместе с Умай и Ульгеном. «Когда ты будешь умирать — они придут за тобой. Все». Имя стояло где-то совсем рядом, в двух шагах, как цветок, который ты видишь краем глаза, а повернёшь голову — и нет его.

Он ничего не сказал. Но вечером, когда гости ушли, записал в тетрадь: «Хан-Тенгри. Проводники Семёнова не пустили к горе — там живёт Небо. Узнать: кто такой Тенгри у киргизов, у алтайцев, у монголов. Один ли это бог у всех?»

Он будет искать ответ на этот вопрос сорок лет.

На следующее утро Семёнов позвал его к себе.

Он остановился в лучшем доме Омска — у самого Гасфорда, в гостевых комнатах генерал-губернаторского дворца, — и Потанин шёл туда, как на экзамен. Его провели по коридорам, мимо часовых, мимо лакеев в ливреях, мимо портретов в золотых рамах, и он видел в высоких зеркалах свою фигуру — в казачьем мундире, перешитом из старого, в сапогах, которые он чистил полчаса, — и казался себе нелепым, как ворона, залетевшая в оранжерею.

Семёнов ещё лежал в постели. Было десять утра — он, как потом выяснилось, проработал всю ночь. Увидев Потанина в дверях, он не смутился, а весело махнул рукой, встал и вышел к нему, накинув на плечи лёгкий плащ — тёмный, широкий, с бархатным воротником, перекинутый через одно плечо, как тога.

— Альмавива, — сказал он, заметив взгляд Потанина. — В Италии купил. Испанский плащ, как у графа Альмавивы в «Севильском цирюльнике». Удобная вещь — и одеяло, и халат, и сюртук. Я в нём Везувий осматривал. Садитесь, Григорий Николаевич. Сейчас подадут кофе.

Потанин сел. Кофе он не пил никогда в жизни. Он выпил — и долго потом не мог понять, почему богатые люди пьют такую горечь добровольно.

Семёнов показывал ему свои записки.

Их было много — несколько толстых тетрадей, исписанных быстрым, летящим, неразборчивым почерком, со множеством рисунков: профили хребтов, разрезы горных пород, схемы ледников, зарисовки растений. Он листал их и рассказывал — о Тянь-Шане, об Иссык-Куле, о перевале Заука́, о ледниках Сары-Джаса, о киргизах-богинцах, которые приняли его в своих

юртах. Рассказывал о том, как Гумбольдт, восьмидесятилетний старик, прощаясь с ним в Берлине, попросил: «Привезите мне камешек с Тянь-Шаня. Только один. Я хочу знать, вулканический он или нет». И как он, Семёнов, лазил по Небесным горам с молотком, отбивая образцы, и не нашёл ни одного вулкана — ни единого, — и как ему было жаль старика, всю жизнь верившего в огненные горы Азии.

— Камешек я ему отправил, — сказал он. — Гранит. Обыкновенный гранит. Он, наверное, расстроится. — Он помолчал. — Но правда дороже Гумбольдта. Даже Гумбольдт так бы сказал.

Потом он заговорил о работе.

— Вы слишком много пишете, Григорий Николаевич, — сказал он. — Я смотрел ваши выписки. Вы выписываете всё — каждую мелочь, каждую опись, каждый тюк камки. Это хорошо, это добросовестно. Но так вы утонете. Жизни не хватит. — Он постучал пальцем по столу. — Учитесь отбирать. Главное — от второстепенного. Не зарывайтесь в мелочи. Мелочи — это песок. В нём легко увязнуть. А вам нужно идти.

— Куда? — спросил Потанин.

Семёнов улыбнулся.

— Туда, куда я не дошёл, — сказал он. — На Хан-Тенгри. За Хан-Тенгри. В Кашгар, в Тибет, в Монголию, к истокам Хуанхэ. На Кукунор. Азия огромна, Григорий Николаевич. Она вся — белое пятно. А нас, способных её исследовать, — горстка. Каждый человек на счету. — Он вдруг стал серьёзен. — Поэтому я вас не отпускаю. Вы поедете в Петербург.

И он изложил план.

План был замечательный — изящный, тонкий, остроумный, как всё, что делал Семёнов. У Петра Петровича был дядя — важный сановник, близкий к самому государю. Ближайшим летом этот дядя должен был приехать в Омск — ревизовать учебную часть в кадетском корпусе. Семёнов даст Потанину письмо к дяде. Дядя, находящийся в дружеских отношениях с генералом Ростовцевым, начальником всех военно-учебных заведений, попросит Ростовцева. Ростовцев попросит генерала Веревкина, начальника управления всех казачьих войск. А Веревкин возьмёт Потанина к себе в Петербург — личным адъютантом. И таким образом Потанин, не нарушая закона, не выходя из казачьего сословия, оставаясь казачьим офицером, переселится в столицу и сможет слушать лекции в университете.

— А ваша служба, — весело сказал Семёнов, — будет состоять в том, что вы будете приходить к генералу обедать и оказывать услугу генеральше — разнимать жареную курицу.

Потанин засмеялся. Он смеялся — и не верил. Это было слишком хорошо. Так не бывает. Так бывает в сказках, где бедного пастуха зовут во дворец, и он женится на царевне. А в жизни — шнуровые книги, Шестаков, двадцать пять лет службы, «на казачьи войска не распространяется».

— А если дядя не приедет? — спросил он.

— Приедет, — уверенно сказал Семёнов. — А если не приедет — я сам напишу Веревкину. Из Петербурга. — Он помолчал. — И вот что ещё. Я поговорю со Слуцким. Полковник Слуцкий — зять генерал-губернатора. Умный человек, порядочный, — таких здесь мало. Я его попрошу за вами приглядывать. Чтобы, если что-нибудь пойдёт не так, вас не загнали обратно на Алтай. — Он посмотрел на Потанина внимательно. — Вас ведь могут загнать, Григорий Николаевич. Вы не похожи на человека, которого начальство любит.

Потанин промолчал. Он подумал о Мессароше.

Когда он уходил, Семёнов проводил его до дверей — в альмавиве, в домашних туфлях, — и вдруг, уже на пороге, спросил:

— Скажите, а ваш отец — не тот ли хорунжий Николай Потанин, что сопровождал кокандское посольство в двадцать девятом году?

Потанин остановился.

— Тот, — сказал он.

— Мы его записки перепечатали в прошлом году в «Вестнике». В шестой книжке. «Путешествие в Коканд». — Семёнов покачал головой. — Удивительный документ. Простой казачий офицер, без всякого образования — а глаз как у натуралиста. Всё заметил: и дороги, и колодцы, и цены на базарах, и обычаи, и как хан принимает послов. Я тогда подумал: откуда у казака такой глаз? — Он улыбнулся. — Теперь вижу — откуда. Это у вас семейное.

Потанин вышел из дворца на площадь, под мелкий осенний дождь. Он стоял посреди площади, мокрый, и не замечал дождя.

Шестая книжка. Он помнил её. Он получил её прошлой зимой, уже в Омске, и читал при сальной свече в горнице Филиппьевны. «Записки о путешествии в Кокандское ханство хорунжего Потанина». Он прочёл тогда фамилию — и подумал: однофамилец. Мало ли Потаниных на линии. Отец никогда, ни разу, ни единым словом не говорил ему, что был в Коканде. Что писал записки. Что их напечатали в журнале.

Отец вообще никогда ничего не говорил о себе.

Семёнов уехал через неделю — в Петербург, на перекладных, по первому снегу.

Перед отъездом он зашёл к Потанину ещё раз, на минуту, — оставил письмо к дяде, запечатанное, с адресом, — и, уже стоя в дверях, в шубе, сказал:

— Не зарывайтесь в мелочи, Григорий Николаевич. И не теряйте голову. Ждите лета.

И Потанин стал ждать лета.

Он ждал всю зиму. Он вставал утром и думал: ещё шесть месяцев. Ещё пять. Ещё четыре с половиной. Он ходил в контрольное отделение, проверял шнуровые книги, ставил галочки на полях, — и считал дни, как когда-то в Белой осаде считал мешки с мукой. Письмо к дяде лежало у него в Палласе, рядом с рисунком Чокана — верблюдом со шнуровыми книгами, — и он доставал его по вечерам, смотрел на адрес, на сургучную печать, — и прятал обратно.

Он купил на последние деньги латинскую грамматику и словарь. Он сидел над ними ночами, при свече, — склонял *rosa*, *rosae*, *rosae*, *rosam*, спрягал *amo*, *amas*, *amat*, — и Филиппьевна, заглядывая в горницу, крестилась: ей казалось, что постоялец читает заклинания. Он переписал заново весь свой гербарий — на каждом листе теперь стояли два имени: латинское, которое назвал Семёнов, и местное, которое назвала Марья. *Raeonia anomala* — марьин корень. *Trollius asiaticus* — огоньки. *Rhodiola rosea* — золотой корень. *Bergenia crassifolia* — чигирский чай.

А под некоторыми стояло только одно, местное, — потому что латинского Семёнов не знал или не успел назвать. И Потанин думал: может быть, этих — нет ни в одной европейской книге. Может быть, у них — только одно имя. Марьино.

В феврале его вызвал Шестаков.

Начальник контрольного отделения сидел за своим столом, сонный, как всегда, но в глазах у него было что-то новое — злорадное, торжествующее, как у кота, который наконец поймал давно примеченную мышь.

— Хорунжий, — сказал он, — вот вам бумага. От войскового правления. Извольте ознакомиться.

Потанин взял бумагу. Это был выговор. Написанный канцелярским языком, длинный, витиеватый, с завитушками. В нём говорилось, что хорунжий Потанин производит ревизию шнуровых книг с недопустимой медленностью, отчего происходит задержка в делопроизводстве войскового правления. Что переводом его из строя в войсковое правление начальство имело в виду выдвинуть его по службе и что на этот перевод он должен смотреть как на награду. Что начальство ожидает от него в дальнейшем большего рвения.

Потанин прочёл бумагу два раза. Потом сел за свой стол, взял чистый лист и написал ответ.

Он писал быстро, не задумываясь, — так же, как когда-то, в Семипалатинске, писал приказ о ста розгах, только теперь рука не дрожала. Он писал, что в награду можно давать ордена, медали, чины, но не должности. Что при назначении на должность следует сообразоваться со способностями человека, а не с желанием его наградить. Что его, хорунжего Потанина, плохого математика, войсковое правление назначило контрольным чиновником — то есть человеком, вся обязанность которого состоит в счёте, — и что этой ошибкой начальства, а не нерадением подчинённого, и объясняется вялость его работ. И что если бы начальство желало быстроты, ему следовало бы поставить на эту должность человека, который любит считать, — а таких в войске, как известно, немало, и многие из них считают превосходно, особенно чужие деньги.

Последнюю фразу он хотел зачеркнуть. Подумал. И оставил.

Он отдал бумагу Шестакову. Шестаков прочёл. Лицо его медленно побагровело.

— Вы... — сказал он. — Вы понимаете, хорунжий, что вы написали?

— Понимаю, ваше высокоблагородие.

— «Особенно чужие деньги»! Это — на кого намёк?

— Ни на кого, ваше высокоблагородие. Это общее наблюдение. Из шнуровых книг.

Шестаков долго смотрел на него. Потом аккуратно сложил бумагу и спрятал в папку.

— Хорошо, — сказал он. — Хорошо, хорунжий. Вы, кажется, полагаете, что вам здесь не место. Начальство, я думаю, с вами согласится.

Через три дня войсковое правление постановило: хорунжего Потанина за дерзость и неспособность к канцелярской службе вернуть в строй. В Девятый полк. В станицу Анто-
ньевскую.

Он узнал об этом вечером, от Пирожкова, который служил в войсковом правлении писарем при атамане и видел постановление своими глазами.

— На Алтай, Гриша, — сказал Пирожков, садясь на сундук. — В Антоньевку. Опять к Романовскому. — Он помолчал. — Ну, оно, может, и не худо. Романовский — душа-человек. Там тихо. Охота. Мёд. Будешь себе белковать да соболевать.

Потанин сидел у стола и молчал.

Он думал об Антоньевке. О Романовском в халате с Прошкой за пазухой. О Василисе Петровне с её ботвиньей. О Чарыше, об Иванове, о помочах, о соболиной избушке над тёплым ключом. Он был там счастлив. Он был там счастливее, чем где-либо в жизни.

И он знал: если он поедет туда сейчас — он останется там навсегда.

Не сразу. Сначала будет ждать письма от Семёнова. Потом — перестанет ждать. Потом женится на какой-нибудь казачке, дочери есаула, заведёт пасеку, будет охотиться с Кочневым, читать по вечерам «Юрия Милославского» и сонник Романовского. Гербарий сгниёт в сундуке. Выписки сгниют. Сказки сгниют. А через двадцать лет он станет есаулом — толстым, добрым, ленивым, с соболем за пазухой, — и будет рассказывать молодым хорунжим, что когда-то, в юности, его звали в Петербург, в университет, а он не поехал. «Талант, зарытый в землю». «За это спросится».

«Вы ещё вернётесь к порядку, — сказал Мессарош. — Все возвращаются. Или ломаются. Третьего не бывает».

— Не поеду, — сказал Потанин вслух.

Пирожков удивлённо поднял брови.

— Как это — не поедешь? Приказ.

— Не знаю как. Но не поеду.

Он встал, подошёл к окну. За окном шёл снег — медленный, крупный, февральский. Сапоги проходили мимо — казачьи, солдатские, бабьи. Снег ложился на них и таял.

Он ещё не знал, что спасение уже идёт к нему — в начищенных сапогах полкового адъютанта, по улице казачьего форштадта, с запиской в руке.

Адъютант пришёл на следующее утро. Молоденький поручик в отлично сшитом мундире, с усиками, с запиской, сложенной вдвое, — от полковника Слуцкого.

Полковник Слуцкий принял Потанина в своём кабинете, в доме генерал-губернатора, — в том же коридоре, где жил Семёнов. Это был человек лет сорока, высокий, худощавый, с умным усталым лицом и с тихим голосом. Он встал из-за стола, когда Потанин вошёл, — встал навстречу хорунжему, — и протянул руку.

— Григорий Николаевич, — сказал он. — Садитесь. Я о вас слышал. От Петра Петровича Семёнова. Он, уезжая, просил меня не терять вас из виду. Говорил, что вы — человек, который может много сделать для науки, если его не загубят. — Он чуть улыбнулся. — Я вижу, вас уже начали губить.

Он взял со стола бумагу — копию ответа Шестакову — и пробежал её глазами.

— «Особенно чужие деньги», — прочёл он вслух. И вдруг засмеялся — тихо, коротко, в усы. — Хорошо написано. Очень хорошо. Только неосторожно. — Он положил бумагу. — Вы, Григорий Николаевич, напоминаете мне одного человека, которого я знал в молодости. Он тоже говорил правду в лицо начальству. И тоже очень хорошо писал.

— Что с ним стало? — спросил Потанин.

— Его сослали на Кавказ, — сказал Слуцкий. — И там убили. На дуэли. Он был поручик Тенгинского полка. Писал стихи.

Потанин вздрогнул. Он хотел спросить — но не посмел.

Слуцкий помолчал, глядя в окно.

— Так вот, — сказал он наконец, деловым тоном. — В Антоньевку вы не поедете. Я уже говорил с генерал-губернатором. Вас прикомандируют к штабу войск Западной Сибири. Для разбора штабного архива. Работа скучная, предупреждаю. Но это — Омск. Здесь вы будете ближе к Петербургу. И здесь я смогу за вами присматривать.

Потанин не знал, что сказать. Он встал, хотел поблагодарить — и не нашёл слов.

— Не благодарите, — сказал Слуцкий. — Благодарите Семёнова. И Гутковского — он тоже за вас замолвил словечко. Он, оказывается, узнал, кто на самом деле делал выписки из архива Киндермана. — Полковник улыбнулся. — Чокан Чингисович не умеет хранить секреты, когда речь идёт о друзьях.

Штабной архив помещался в длинной холодной комнате на первом этаже штаба, с окнами во двор, с железными шкафами вдоль стен. В шкафах лежали дела — тысячи дел, за тридцать лет, — и всё это надо было разобрать: что подлежит хранению, что — уничтожению.

Работа была ещё скучнее шнуровых книг. Он прочитывал целые шкафы дел о выдаче солдатам сапожного товара, холста, ниток, пуговиц, ременной амуниции — и на каждом деле ставил карандашом крестик — уничтожить — или галочку — хранить. Почти всюду он ставил крестики. Дела об уничтожении увязывали в кули и увозили на телеге — на бумажную фабрику или в печи казарм. И он думал: вот так же, наверное, какой-нибудь писарь через сто лет поставит крестик на моих выписках. И на делах об Амурсане. И на «Они были».

Иногда среди сапожного товара попадалось живое. Рапорт урядника о том, как в бурю на Горькой линии замёрз казачий пикет — пятеро казаков, — и их нашли весной, сидящих вокруг погасшего костра, обнявшись. Прошение киргизской вдовы, у которой казаки угнали последних трёх баранов, — с отпечатком пальца вместо подписи, — и резолюция поперёк: «Оставить без последствий». Донесение о смерти в Омском остроге каторжного Григорьева — нет, другого Григорьева, однофамильца, вора. Опись имущества умершего рядового: шинель, рубаха, крест медный, образок, письмо от матери нераспечатанное.

На этих делах он ставил галочки. Все. Даже если по правилам полагался крестик.

Он не знал, имеет ли право. Наверное, не имел. Но он думал: если я поставлю крестик — этого не будет. Пятеро казаков у погасшего костра. Вдова с отпечатком пальца. Нераспечатанное письмо. А если галочку — оно останется. Хоть в шкафу. Хоть в пыли. Хоть ненадолго.

«Империи не помнят народов, — думал он. — Империи их считают. А потом ставят крестик».

В начале марта, поздно ночью, к нему пришёл Чокан.

Потанин уже спал. Он проснулся от стука в окно — тихого, условного: три удара, пауза, ещё два, — так они стучали друг другу в корпусе, в спальне, после отбоя. Он вскочил, накинул шинель, отворил дверь. На крыльце стоял человек в тулупе, в лисьем малахае, низко надвинутом на глаза. Потанин не узнал его.

— Пусти, — сказал человек голосом Чокана. — Замёрз.

Он вошёл, сел на сундук, снял малахай.

Голова у него была обрита наголо. Совсем — до синевы. Вместо модной причёски, напомаженной и завитой на висках, — голый смуглый череп, на котором странно, незащитно торчали уши. Усики тоже были сбриты. На лице — щетина, тёмная, недельная. Он был в старом стёганом халате под тулупом, в мягких сапогах-ичигах. От него пахло не французскими духами, а дымом, бараньим салом и конским потом.

Потанин смотрел на него и не мог вымолвить ни слова.

— Ну что уставился? — Чокан усмехнулся, и усмешка была прежняя, его. — Не узнаёшь? Это хорошо. Значит, и в Кашгаре не узнают.

— В Кашгаре?

— Тише. — Чокан оглянулся на дверь в избу. — Это тайна, Гриша. Государственная. Об этом знают пять человек во всей империи. Гасфорд, Гутковский, Ковалевский в Петербурге, я. И ты. Теперь — ты.

Он рассказал.

Он едет в Кашгар. Летом. С торговым караваном семипалатинского купца Мусабая — больше сорока человек, сотня верблюдов, товары: ситец, сукно, кожи, железо, зеркала, — всё как полагается. Он едет не офицером, не адъютантом, не султаном, а купцом. Андижанцем. Алимбаем. Младшим родственником одного андижанского торговца, давно жившего в степи и теперь будто бы возвращающегося на родину. Обритый наголо, в халате, с чётками, с Кораном за пазухой.

— Зачем бриться? — спросил Потанин.

— Затем, что в Кашгаре все бреют голову. И затем, что там не любят, когда мусульманин похож на русского офицера. — Чокан провёл ладонью по голому черепу. — Знаешь, что там было в прошлом году? Туда пробрался немец. Адольф Шлагинтвейт. Учёный, путешественник, из Индии шёл, через Каракорум. Умный, храбрый, знал языки. Его узнали. И Валихан-тюре — тамошний правитель, сумасшедший, кровопийца, — велел отрубить ему голову. Прямо у ворот. И голову положил на пирамиду. Там у него у ворот пирамида из голов. Из человеческих. Он ими любит по утрам.

Он помолчал.

— Я найду эту голову, Гриша, — сказал он тихо. — Если доберусь. Найду и привезу. Пусть хоть голова его вернётся в Европу.

Потанин молчал. В горнице было темно — только лампадка под Николаем Угодником светила красным. Чокан сидел на сундуке, обритый, в халате, похожий на какого-то дервиша, на героя из «Тысячи и одной ночи», — и глаза у него горели в полутьме, как угли.

— Ты боишься? — спросил Потанин.

— Боюсь, — сказал Чокан просто. — Конечно, боюсь. Я не дурак. — Он вдруг улыбнулся. — Но знаешь, что смешно? Я всю жизнь притворялся. В корпусе — притворялся русским. В Омске — притворялся аристократом. За обедом у Гасфорда — притворялся, что мне смешно, когда смеются над киргизами. Пять лет я ношу эполеты, говорю по-французски, ем французские булки и притворяюсь, что я — один из них. — Он помолчал. — А теперь я еду притворяться мусульманским купцом. И знаешь — это первый раз, когда притворяться не надо. Я

ведь и есть мусульманин. И есть степняк. Я сбрил волосы — и мне стало легче. Как будто сбросил чужую шкуру.

Он помолчал.

— Помнишь, я писал тебе в Копал? «Я непременно проникну в Кашгар. А ты будешь вечно сидеть в казачьем седле и смотреть на Тянь-Шань издали, как кот на сметану». — Он засмеялся, тихо, невесело. — Прости меня за это. Я был мальчишка.

— Ты был прав, — сказал Потанин.

Он сказал это — и почувствовал, как внутри у него поднимается что-то горячее, горькое, жгучее, как горчица. Зависть. Старая, мальчишеская, знакомая ещё с корпуса, — та самая, что жгла его на краю Тамчи-булака над письмом Чокана. Чокан едет в Кашгар. Чокан увидит то, чего не видел ни один европеец со времён Марко Поло. Чокан напишет книгу, и её переведут на все языки, и Гумбольдт будет читать её и плакать от зависти. А он, Потанин, будет сидеть в холодной комнате штаба и ставить крестики на делах о сапожном товаре.

И одновременно — так же сильно, так же горячо — он чувствовал восхищение. И страх за друга. И нежность. И гордость — за то, что Чокан пришёл к нему, ночью, обритый, первому, единственному, и рассказал тайну, которую знают пять человек в империи.

Всё это было в нём сразу, перемешанное, как цветы на чарышском лугу, и он не мог отделить одно от другого.

— Я тебе завидую, — сказал он честно. — Страшно завидую. Как в корпусе.

— Знаю, — сказал Чокан. — Я тоже тебе завидую.

— Мне? Чему?

Чокан долго молчал.

— Тому, что ты можешь вернуться к Филиппьевне, — сказал он наконец. — К шаньгам. К своим казакам. Они тебя позвали — ты вернулся. И они тебя приняли. — Он посмотрел на свои руки. — А меня никто не позовёт. Ни русские — для них я киргиз. Ни киргизы — для них я русский офицер. Я везде — чужой. Я — между. Как Амурсана. — Он горько усмехнулся. — Я поэтому и еду в Кашгар, Гриша. Там я тоже буду чужой. Но там хоть понятно, почему.

Он уезжал через неделю. Официально — в Семипалатинск, «по делам Пограничного управления». Никто в Омске не знал, куда на самом деле.

Перед отъездом он принёс Потанину свёрток — завернутый в старый номер «Русского инвалида», перевязанный бечёвкой.

— Это тебе, — сказал он. — На хранение.

Потанин развернул. Это была тетрадь — толстая, растрёпанная, с обтрёпанными углами, исписанная двумя почерками и изрисованная одной рукой. Их общая тетрадь. Из корпуса. Юрты, верблюды, всадники, сабли, беркуты, — и под ними, корявым мальчишеским почерком Гриши, объяснения: «Сабля киргизская, называется кылыш». «Беркут на руке у охотника, клубочек на голове». «Юрта хана Аблая, белая, в три решётки».

— Я её возил с собой шесть лет, — сказал Чокан. — Везде. В Верный, в Кульджу, по степи. А в Кашгар не возьму. Если найдут — узнают по почерку, что я учился у русских. — Он помолчал. — Сохрани. А если я не вернусь...

— Вернёшься.

— Если не вернусь, — повторил Чокан твёрдо, — допиши её. Ты умеешь. Ты будешь ездить туда, куда я не доеду. Записывай. Рисовать ты не умеешь, это я знаю. — Он улыбнулся. — Но записывать — лучше меня.

Потанин стоял с тетрадью в руках.

— А ты мне что-нибудь дай, — сказал Чокан вдруг. — На дорогу. Чтобы было твоё.

Потанин растерялся. Он оглядел горницу — сундуки, полозы, стол, книги, гербарий. Что дать? Деньги? У него не было денег. Книгу? В Кашгар книгу не повезёшь. Гербарий?

Он полез в карман — и нашупал там деревянного коня. Тайбурыла.

Он достал его, посмотрел. Конь лежал на ладони — маленький, тёмный от времени и от рук, с обломанным кончиком хвоста.

— Нет, — сказал Чокан, увидев. — Нет, Гриша. Это — твоё. Это тебе на всю жизнь. Я знаю. Не отдавай.

Тогда Потанин подошёл к столу, раскрыл гербарий, нашёл лист с марьиным корнем — с тем самым, *Raeonia apomala*, который хвалил Семёнов, — осторожно отделил засохший цветок от бумаги и протянул Чокану.

— Вот, — сказал он. — Марьин корень. Его от тоски пьют. Девушка одна говорила.

Чокан взял цветок. Долго смотрел на него.

— Девушка? — спросил он. — Какая девушка? Ты мне не рассказывал.

— Потом расскажу, — сказал Потанин. — Когда вернёшься.

Чокан бережно завернул цветок в платок — батистовый, последний оставшийся у него от прежней жизни, — и спрятал за пазуху, под халат.

Они обнялись. Чокан был худой — Потанин чувствовал под халатом его рёбра, острые лопатки. Он кашлянул — коротко, сдержанно, отвернувшись.

— До свиданья, верблюды, — сказал Чокан.

— До свиданья, Алимбай.

Он ушёл в ночь — в тулупе, в малахае, в мягких ичихах, — неслышно, как степной лис. Потанин стоял на крыльце и смотрел ему вслед, пока тёмная фигура не растворилась в снегу.

Он увидит его ещё — через два года, в Петербурге, загорелого, исхудавшего, знаменитого, с рассказом о том, как искал в Кашгаре голову Шлагинтвейта. И ещё раз — последний — в Омске, в шестьдесят четвёртом, больного, кашляющего кровью. «Разлагаюсь», — скажет тогда Чокан.

Но это будет потом.

Лето приближалось. Дядя Семёнова не ехал.

Сначала говорили — приедет в мае. Потом — в июне. Потом — что ревизия кадетского корпуса отложена. Потом — что дядя болен. Потом не говорили ничего. Письмо к дяде лежало в Палласе, и сургучная печать на нём потрескалась от того, что его слишком часто брали в руки.

От Семёнова писем не было. Потанин хотел написать сам — напомнить о себе, — несколько раз садился, брал перо, — и не мог. Ему казалось, что это будет похоже на прошение. На попрошайничество. «Ваше превосходительство, не извольте забыть бедного казачьего хорунжего...» Он не умел напоминать о себе. Он вообще не умел просить. Это у него тоже было семейное.

К маю он понял: никто не приедет. Никто не позовёт. Сказка кончилась. Никакой генеральши с жареной курицей не будет.

Если он хочет в Петербург — он должен вырваться сам.

Выход нашёлся случайно — на именинах.

Именинником был Константин Чукреев — тот самый Чукреев, что писал корявым почерком письмо про французскую булку. Именины справляли у него на квартире, в казачьем форштадте, шумно, по-казачьи: пироги, пельмени, наливки, гитара Пирожкова, песни про Ермака. Были все свои — однокашники, казачьи офицеры, — и несколько гостей постарше: два есаула и войсковой полковник Андреев, старый, седой, с орденом за Кокандский поход.

Говорили, как всегда, о службе. И кто-то вспомнил последний приказ военного министра.

Приказ этот наделал шуму во всей армии. По нему полковые командиры получали право предлагать офицерам выйти в отставку — без объяснения причин начальнического недовольства. Просто так: не понравился — пиши прошение. И офицер, получивший такую отставку, терял право быть вновь принятым на службу. Армия возмущалась. Офицеры называли приказ «волчьим билетом».

— А я бы, — сказал Потанин, — я бы с удовольствием воспользовался этим приказом. Если бы мой полковой командир ни за что ни про что выгнал меня в отставку, согласно этому приказу, — я был бы ему бесконечно благодарен. Я бы ему руку поцеловал. Я бы отказался от своего сословия и поехал в университет. — Он помолчал. — Только вот — к приказу сделана приписка.

— Какая? — спросил кто-то из молодых.

Все казачьи офицеры за столом хором, не сговариваясь, ответили:

— «На казачьи войска не распространяется»!

И захохотали — горько, зло, привычно.

Эта фраза была проклятием Сибирского казачьего войска. Её знал каждый казак — от атамана до последнего урядника. Какая бы льгота ни выходила для армии Российской империи — увеличение жалованья, сокращение срока службы, право на пенсию, право на отпуск, — на каждый запрос войскового начальства из Петербурга приходил один и тот же ответ, одна и та же приписка, одни и те же пять слов: «На казачьи войска не распространяется».

— А вот я вам расскажу, — сказал Потанин, — как это бывает. Вот Костя знает. — Он кивнул на именинника. — Костя, расскажи.

Чукреев помрачнел.

— Чего рассказывать, — сказал он. — Было и было.

— Расскажи, — попросил Пирожков. — Гости не слыхали.

Чукреев вздохнул.

— Я был полковым казначеем, — сказал он. — В прошлом году. В Петропавловске. И однажды открываю полковой ящик — а там нет трёхсот рублей. Были — и нет. Я знаю, куда они делись: их полковник вынул. При мне вынул — сказал, на день, на нужды полка. А назад не положил. Забыл. Или — не забыл. Неважно. — Он помолчал. — Присудили, чтобы я выплатил. Из жалованья. Я хорунжий, получаю семьдесят два рубля в год. Плачу в рассрочку. Ещё четыре года платить.

— И я ему говорю, — подхватил Потанин, — Костя, говорю, что ж ты не судишься со своим полковником? Почему не хлопчешь? Подай жалобу атаману, генерал-губернатору, в Петербург! Ты же знаешь Евангелие. Там сказано: «Толщьте, и отверзется вам; просите, и дасть вам». А он мне что ответил? Костя, скажи, что ты мне ответил.

Чукреев невесело усмехнулся.

— Я сказал: «Евангелие на казачье войско не распространяется».

За столом стало тихо. Потом кто-то хмыкнул. Потом засмеялся. Потом засмеялись все — так, что зазвенели рюмки, что Пирожков уронил гитару, что старый полковник Андреев, утирая слёзы, повторял: «Евангелие... не распространяется... ох, батюшки...»

А потом, отсмеявшись, полковник повернулся к Потанину и сказал — уже серьёзно:

— А вы напрасно думаете, хорунжий, что находитесь в безвыходном положении.

Потанин поднял голову.

— Вы можете подать прошение об отставке по болезни, — сказал полковник. — Вас выпустят.

— Я знаю, — сказал Потанин. — Знаю, ваше высокоблагородие. Но я здоров. Как бык. Значит, мне нужно добыть от доктора ложное свидетельство. А за это платят. Я слышал — сто рублей. А у меня нет ста рублей. У меня и десяти нет.

— Вздор, — сказал полковник. — Дадут и без денег. Атаман у нас нынче либерал. Пойдите к атаману.

Потанин долго смотрел на него.

— В таком случае, — сказал он, — я завтра же пойду к атаману.

И на другой день он пошёл.

Утром он надел парадный мундир — единственный, перешитый, тщательно вычищенный Филиппьевной. Прицепил шашку — ту самую казачью шашку, которую он ненавидел и ни разу не обнажил ни против кого, кроме кустов на Чарыше. Посмотрел на себя в осколок зеркала, висевший над рукомойником.

Из зеркала смотрел молодой человек двадцати двух лет, худой, сутулый, с длинным лицом, с упрямым подбородком, с серыми глазами, в которых было что-то такое, чего Потанин раньше в себе не замечал. Что-то твёрдое.

Филиппьевна, стоя в дверях избы, перекрестила его.

— С Богом, батюшка, — сказала она. — Куда хоть идёшь-то?

— Выписываться из казаков, — сказал Потанин.

Филиппьевна охнула и перекрестила его ещё раз.

Атаманом Сибирского казачьего войска был в то время генерал Кринский. Человек странный, необычный, совсем не похожий на казачьих генералов, которых Потанин видел до сих пор. Родом из польских татар — но не мусульманин, а католик. Окончил Московский университет — и только потом пошёл на военную службу. В молодости, как он сам выражался, «читывал увражи социалистов» — Сен-Симона, Фурье, Прудона, Луи Блана. Был приятелем профессора Спасовича. В кабинете у него, на самом видном месте, стоял бюст Вольтера.

Он принял Потанина без очереди — может быть, потому, что слышал о нём от Слуцкого, а может быть, просто из любопытства. Выслушал, сидя в кресле, сложив пальцы домиком. Лицо у него было смуглое, скуластое, с маленькими живыми глазками.

— Великолепно, — сказал он, когда Потанин кончил. — Великолепно! Я вас одобряю. Вы это прекрасно надумали. Наука, просвещение, университет — это благородно, это достойно, это — будущее России. — Он вдруг поднял палец. — Но ведь вам нельзя. Вы должны двадцать пять лет служить.

— По болезни, ваше превосходительство.

Генерал посмотрел на него — долго, весело, с прищуром.

— А! По болезни? — сказал он. — Это значит, вам нужно придумать какую-нибудь болезнь, которой у вас не существует?

Потанин покраснел до ушей.

— Так точно, ваше превосходительство.

Кринский откинулся в кресле и захохотал — так, что задрожал бюст Вольтера на постаменте.

— Хорошо! — сказал он, отсмеявшись. — Хорошо, хорунжий. Это можно. Это — по-нашему. Знаете, что говорил Прудон? «Собственность — это кража». А я вам скажу: двадцатипятилетняя служба — это тоже кража. Кража жизни. — Он взял колокольчик со стола, позвонил. — Я сам попрошу войскового доктора, чтобы он вам что-нибудь придумал. Что-нибудь приличное. Не чахотку же вам придумывать — вы на чахоточного не похожи.

Войсковым доктором был поляк Войткевич — добродушный, лысый, румяный старик с пухлыми руками и с бакенбардами, похожими на два клочка ваты. Он осмотрел Потанина — для порядка, — постучал по груди, послушал в трубку, заставил присесть, встать, повернуться, — и вздохнул.

— Здоров, — сказал он с сожалением. — Совершенно здоров, пан хорунжий. Как жеребец. Ни одной болезни. Даже зубы — все. — Он почесал лысину. — Что же мне с вами делать?

— Его превосходительство сказал — придумать, — подсказал Потанин.

— Придумать, придумать... — Доктор походил по кабинету, бормоча по-польски. — Чахотка — нет. Падучая — нет, вы сами не сумеете изобразить. Глаза — нет, вы читаете. Сердце — нет, сердце у вас как колокол. — Он остановился. — А! Грыжа!

— Грыжа?

— Грыжа, — обрадовался доктор. — Паховая. Мешающая ездить верхом. Казак, который не может ездить верхом, — не казак. Его по закону надо отставить. Это — самое лучшее. Это никто не проверит — никто же не полезет смотреть. — Он сел за стол, взял перо, обмакнул в чернила. — Так. В котором боку?

— Не знаю, — растерялся Потанин.

— Ну, выбирайте.

— В левом.

— В левом, — согласился доктор и записал. — Отлично. В левом. — Он присыпал написанное песком, сдул, подписал, приложил печать. Потом протянул бумагу Потанину и вдруг погрозил ему пухлым пальцем.

— Смотрите же, пан хорунжий, — сказал он строго. — Не забудьте. В левом боку у вас грыжа. В левом! Запомните! А то я одного так отставил, а он через месяц на смотре сказал генералу, что в правом. Еле замяли. Меня чуть самого не разжаловали.

— Запомню, — сказал Потанин.

— Повторите.

— В левом.

— В левом, — удовлетворённо кивнул доктор. — И верхом при людях не скачите. Хотя бы месяц. А то нехорошо выйдет.

Потанин вышел от доктора с бумагой в руке. На улице светило солнце — майское, яркое, весёлое. Иртыш блестел. Над крепостью кричали галки.

Он шёл по улице и повторял про себя: «В левом. В левом. В левом». И вдруг поймал себя на том, что прихрамывает — на левую ногу. Сам не заметил, как начал.

Он остановился посреди улицы и засмеялся — громко, так, что на него оглянулась баба с вёдрами.

Вечером Филиппьевна, увидев, как он входит в горницу, слегка припадая на левую ногу, всплеснула руками:

— Батюшка! Что с тобой? Ушибся?

— Грыжа, Филиппьевна, — сказал Потанин серьёзно. — В левом боку. От казённой службы.

Филиппьевна долго смотрела на него. Потом, кажется, поняла. Лицо у неё дрогнуло.

— Ну, раз от казённой — так и надо, — сказала она. — От казённой службы и не то наживёшь. — И вдруг перекрестилась. — Слава тебе, Господи. Значит, отпустят.

Прощение пошло установленным порядком. Из войскового правления — в штаб. Из штаба — к генерал-губернатору. Главное решение зависело от Гасфорда.

В тот день, когда начальник штаба пошёл к нему с докладом, Потанин решил ждать его возвращения в канцелярии.

Был вечер. Все чины и писари разошлись. Потанин бродил по пустым комнатам — из одной в другую, из другой в третью, — мимо столов с бумагами, мимо шкафов с делами, мимо чернильниц и песочниц, мимо портрета нового государя Александра Николаевича на стене. За окнами темно. Где-то тикали часы. Он ходил и думал.

Он думал: а если откажут? Если Гасфорд скажет — нет? Тогда — Антоньевка. Тогда — двадцать пять лет. Тогда — всё.

Он думал: а если согласятся? Тогда — что? Куда? На что жить? Он вдруг понял, что никогда об этом не думал. Всю жизнь — с семи лет — за него думало государство. Кормило, одевало, давало крышу, давало жалованье — скудное, семьдесят два рубля, но давало. Говорило, куда идти и что делать. Он ненавидел это — и не знал другого. Он был как тот соболь Прошка за пазухой у Романовского: всю жизнь в тепле, в неволе, — а что там, в тайге, за дверью?

Он думал о Чокане — где он сейчас? В Семипалатинске? В степи? Уже на пути в Кашгар?

Он думал о Семёнове. «Не зарывайтесь в мелочи. Вам нужно дойти».

Наконец дверь хлопнула. В канцелярию вошёл начальник штаба — генерал, грузный, седой, в мундире с аксельбантами. Он увидел Потанина, стоящего у окна, — и остановился.

— Хорунжий Потанин?

— Так точно, ваше превосходительство.

Генерал помолчал, снимая перчатки.

— Генерал-губернатор согласился дать вам отставку, — сказал он. — По болезни.

Потанин стоял неподвижно. Ему показалось, что пол под ним качнулся — как сырая земля Васюгана.

— Но, — продолжал генерал, — его высокопревосходительство приказал предупредить вас: если вы когда-нибудь подадите прошение о поступлении на гражданскую службу — он вам откажет. Где бы то ни было. В Сибири, в России — откажет. — Он посмотрел на Потанина тяжёлым взглядом. — Вы понимаете, хорунжий? Государство вас отпускает. Но обратно не примет.

Потанин выпрямился.

— Ваше превосходительство, — сказал он, и голос его прозвучал неожиданно громко в пустой канцелярии. — Я подал в отставку с намерением ехать в университет. И я даю вам и его высокопревосходительству клятву: я никогда не поступлю на государственную службу. Никогда.

Генерал посмотрел на него ещё раз — с каким-то странным выражением, не то недоумения, не то жалости, не то невольного уважения.

— Ну-ну, — сказал он. — Клятва — дело серьёзное. Смотрите, хорунжий, не пожалейте. Он надел перчатки и вышел.

Потанин остался один в пустой канцелярии. Часы тикали. За окном совсем стемнело.

Он сдержит эту клятву. Всю жизнь — шестьдесят два года — он не будет служить государству ни одного дня. Ни при Александре, ни при двух следующих царях, ни при Временном правительстве, ни при Колчаке, ни при большевиках. Он будет нищим, будет ссыльным, будет каторжником, будет знаменитым, будет почётным гражданином Сибири — но ни одного дня не будет чиновником.

На следующий день ему объявили, что он может больше не ходить на службу. Что жалованья он больше получать не будет. Что он может ехать куда хочет.

И тут — вместо радости — на него навалилось что-то тяжёлое, оторопелое, тоскливое.

Он стоял на крыльце войскового правления, в своём перешитом мундире, со справкой о грыже в левом боку в кармане, — свободный. Совершенно свободный. Первый раз в жизни. И не знал, что с этим делать.

Как жить без казённого жалованья? Где искать заработок? У кого? Чем? Он умел писать рапорты, проверять шнуровые книги, ездить верхом, набивать птиц, сушить цветы, записывать сказки. Кому это нужно? Кто за это платит?

Он почувствовал, будто у него вдруг выбили из-под ног опору. Будто он — тот младенец в кошеве, который спал, привязанный к подушке, и вдруг сани качнулись, и подушка соскользнула, и он летит в темноту, в снег, в пустую ночную степь, — и никто не заметил, и сани уезжают всё дальше, и колокольчик звенит всё тише.

Только теперь — никакой ямщик не оглянется. Никто не побежит назад по следу. Он сам должен встать из сугроба и идти.

— Ваше благородие! — окликнул его кто-то.

Он обернулся. У крыльца стоял Пирожков — без шинели, в одном мундире, с непокрытой головой.

— Я уже не благородие, Сократ, — сказал Потанин. — Я теперь — никто. Отставной хорунжий. С грыжей.

— Слыхал, — сказал Пирожков. Он помолчал, глядя в сторону. Потом полез в карман, достал что-то, завернутое в бумажку, и сунул Потанину в руку. — На, держи.

Потанин развернул. Это были деньги. Двенадцать рублей — мятыми ассигнациями и серебром.

— Это что?

— Это мы, — сказал Пирожков сердито. — Выпуск. Скинулись. По полтора рубля. Костя Чукреев тоже — хоть ему и платить ещё четыре года. — Он махнул рукой. — На дорогу. Не спорь. Ты нам потом из Петербурга французскую булку пришлешь. Настоящую. Не разрезанную на четыре части.

Потанин стоял с деньгами в руке и не мог вымолвить ни слова.

Перед отъездом он съездил в Пресновск. Попрощаться с отцом.

Он ехал три дня — на попутных, на крестьянских подводах, пешком. Мимо Петропавловска, по Горькой линии — той самой, по которой в детстве его возили из одной станицы в другую, — мимо солёных озёр, белых от соли, как от инея, мимо берёзовых колков, мимо редутов, полуразрушенных, заросших полынью, оставшихся с тех времён, когда здесь была граница. Теперь граница ушла на тысячу вёрст на юг — за Или, за Верный, к Тянь-Шаню, — а редуты стояли, никому не нужные, как старые шнуровые книги.

Пресновск оказался меньше, чем он помнил. Всё оказалось меньше: церковь, площадь, казармы, дом полковника Эллизена с садом — сад одичал, клумбы заросли лебедой, и от буквы «Е» из маргариток не осталось и следа. Только коровяк — огромный, жёлтый, в рост человека, — всё так же стоял у забора, и бутоны у него были всё такие же мягкие и пушистые, как кроличьи лапки.

Отец жил в том же домике — маленьком, деревянном, покосившемся, в три окна. Он сидел на завалинке, на солнце, в старой казачьей шинели без погон, — седой, сторбленный, с палкой, — и смотрел на дорогу. Увидев сына, он не встал. Только поднял голову и долго смотрел — шурясь, против солнца.

— Гриша, — сказал он наконец. — Ты.

— Я, батюшка.

Отец помолчал.

— Слыхал, — сказал он. — Мне писали. Отставка. По болезни. — Он посмотрел на сына снизу вверх — внимательно, остро, тем самым взглядом, каким, наверное, смотрел когда-то на дороги и колодцы Кокандского ханства. — Здоров ведь?

— Здоров.

— Ну и хорошо. — Отец вдруг усмехнулся — чуть-чуть, краешком рта. — Садись.

Потанин сел рядом на завалинку.

Они долго сидели молча. Солнце грело. Где-то кудахтали куры. По улице прошла баба с коромыслом. Из открытого окна избы доносился голос тётки Мелании — она стала совсем старая, глухая, огромная, как печь, и кричала на кого-то, на кошку, кажется, — тем же голосом полкового трубача, каким когда-то кричала на Авдотью.

— Куда теперь? — спросил отец.

— В Томск. Там барон Гильзен — помните? Родственник. У него прииски. Поработаю у него, скоплю денег. А потом — в Петербург. В университет.

— В университет, — повторил отец. Он помолчал. — Учиться, значит.

— Учиться.

— Это хорошо. — Отец кивнул. — Я вот не учился. Войсковое училище — какое это учение. Арифметика да строй. — Он помолчал. — А надо было.

Потанин посмотрел на него. Отец сидел, опершись обеими руками на палку, глядя на дорогу, — и лицо у него было спокойное, неподвижное, как у старого степного камня.

— Батюшка, — сказал Потанин. — Я в Омске видел ваши записки. В «Вестнике Географического общества». Про Коканд. «Путешествие в Кокандское ханство хорунжего Потанина».

Отец не шевельнулся. Только пальцы на палке чуть сжались.

— Видел, значит, — сказал он.

— Семёнов говорил — удивительный документ. Он сказал — у вас глаз как у натуралиста. — Потанин помолчал. — Почему вы мне никогда не рассказывали? Ни разу. Ни одного слова.

Отец долго молчал.

— А что рассказывать, — сказал он наконец. — Было и было. Давно. Тридцать лет. — Он вдруг повернулся к сыну. — Ты вот что — подожди.

Он встал — тяжело, с трудом, опираясь на палку, — и ушёл в избу. Его не было долго. Потанин слышал, как он там возится, как скрипит крышка сундука, как тётка Мелания что-то спрашивает, а он отвечает — коротко, глухо. Потом он вернулся. В руках у него был свёрток — что-то завёрнутое в старую, вытертую замшу.

Он сел на завалинку и развернул.

Там лежал компас. Маленький, медный, потемневший от времени, в деревянном футляре с откидной крышкой. Стрелка под мутноватым стеклом дрожала, поворачивалась, искала север.

— Это мне дали, — сказал отец. — Тогда. В двадцать девятом. Когда в Коканд посылали. Сказали — записывай дорогу, хорунжий, всё записывай, что увидишь, куда идёшь, в какую сторону. Я и записывал. По этому компасу. — Он повертел компас в руках. — Потом вернул его в штаб, как положено. А потом, когда меня... — Он запнулся. На секунду — только на одну секунду — лицо его дрогнуло, будто по старому камню пробежала трещина. — Когда я уходил со службы, — сказал он ровно, — я его выкупил. За свои деньги. Последние. На память.

Он протянул компас сыну.

— Возьми. Тебе нужнее. Ты будешь ходить далеко. Я знаю.

Потанин взял компас. Он был тёплый — нагретый солнцем и отцовскими руками. Стрелка дрогнула и повернулась на север.

— Батюшка, — сказал он. — А что тогда было? В Баянауле? За что вас...

Отец посмотрел на него — долго, спокойно, без обиды. Потом отвернулся к дороге.

— Это моё, Гриша, — сказал он тихо. — Моё. Не твоё. Ты своё носи. А моё — со мной уйдёт.

Больше он ничего не сказал.

Потанин так и не узнал никогда — ни в тот день, ни потом, ни через сорок лет, — что случилось в Баянауле. Отец унёс это с собой. Иногда, уже стариком, в Томске, Потанин думал об этом — и понимал, что, наверное, отец был прав. Есть вещи, которые человек должен нести сам. Как грыжу в левом боку — которой нет, но о которой нельзя забывать.

Вечером он сходил на кладбище. Туда, за ограду, где был когда-то холмик Авдотьи.

Холмика не было. Была ровная земля, поросшая полынью и ковылём. Ни креста, ни камня, ни знака. Он ходил долго, вглядываясь в землю, — и не мог найти. Только в одном месте, у самой ограды, полынь росла гуще и выше, и среди неё цвёл какой-то маленький жёлтый цветок, которого он не знал.

Он присел на корточки и долго на него смотрел. Потом достал из кармана записную книжку и записал: «Пресновск. За кладбищенской оградой. Жёлтый цветок. Имени не знаю».

И подумал: Семёнов бы знал. Семёнов бы назвал его по-латыни. А как звали Авдотью — по-калмыцки, до того, как её купили и окрестили, — не знает никто. И никто уже не узнает.

«Они были».

Утром отец проводил его до околицы. Шёл медленно, опираясь на палку, — и молчал. У последнего двора остановился.

— Ну, ступай, — сказал он.

Потанин хотел обнять его — и не посмел. Они никогда не обнимались. Он поклонился — низко, в пояс, по-казацки.

Отец смотрел на него.

— Гриша, — сказал он вдруг. — Тот раз... Когда ты из саней выпал. Маленький. Ночью. Помнишь, я рассказывал?

— Помню.

— Я тогда спал, — сказал отец. — Мы с матерью оба спали. Ямщик заметил. Не я. — Он помолчал. — Я себе этого простить не мог. Всю жизнь. Что не я. Что проспал.

Он повернулся и пошёл обратно — медленно, сторбившись, опираясь на палку. Не оглянулся.

Потанин стоял у околицы и смотрел ему вслед. Потом достал из кармана компас, открыл крышку. Стрелка дрогнула, поколебалась — и указала на север. Туда, где лежал Омск. И Томск. И дальше — за Уралом, за тысячами вёрст — Петербург.

Он закрыл компас, спрятал в карман — рядом с деревянным конём. И пошёл.

Из Омска он уезжал в конце мая, на рассвете, на попутной подводе, с обозом томского купца, — в Томск, к барону Гильзену.

Провожали его все. Филиппьевна напекла столько шанег, что ими можно было накормить полк, и завязала их в огромный узел, и сунула ему в руки, и заплакала, и отвернулась. Фирсыч молча пожал руку — своей маленькой, сухой, жёсткой рукой. Оня, уже не на печи, а на крыльце, в новом сарафанчике, помахала ему ладошкой. Копейкин принёс подарок — карту, нарисованную им самим, тушью, на тонкой бумаге: Обь, Иртыш, Томск, Васюганское болото — с надписью в углу: «Съёмщику людей от съёмщика земли». Пирожков, Чукреев, Усов и ещё пятеро казачьих офицеров — весь выпуск — приехали верхами, при шашках, как тогда, с письмом про французскую булку, и провожали обоз до самого моста через Омь.

У моста они остановились. Выстроились в линию. Отдали честь.

Потанин стоял на подводе, среди тюков, и смотрел на них. Восемь казаков на конях, в лучах восходящего солнца, на фоне белой крепости, над тёмной рекой.

— Гриша! — крикнул Пирожков. — Булку не забудь!

— Не забуду!

Подвода тронулась. Колёса загрохотали по мосту. Казаки остались на берегу — восемь всадников, — и смотрели вслед, и становились всё меньше, меньше.

Потом мост кончился. Омск остался позади — белая крепость, Воскресенский собор, дом генерал-губернатора, частокол острога у Иртыша, маленький домик с сердечками на ставнях, в котором теперь жили чужие люди и в стене которого была дырка от вилки.

Потанин сел на тюк, достал из кармана записную книжку и открыл новую страницу. Подумал. И написал:

«28 мая 1858 года. Выехал из Омска. Отставной хорунжий. Двадцать два года. Денег — двенадцать рублей от выпуска и шесть своих. Имущество: гербарий (два имени на каждом листе), выписки из архива Киндермана (три тетради), общая тетрадь с Чоканом, рисунок верблюда, Паллас, Гейне, латинская грамматика, компас отца, деревянный конь. Грыжа — в левом боку».

Он перечитал, улыбнулся. Потом приписал ниже:

«Свободен».

И долго смотрел на это слово, будто на латинское название незнакомого цветка, который впервые держишь в руках и ещё не знаешь, как он пахнет.



Глава 10. Золотой караван

Первое, что Потанин увидел в Томске, были нищие.

Тарантас поднялся по Московскому тракту на Соборную площадь, прогрохотал по Почтамтской, спустился с Юрточной горы и остановился у ворот двухэтажного каменного дома с вывеской «Гостиница Петербург». И пока пехотный офицер, его попутчик, ходил узнавать про свободные номера, тарантас со всех сторон обступили люди с протянутыми руками. Старуха в лохмотьях. Безногий солдат на тележке. Мальчишка лет восьми, босой, с коростой на губах. Слепой с поводырём. Баба с младенцем.

— Подайте, Христа ради, барин...

Потанин растерянно шарил по карманам. Он никогда не видел нищих — таких, толпой, у ворот гостиницы. В Омске, в Семипалатинске, в Усть-Каменогорске их не было — там были одноэтажные деревянные дома, большие сёла, а не города, и бедность там была другая, своя, деревенская, — её кормили соседи. А здесь была улица, широкая, мощёная, с тротуарами, которых он никогда прежде не видел, с каменными домами в два и три этажа, с воротами под домом, о которых он только читал в романах, — и у этих ворот стояли нищие. Чужие. Ничьи.

Ему показалось, что он попал в картинку из Диккенса. В «Оливера Твиста», которого он читал в Омске, в переводе, из библиотеки Капустиных, через Чокана.

Тарантас с громом въехал в ворота. Нищие остались на улице.

Потом, когда они пили чай у раскрытого окна, на Почтамтской гуляла праздничная толпа — и Потанин смотрел на неё, высунувшись по пояс, как мальчишка. Толпа была не омская. Ни одной военной фуражки. Ни одного мундира. Картузы, цилиндры, шляпки с лентами, купеческие поддёвки, студенческие... нет, студентов в Томске не было, — гимназические шинели, семинарские рясы. Город, в котором никто никому не козырял.

Он смотрел и думал: а ведь можно, значит, и так. Город — без крепости. Без плаца. Без дубовой скамьи посередине.

Было девятое мая тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года. Ему было двадцать два. В кармане лежало восемнадцать рублей, справка о грыже в левом боку и компас отца.

Последние тридцать вёрст до прииска дороги не было.

Была просека — узкая, прорубленная в тайге, заросшая осокой на кочках, между которыми стояла чёрная вода. Лошадь шла медленно, осторожно, — то опускала ногу в яму, то ставила на кочку, — и всадник то клевал вперёд, то откидывался назад, как на палубе в качку. Из-под копыт летели брызги, жидкая грязь, комья торфа. К полудню Потанин был забрызган по пояс. К вечеру — по грудь. Над ним висела туча комаров — серая, гудящая, неотвязная, — и сквозь неё по сторонам стояла тайга: пихты, кедры, ели, мохнатые, тёмные, неподвижные, обросшие седыми бородами лишайника, — тайга, похожая на стены острога.

Он вспомнил рассказы Копейкина о Васюгане. «Вся земля качается, как палуба. Мы шли и качались». Это было похоже.

Прииск открылся внезапно — на закате, за поворотом просеки, в широкой долине речки, — и Потанин придержал коня.

Это было похоже на дом, который только что оставили грабители. Подушки и перины сброшены с кровати. Ящики из комода выдвинуты и опрокинуты. Шкатулки разбиты. Вся долина — на версту, на две — была перевёрнута, перекопана, вывернута наизнанку. Где был вековой нанос в несколько сажен высотой — там зиял разрез в несколько сажен глубиной. Где было русло — там высились отвалы, серые горы промытого песка и гальки. Река была пущена по деревянным желобам и текла не там, где текла тысячу лет, а там, где велели люди. Вокруг, на вырубке, торчали пни — тысячи пней, — а за пнями, со всех сторон, стояла тайга, тёмная, молчаливая, будто смотрела.

И по этой развороченной долине, в разрезах, на отвалах, у желобов, копошились люди. Сотни людей. С кайлами, с лопатами, с тачками, с ведрами. Как муравьи в разрытом муравейнике.

Посреди этого разорения, на пригорке над речкой, стоял дом. Двухэтажный, бревенчатый, с мезонином, с балконом на резных столбиках, с белыми ставнями, с цветником перед крыльцом. Из окон лился мягкий жёлтый свет — свечи, лампы. И оттуда, из раскрытого окна мезонина, доносилась музыка.

Кто-то играл на фортепьяно Шуберта.

Барон Гильзен — по паспорту Гюллессем фон Мершейд, но так его не звал никто, — был родственником Потанина по странной, изогнутой линии, какие бывают только в Сибири. Он был женат на вдове дяди Дмитрия — той самой тётке Павле Александровне, сухой и надменной, которая когда-то не замечала сироту при живом отце. Конюх Фёдор в Копале говорил, что она продала табуны и уехала в Россию, — на линии вообще любили отправлять «в Россию» всех, кто исчезал из виду. На самом деле она никуда не уехала: вышла за барона. Теперь её уже не было в живых. А барон остался — с её деньгами, вернее, с тем, что от них осталось, и с двумя дочерьми.

История барона была сибирской историей. Молодым человеком, только что окончившим Дерптский университет, он получил место городничего в Семипалатинске — по протекции какого-то дальнего родственника. Перед отъездом зашёл к своим профессорам. Профессора расписали ему радужными красками, в какие благоприятные условия он попадает для расширения знаний о таинственном центре Азии. Барон загорелся. Он повёз с собой в Семипалатинск многотомное сочинение Карла Риттера «Землеведение Азии» — двенадцать томов, в кожаных переплётах, по-немецки, — чтобы изучать Азию на месте.

В Семипалатинске он не знал ни слова по-русски. Он учился — и долго путал: говорил кучеру «положи лошадь в сани» вместо «заложи». Он был красив, молод, изысканно одевался. И он встретил молодую вдову, недавно похоронившую мужа, — у которой было десять тысяч лошадей.

Благородные планы насчёт Азии были забыты. Барон женился, построил загородную виллу, выкопал пруд, завёл оркестр, давал балы, — и растратил весь табун. Пришлось бросить службу городничим и наняться управляющим на чужой прииск в киргизской степи. А потом он сам нашёл золото — здесь, в Мариинской тайге, в горах Кузнецкого Алатау, — и открыл свой прииск. Онуфриевский. И переселился сюда с семьёй — в болото, в тайгу, за тридцать вёрст от ближайшей дороги.

И привёз с собой всё: фортепьяно, книги, картины, сервизы, ковры, — и бюсты.

Бюсты стояли в гостиной, вдоль стены, на высоких подставках из карельской берёзы: Гомер, Сократ, Цицерон, Данте, Шекспир, Гёте, Шиллер. Белые, мраморные — нет, гипсовые, раскрашенные под мрамор, — с пустыми глазами, они смотрели поверх голов гостей в окна, туда, где за стеклом, в сумерках, лежала развороченная долина и копошились в разрезах чтыреста человек.

Потанин стоял посреди гостиной — в грязи по грудь, с комариными укусами на лице, с котомкой за плечами — и смотрел на Гомера. Гомер смотрел мимо.

— Риттер, — сказал барон, перехватив его взгляд, и показал на книжный шкаф. Там, на верхней полке, стояли двенадцать томов в кожаных переплётах — нетронутых, с неразрезанными страницами. — Я его так и не прочёл. Двадцать лет вожу с собой. — Он вздохнул. — Может быть, вы прочтёте?

Барон принял его сдержанно.

Он был теперь немолод — лет пятидесяти, — но всё ещё красив, тщательно выбрит, с седыми бакенбардами, в бархатном сюртуке, в белоснежной сорочке с кружевным жабо, будто собиравшийся на бал в Ревеле, а не жил в таёжном болоте. Говорил он по-русски уже хорошо, но

с мягким остзейским акцентом. Выслушал племянника — нет, не племянника, а что-то вроде пасынка дважды покойного дяди, — молча, перебирая пальцами брелоки на цепочке часов.

— Служба, — сказал он наконец. — Вы хотите у меня служить. Хорошо. Но какую же службу я могу вам дать, Григорий Николаевич? Начальником стана? У вас нет опыта. Материальным экономом? Тоже нет опыта. — Он помолчал. — Есть ещё должность нарядчика. Но вы ведь сами не захотите.

— А что делает нарядчик?

Барон посмотрел на него.

— Нарядчик стоит над рабочими, которые копают пески, — сказал он. — С кнутом в руке. И следит, не заснул ли кто. И если заснул — будит. Кнутом.

Потанин молчал. Перед глазами у него встала дубовая скамья на семипалатинском плацу.

— Вот видите, — сказал барон мягко. — Не захотите. — Он вдруг улыбнулся — устало, по-доброму. — Поживите у меня до осени. Просто так. Гостем. Читайте. Гуляйте. Собирайте ваши травы. А осенью я поеду на родину, в Эстляндию, — и довезу вас до Петербурга. И, может быть, дам стипендию. — Он развёл руками. — Если прииск даст то, что обещает. Четыре пуда золота. Тогда я заплачу долги и буду богат, и вы будете учиться.

Он сказал «если» — и Потанину на мгновение показалось, что в глазах барона мелькнуло что-то тоскливое, загнанное. Но только на мгновение.

Так он прожил всё лето в доме с бюстами.

Это был странный дом. Маленький культурный оазис в болоте. По утрам старшая дочь барона, Эмилия, играла на фортепьяно Шуберта и Мендельсона. Младшая, Аделаида, вышивала ажурные салфетки — тончайшие, как паутина, — и раскладывала их по всем столам и креслам, так что в гостиной нельзя было никуда положить руку, чтобы не задеть кружева. Обедали в четыре часа, при свечах, на фарфоре, с серебряными приборами; подавали дичь, рыбу, привезённое из Томска вино. После обеда барон читал вслух Гёте — по-немецки, с чувством, — а дочери слушали, опустив глаза.

А за окнами, в разрезах, работали четыреста человек.

Потанин ходил туда каждый день. Сначала просто смотреть, потом — разговаривать.

Рабочие были — сброд. Так называл их управляющий. Беглые, ссыльные, бродяги, отставные солдаты, разорившиеся крестьяне, бывшие каторжники, татары, киргизы, поляки, — со всей Сибири, со всей России. Их нанимали весной в Томске, в кабаках, давали задаток — который они тут же пропивали, — и гнали пешком в тайгу. Работали они с рассвета до темноты, по пояс в ледяной воде, в грязи, под тучами комаров. Жили в бараках, по сто человек, на нарах. Ели хлеб, кашу, солонину. Получали — по контракту — в конце сезона расчёт. Если было из чего платить.

Управляющим прииска был томский мещанин Федот Кузьмич Лобанов — высокий, здоровенный, краснорожий, с огромными кулаками и с глазами навывкат, за которые рабочие звали его «Рак» или «Рачьи глаза». Он ходил по разрезам с кнутом за голенищем и смотрел на рабочих так, как Мессарош смотрел на полковую кассу — с подозрением и с презрением. Рабочие его ненавидели. Барон ему доверял — всецело, слепо. Барон вообще не занимался делами прииска. Он занимался Гёте.

— Вы, барин, к нам не ходите, — сказал однажды Потанину старый рабочий, к которому он подсел на отвале в обеденный перерыв. — Рак не любит. Скажет — подговариваете.

— Я ничего не подговариваю. Я спрашиваю.

— Вот за это и скажет, — усмехнулся старик. — У нас спрашивать — хуже, чем подговаривать.

Старика звали Евсей Тимофеевич. Ему было за шестьдесят. Он работал на приисках сорок лет — на Енисее, на Бирюсе, на Урале, — и на Онуфриевском восьмой год, с самого открытия. Он был маленький, сухой, весь коричневый, как корень, с белой бородой и с руками,

искривлёнными от сорока лет кайла и лопаты, — руки у него не разгибались до конца. Он знал о золоте всё.

Он рассказывал Потанину о золоте по вечерам, в бараке, при лучине, — и Потанин записывал.

— Золото — оно живое, барин, — говорил Евсей. — Вы, учёные, думаете — металл. Камень. А оно — живое. Оно ходит. Оно в земле, как кровь в жилах, — ходит туда-сюда, ищет, где ему лучше. Где люди честные — туда идёт. Где жадные — оттуда уходит. — Он покачал головой. — Я сорок лет видал. Найдут богатую жилу — начнут хапать, обманывать, рабочих обсчитывать, — и золото уходит. Вчера было — сегодня нету. Копай хоть до ада — нету.

— А кто его уводит?

— Хозяйка, — сказал Евсей тихо и оглянулся на дверь. — Хозяйка горы. Она под землёй живёт, в каменных палатах. Золото — её. Она его даёт, кому хочет, и забирает, у кого хочет. Ей жадных не надо. Ей надо, чтоб по-честному. — Он помолчал. — Шорцы её знают. Это народ тут такой, в горах живёт, кузнецы. Они говорят — у каждой горы есть хозяин или хозяйка. Тау-ээзи. Они руду берут — сперва хозяину кланяются. Подарок оставляют. Просят. И им хозяин даёт. А мы — не просим. Мы хапаем. Вот она и сердится.

Потанин вздрогнул. Тау-ана. Мать гор, которая прядёт воду за водопадом на Иссыке. Тау-ээзи. Хозяин горы. Хозяин тайги, с которым разговаривал Иванов. Это было одно и то же — от Семиречья до Кузнецкого Алатау, у казахов, у алтайцев, у шорцев, у кержаков: у земли есть хозяин. Земля не ничья. Земля — живая. И её нельзя брать, не спросив.

— А здесь, на Онуфриевском, — спросил он, — Хозяйка сердится?

Евсей долго молчал.

— Сердится, — сказал он наконец. — Ох, сердится, барин. Вот увидите.

Он увидел в июле.

Осенью, перед сезоном, на нетронутых участках прииска были пробиты шурфы — глубокие узкие ямы, из которых брали пробы песка, чтобы определить, сколько в нём золота. Пробы дали отличные показания. Ввиду этого барон увеличил число рабочих до четырёхсот человек и рассчитывал намыть к осени четыре пуда — это покрыло бы большую часть его долгов, а долгов у него было семьдесят тысяч.

С весны началась промывка. И скоро стало ясно, что пески вдвое беднее, чем показали осенние пробы.

Рабочие заговорили. Сначала тихо, по баракам. Потом громче. Говорили, будто управляющий Лобанов устроил ложное показание шурфов — подсыпал в них золото перед пробой. Будто он вступил в сговор с томскими денежными тузами, у которых кредитовался барон, — чтобы дать им возможность объявить барона несостоятельным и забрать прииск. Будто Рак получит за это свою долю.

К середине лета для всех стало ясно: вместо четырёх пудов будет не больше одного. И барону нечем будет заплатить рабочим за сезон.

— Подсыпал, — сказал Евсей Потанину, когда они сидели вечером на отвале. — Я знаю, что подсыпал. Я видал, как он ночью к шурфам ходил. С мешочком. Я тогда ещё подумал — зачем? А теперь понял. — Он сплюнул. — Вот Хозяйка и ушла. Не любит она, когда в землю чужое золото кладут. Это — обман. Это — как в церкви украсть.

Наутро рабочие не вышли в разрезы.

Они собрались у конторы — все четыреста, — снесли к крыльцу кайлы и пешни, сложили в кучу и потребовали расчёта. Контора — в лице писаря и двух приказчиков — велела выходить на работу. Толпа зашумела. Из конторы выскочил Лобанов — красный, с кнутом, с рачьими глазами навывкате — и закричал:

— По местам, сволочь! Запорю! В острог!

И тогда гнев толпы обрушился на него.

Потанин видел это с крыльца баронского дома. Он видел, как толпа качнулась к Лобанову, как тот, побелев, кинулся бежать — к своему дому, на краю прииска, — как захлопнул двери, закрыл ставни. Как толпа окружила дом. Как кто-то крикнул: «Бревно!» — и двадцать человек побежали к лесному складу и вернулись с бревном — огромным, кедровым, — и, раскачав, ударили им в дверь. Дверь затрещала. Удар. Ещё удар. Из дома доносился визг — Лобанов? его жена? — и звон разбитого стекла.

Потанин стоял на крыльце и не знал, что делать. Он вспомнил Алматы — толпу из пятидесяти человек, которую он остановил один. Но там было другое. Там толпа хотела убить невиновного. А здесь...

Здесь он не знал, кто прав.

И тут из дома вышел барон.

Он вышел в своём бархатном сюртуке, в белоснежной сорочке с жабо, без шляпы, — и медленно, не торопясь, пошёл через весь прииск к дому управляющего, к толпе с бревном. Один. Без оружия. Барышни кричали ему с балкона по-немецки. Он не оборачивался.

Толпа увидела его — и остановилась. Бревно повисло в воздухе.

Барон подошёл к толпе. Остановился. Посмотрел на них — на четыреста грязных, потных, злых, обросших людей с бревном в руках. И снял — Потанин видел это отчётливо — снял с руки перчатку.

— Братцы, — сказал барон. Он сказал это по-русски, с остзейским акцентом, и голос у него дрожал. — Братцы. Я знаю. Я всё знаю. Я виноват. Я не смотрел. Я Гёте читал. — Он помолчал. — Не трогайте его. Он того не стоит. Вас за него в каторгу пошлют. А он — подлец, это правда. Но вы — не подлецы. Не становитесь.

Толпа молчала.

— Я вам заплачу, — сказал барон. — Не сейчас — сейчас мне нечем. Но заплачу. Я дворянин. Я даю слово.

Толпа молчала долго. Потом кто-то сзади сказал:

— Ну его, ребята. Барин — он не виноват. Он дурак, а не подлец.

И кто-то засмеялся. И ещё кто-то. И бревно опустилось на землю.

Толпа разошлась.

Жизнь на прииске замерла. Разрезы стояли пустые. Желоба высохли. Отвалы зарастали иван-чаем.

В Томск полетело донесение о бунте. Через неделю приехали жандармы — полувзвод, с офицером. Офицер походил по прииску, поговорил с Лобановым, поговорил с бароном, на рабочих посмотрел издали. Никого не арестовали — не за что было: дверь не выломали, управляющего не тронули. Кончилось тем, что рабочих отпустили по домам. Без расчёта. Под конвоем, до Мариинска.

Они уходили по просеке — длинной серой вереницей, четыреста человек, с котомками, с кайлами на плечах, — и тайга смыкалась за ними, как вода.

Прииск совсем обезлюдел. Остались только несколько десятков старых рабочих — тех, кто служил здесь пять, восемь, десять лет. Евсей среди них. Им некуда было идти. Прииск был для них домом.

А через три дня они пришли к барону.

Потанин был в гостинной, когда они пришли. Человек двадцать — старых, седых, в рваных армяках, — они стояли у крыльца, сняв шапки, и мялись. Впереди стоял Евсей. В руках у него была шапка, а в шапке — деньги. Медяки, серебро, мятые ассигнации.

Барон вышел на крыльцо.

— Ваше благородие, — сказал Евсей и поклонился. — Мы тут... это... Мы собрали. Промеж себя. Кто сколько мог. Триста рублей тут. — Он протянул шапку. — Возьмите. На дорогу. До Томска. Вы там новых кредиторов сыщите. Займите. Прииск-то — он хороший. Золото

здесь есть, Хозяйка вернётся, если по-честному. А Рака — гоните. — Он помолчал. — Мы думали — у вас, поди, и на выезд в Томск денег нету.

Барон стоял на крыльце и смотрел на шапку с деньгами.

У него было семьдесят тысяч долгу. У него был дом с бюстами, фортепьяно, серебро, двенадцать томов Риттера. А эти люди — эти старики в рваных армяках, которым он не заплатил за сезон ни копейки, — собрали ему по медяку триста рублей. Чтобы он доехал до Томска.

Барон заплакал.

Он плакал, стоя на крыльце, в бархатном сюртуке, — по-детски, некрасиво, всхлипывая, утирая слёзы кружевным жабо. Потом спустился с крыльца, подошёл к Евсею — и обнял его. Старика-рабочего. В рваном армяке. Пахнущего потом и землёй.

Потанин стоял в дверях гостиной. За его спиной, на подставках из карельской берёзы, стояли гипсовые Гомер, Сократ, Цицерон, Данте, Шекспир, Гёте и Шиллер. Они смотрели поверх голов, в окно, — и ничего не видели.

Вечером он записал в книжку: «Онуфриевский. Старые рабочие собрали барону 300 руб. — ему, который им не заплатил. Помочи. Как у кержаков. Как в слободке у Чалкова. Как Филиппьевна. Как выпуск — 12 руб. Везде одно: сверху — обман, снизу — помочи. Государство и Рак подсыпают чужое золото в шурфы. Народ собирает медяки в шапку».

Вместе с банкротством барона, с разрушением надежд рабочих, Потанин почувствовал себя банкротом и сам. Петербург, стипендия, Эстляндия — всё рухнуло. Нужно было уезжать с прииска в Томск — с пустым карманом.

Барон, прощаясь, держал его за руку и выражал большое сожаление. Он обещал, когда выедет в Томск и найдёт деньги, всё-таки позаботиться о судьбе Потанина. Он был искренен. Он всегда был искренен.

— Я прошу у вас только одного, — сказал Потанин. — Письмо.

— К кому?

— К Бакунину.

Барон поднял брови.

— К Михаилу Александровичу? Вы его знаете?

— Нет. Слышал.

Он слышал. Два года назад, в Омске, Чокан рассказывал ему о Бакунине — о том, как его провозили через Омск из Шлиссельбургской крепости в ссылку, в Томск. Генерал-губернатор Гасфорд пожелал его видеть — из любопытства, как хотят видеть знаменитого зверя в клетке. Чокан был в тот день дежурным адъютантом и присутствовал при свидании. И рассказывал потом Потанину, понизив голос, с горящими глазами: «Ты бы видел, Гриша. Огромный. Седой. Беззубый — зубы в крепости выпали, от цинги. В арестантском. А держался — как король. Как будто это он принимает Гасфорда, а не Гасфорд его. Гасфорд что-то говорил ему — про милость государя, про раскаяние, — а он слушал, слушал, а потом сказал: “Ваше высокопревосходительство, я восемь лет просидел на цепи. Я научился ждать. Я подожду и вашей милости”. И Гасфорд покраснел. Я первый раз видел, как Гасфорд краснеет».

— Я его знаю, — сказал барон. — Немного. Мы встречались в Томске, у губернатора. Он у меня даже денег занимал. — Барон слабо улыбнулся. — Он у всех занимает. И никому не отдаёт. Но с ним интересно. — Он сел за стол, взял перо. — Хорошо. Я напишу.

Потанин не думал, что Бакунин найдёт ему средства на поездку в Петербург. Он не просил у судьбы так много. Он хотел только одного — сочувствия. Чтобы кто-нибудь большой, сильный, знающий жизнь, сказал ему: «Вы правы. Езжайте». Ему казалось, что, если это скажет Бакунин, он поедет — хоть пешком.

Бакунин жил в Томске на Ефремовской улице, в собственном доме, недавно купленном. Он только что женился.

Потанина встретила в прихожей молоденькая женщина — почти девочка, лет восемнадцати, — тоненькая, светловолосая, с нежным розовым лицом и большими испуганными голубыми глазами. Она была одета по-европейски, в лёгкое платье с оборками, и говорила по-русски с польским акцентом.

— Вы к Мишелю? — спросила она. — Он в кабинете. Он там кричит. Не пугайтесь. Он всегда кричит.

Это была Антонина Ксаверьевна, урождённая Квятковская, дочь ссыльного польского шляхтича, служившего в Томске на каком-то мелком месте. Бакунин давал ей уроки французского — и вот, женился.

Из кабинета действительно доносился крик. Громовой, раскатистый голос — такой, что дребезжали стёкла в окнах, — говорил что-то по-немецки, быстро, страстно, с хохотом. Потом другой голос — тонкий, робкий — что-то отвечал. Потом снова громовой — и хохот, от которого, казалось, качнулся дом.

Потанин вошёл.

И первое, что он почувствовал, — жару. В кабинете было жарко, как летом в Семиречье. Печь была натоплена докрасна. За окнами лежал октябрьский снег, а здесь, внутри, стояла температура, какая бывает зимой в домах Северной Италии, — Бакунин, как потом узнал Потанин, нарочно поддерживал её: «Я восемь лет мёрз в казематах. Хватит. Пусть теперь мёрзнет Сибирь — а я буду жить, как в Неаполе».

А второе, что он увидел, — его.

Бакунин сидел в огромном кресле у стола, — нет, не сидел, а возвышался, — и сам был огромен. Таких людей Потанин не видел никогда. Даже сидя, он был выше стоящего. Плечи — как у грузчика, грудь — как бочка, руки — как лопаты. Голова — огромная, лобастая, с копной седеющих, всклокоченных, ни разу не чёсанных, кажется, волос, падающих на воротник, — львиная голова. Лицо — широкое, крупное, с мясистым носом, с толстыми губами, с запавшим беззубым ртом. И глаза — большие, светлые, синие, детские, весёлые, — глаза, в которых не было ни тени восьми лет крепости, двух смертных приговоров, цепи, цинги, Сибири. Глаза человека, который только что проснулся в солнечное утро и собирается сделать что-то необыкновенно приятное.

На нём был широкий халат, расстёгнутый на груди. На столе, среди бумаг, книг, писем, газет, стоял самовар, и рядом — пять или шесть пустых стаканов. Пепельница была полна окурков. В руке он держал папиросу, другую — во рту, третья дымилась на краю пепельницы.

Напротив него, на стуле, сидел маленький, лысый, растерянный немец в очках — ветеринарный врач Герман, как потом узнал Потанин, — и вытирал лоб платком.

— А! — сказал Бакунин, увидев Потанина. — А! Гость! Новый человек! Прекрасно! Входите, входите! Кто вы? Откуда? Чего хотите? Чаю хотите? Тоня! Тоня, чаю! — Он протянул к Потанину огромную ручищу. — Бакунин. Михаил. Садитесь. Это — Герман, он ветеринар, он лечит лошадей и спорит со мной о Гегеле, и я его уже почти убедил, что Гегель — осёл. Правда, Герман?

— Найдн, — слабо сказал Герман. — Нихт ганц.

Бакунин захохотал — так, что звякнули стаканы.

Потанин протянул ему письмо барона. Бакунин разорвал конверт, пробежал глазами — быстро, одним взглядом, — бросил на стол.

— Гильзен, — сказал он. — Бедный, милый, глупый Гильзен. Прогорел? Я так и знал. Он ведь думает, что золото добывают, читая Гёте. — Он посмотрел на Потанина — внимательно, долго, сверху вниз и снизу вверх, будто взвешивал. — Значит, вы — казак? Отставной? Из Омска? И едете в Петербург — учиться?

— Да.

— Через Томск?

— Через Томск.

В этот момент в кабинет вошёл ещё кто-то — какой-то томский чиновник, с бумагами. Он услышал последние слова и удивился:

— Как так — из Омска в Петербург через Томск? Это же в обратную сторону!

Бакунин повернулся к нему и сказал с величайшей серьёзностью:

— Такие курьёзы в жизни бывают, батенька. Вот я, например, из Петербурга в Томск приехал — через Париж. Через Дрезден, Прагу, Ольмюц, Петропавловскую крепость и Шлис-сельбург. Самый короткий путь.

И захохотал снова.

Потанин смотрел на него — и чувствовал то, что, наверное, чувствовал маленький Гриша, впервые увидев белые горы над Копалом. Что-то огромное. Невозможное. Что-то, чего не бывает.

Он стал приходить к Бакунину каждый день.

Сначала — за книгами. В кабинете у Бакунина стоял шкаф — большой, дубовый, под самый потолок, — и в нём была библиотека декабриста Батенькова. Гавриил Степанович Батеньков, сибиряк родом, просидевший двадцать лет в одиночной камере Петропавловской крепости, потом — в ссылке в Томске, — уезжая из Сибири после амнистии, продал свои книги Бакунину. И продал с напутствием, которое Бакунин любил повторять, торжественно поднимая палец:

— «Сибирь — страна малопросвещённая и бедная книгами. Нужно держаться правила: не увозить из неё книг. Я уезжаю, но книг не увожу, а продаю вам. И вам рекомендую: если поедете из Сибири — не увозите их, а продайте здесь же». — Бакунин опускал палец. — Вот, слышите? Это — завещание. Декабрист двадцать лет просидел в одиночке — и единственное, о чём он думал, уезжая: чтобы книги остались в Сибири. Не увозить из Сибири! — Он вдруг грохнул кулаком по столу. — А что у нас делают? Всё увозят! Золото — увозят. Серебро — увозят. Пушкину — увозят. Людей — увозят! Всё, что есть в Сибири хорошего, — увозят в Петербург. А взамен присылают — каторжников, жандармов и генерал-губернаторов. Это — справедливо?

Потанин брал книги. «Космос» Гумбольдта, в русском переводе. «Картины природы». Старые журналы. Он читал их по ночам, в маленькой комнатке, снятой на окраине, за рубль в месяц, при сальной свече. И Гумбольдт рассказывал ему о единстве природы — о том, что всё на свете связано: горы, реки, растения, животные, люди, климат, — что нельзя понять одно, не понимая другого, — и Потанин читал и думал о Семёнове с его латинскими именами, и о Евсее с его Хозяйкой горы, и ему казалось, что Гумбольдт и Евсей говорят об одном и том же. Только разными словами.

А потом он стал приходить уже не за книгами. А просто — к Бакунину.

Невозможно было рассказать, каким был Бакунин. Потанин потом пытался — много раз, — и у него не выходило.

Он был огромен — во всём. Он огромно ел: за обедом съедал столько, сколько трое казаков, — и всё хвалил: «Божественно, Тоня! Ты — богиня!» Он огромно пил чай — по двадцать, по тридцать стаканов за вечер, — и самовар у него не остывал. Он огромно курил — папиросу за папиросой, не выпуская изо рта. Он огромно говорил — часами, без перерыва, перескакивая с немецкого на французский, с французского на русский, с Гегеля на Прудона, с Прудона на Бетховена, с Бетховена на сибирских крестьян. Он огромно смеялся — так, что дрожали стёкла. И он огромно, безмерно, бездумно, по-царски — раздавал.

Он раздавал всё. Деньги — те, что ему присылали из России родные, — он раздавал в тот же день: ссыльным полякам, нищим студентам, вдовам, погорельцам, первому встречному, рассказавшему жалостную историю. Потом он занимал — у барона Гильзена, у купцов,

у чиновников, у губернатора, — и снова раздавал. Он никогда не отдавал долгов. Но и никогда не отказывал никому, кто просил. «Деньги, — говорил он, — это навоз. Их надо разбрасывать по полю. Тогда что-нибудь вырастет. А если копить их в куче — они только воняют».

И людям он раздавал себя. Своё время, свои силы, своё внимание, своё огромное, горячее, безмерное сердце. Он мог часами слушать какого-нибудь ссыльного поляка, рассказывающего о своей тоске по родине, — и плакать вместе с ним. Мог полдня ходить по томским канцеляриям, хлопоча за какого-нибудь мужика, у которого отобрали землю, — мужика, которого он видел один раз в жизни. Мог сесть и написать за неграмотную бабу прошение губернатору — на четырёх страницах, с такой силой и таким красноречием, что губернатор, прочтя, велел немедленно удовлетворить.

— Человек свободен, — говорил он, — только среди свободных людей. Пока хоть один человек на земле — раб, я тоже не свободен. Понимаете, Потанин? Не могу быть свободен. Это — как болезнь. Как ревматизм. Чужая цепь у меня ноет в костях.

По вечерам, когда уходили гости, когда Антонина Ксаверьевна уходила спать, когда Герман, проиграв очередной спор о Гегеле, уезжал домой на своей смирной кобыле, — Бакунин оставлял Потанина. Садился у печки, вытягивал огромные ноги в войлочных туфлях к огню, закуривал — и рассказывал.

Он рассказывал о себе. О своей юности — о Премухине, родовом имении в Тверской губернии, с липовыми аллеями, с прудами, с пятью сёстрами, в которых были влюблены все молодые философы Москвы. О Станкевиче, о Белинском, о Герцене, с которыми спорил ночами напролёт о Гегеле в московских кружках. О Берлине, где слушал лекции. О Париже, где познакомился с Прудоном и Жорж Санд и спорил с молодым немцем по фамилии Маркс.

— Маркс, — сказал он и поморщился, как от кислого. — Умный человек. Очень умный. Учёный. Много знает. Но — немец. Немецкий профессор. Он любит государство, Потанин. Он думает, что если взять государство и отдать его рабочим, то всё станет хорошо. Что надо только поменять хозяина. — Бакунин покачал головой. — Глупость. Государство — это не лошадь, которую можно отобрать у одного хозяина и отдать другому. Государство — это болезнь. Это опухоль. Кто бы ни сидел на троне — царь, министр, рабочий, — он станет тираном. Потому что власть развращает. Всегда. Всех. — Он затыкнулся. — Дайте самому пламенному революционеру абсолютную власть — и через год он будет хуже царя.

Потанин вспомнил солдата на берегу Иртыша. «Дайте человеку власть над другим человеком — и палач проснётся».

Он рассказывал о сорок восьмом годе — о революции, которая прокатилась по всей Европе, как весенний пал по степи. О Праге — о славянском съезде, о баррикадах. О Дрездене — о майском восстании сорок девятого года, когда он, Бакунин, командовал обороной города, а рядом с ним на баррикадах стоял молодой капельмейстер королевского оркестра — Рихард Вагнер.

— Вагнер, — сказал Бакунин и вдруг засмеялся. — Вы не знаете Вагнера? Узнаете. Великий музыкант. Гений. И сумасшедший. Он залезал на колокольню Крестовой церкви и оттуда, сверху, кричал нам, где пруссаки. А накануне, перед восстанием, я был у него на репетиции. Он дирижировал Девятой симфонией Бетховена. И когда кончилось, я подошёл к нему и сказал: «Рихард, когда всё сгорит — а всё сгорит, вся эта старая гнилая Европа, все её дворцы, тюрьмы, церкви и банки, — когда всё сгорит в огне революции, — эту музыку надо спасти. Её одну. Даже с опасностью для жизни». — Он помолчал. — Я и сейчас так думаю.

Он рассказывал о том, как Дрезден пал. О плене. О саксонском суде — смертный приговор. О выдаче Австрии — снова смертный приговор. О крепости Ольмюц, где его приковали цепью к стене — за пояс, — и он полгода просидел на цепи, как собака, не имея возможности сделать больше двух шагов. О выдаче России. О Петропавловской крепости — Алексеевском равелине. О Шлиссельбурге.

— Восемь лет, — сказал он. — Восемь лет в камере. Без книг — первые годы. Без людей. Без писем. Без неба. Только стена. — Он открыл рот и показал пальцем на голые дёсны. — Вот. Цинга. Зубы выпали все, один за другим. Я их складывал в коробочку. Думал — пошлю царю. В подарок. — Он засмеялся. — Не послал. Забыл.

— Как же вы выдержали? — спросил Потанин тихо.

Бакунин долго смотрел в огонь.

— Я думал, — сказал он. — Восемь лет я думал. Обо всём. О человеке, о Боге, о государстве, о свободе. О России. — Он помолчал. — И знаете, что я понял, Потанин? Я понял, что в крепости — я был свободен. Больше, чем когда-либо. Потому что у меня отняли всё — и бояться стало нечего. — Он повернулся к нему, и глаза его блестели в свете огня. — Свобода — она не снаружи. Она внутри. Её нельзя отнять. Её можно только отдать. Добровольно. Из страха.

Потанин вспомнил Чокана: «Книги в голове не найдёшь. Это единственное, что у них нельзя отнять».

А потом, однажды — это было в конце октября, когда уже лёг снег, — разговор зашёл о Сибири.

Начал его Потанин. Сам не заметив как. Бакунин спросил его о службе, о казаках, о Семиречье, — и Потанин стал рассказывать. Про Перемышльского: «Мы идём брать землю у людей, которые на ней живут тысячу лет». Про Таучубека и четыре шеста. Про Кульджу и консула Захарова, который гулял по западной дороге. Про Мессароша с канарейкой, про Чалкова, про слободку, где все пришли. Про Романовского: «Порядок — это когда людям хорошо». Про Иванова, кержака, и помочи, и Беловодье: «Может, его не надо искать за горами. Может, его надо строить здесь». Про Филиппьевну с шаньгами. Про архив Киндермана и Амурсану, которого выкапывали и показывали китайцам. Про одну-единственную баржу соли на пустом Иртыше — и тысячу пароходов на Волге. Про Дурова: «Сибиряк — это, может быть, новая национальность. Её ещё надо придумать». Про Евсея и триста рублей в шапке.

Он говорил долго — может быть, час, может быть, два. Он никогда так долго не говорил. Бакунин слушал. Он не перебивал — ни разу, что было на него совсем не похоже. Он сидел неподвижно, огромный, у печки, и только курил — папиросу за папиросой, — и смотрел на Потанина своими синими детскими глазами.

Когда Потанин замолчал, Бакунин долго ничего не говорил.

Потом встал. Подошёл к стене. На стене висела карта — большая, подробная, генерального штаба, — карта Азиатской России. Сибирь. От Урала до Тихого океана. Бакунин постоял перед ней, заложив руки за спину. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Вы понимаете, Потанин, что вы мне сейчас рассказали?

— Что?

— Вы мне рассказали, — сказал Бакунин медленно, — что Сибирь — колония.

Потанин молчал.

— Колония, — повторил Бакунин и повернулся. — Такая же, как Индия у англичан. Как Алжир у французов. Как Ирландия. Её завоевали — у киргизов, у калмыков, у джунгар, у остяков, у бурят. Её грабят — золото, серебро, пушнину, соль везут в Петербург, а сюда ничего не возвращается. Её населяют каторжниками — как Англия Австралию. Её правят чужие люди — генерал-губернаторы, присланные из Петербурга, которые не знают ни её земли, ни её людей, ни её языков и которые думают только о том, чтобы поскорее нажиться и уехать. И которые сочиняют для неё новые религии. — Он фыркнул. — Ваш Гасфорд! Я его видел. Я с ним разговаривал. Он похож на гипсового Цицерона из гостиной Гильзена — такой же пустой и такой же торжественный.

Он прошёлся по кабинету — три огромных шага туда, три обратно.

— Но вы рассказали мне и другое, — сказал он. — Гораздо важнее. Вы рассказали мне, что здесь, в этой колонии, внизу, под генерал-губернаторами, под жандармами, под Мессарошами и Раками, — живут люди, которые умеют жить без них. Которые косят сено вдове всем миром. Которые несут калачи каторжникам. Которые собирают медяки в шапку для разорившегося барона. Которые сорок лет живут в горах без попов, без исправников и без пачпортов — и живут лучше, честнее, свободнее, чем живут в Петербурге. Которые знают, что у земли есть хозяин — и что этот хозяин не царь. — Он остановился. — Вы понимаете, что это значит, Потанин? Это значит, что Сибирь может обойтись без Петербурга. А Петербург без Сибири — не может.

— Вы говорите... — Потанин запнулся. — Вы говорите об отделении? Как в Америке? Как Соединённые Штаты от Англии?

Бакунин махнул рукой.

— Слова, — сказал он. — Отделение, присоединение. Это всё слова государственных ков. Они думают картами, границами, флагами. А я думаю — людьми. — Он подошёл к Потанину, навис над ним — огромный, седой, лохматый — и положил ему на плечо свою тяжёлую ручищу. — Слушайте меня. Свобода не спускается сверху. Её не дарят. Её не жалуют манифестом. Царь не может дать свободу — как волк не может дать овце траву. Свобода растёт снизу. Из земли. Из общины — из того самого «мира», который косит сено вдове. Община свободно соединяется с общиной — в волость. Волость с волостью — в область. Область с областью — в федерацию. Свободный союз свободных людей, свободных общин, свободных областей. Без генерал-губернаторов. Без центра, который всё решает за всех. Вот как Швейцария — двадцать два кантона, и каждый сам по себе, и все вместе. Вот как американские штаты — каждый со своими законами, своими судами, своими школами.

Он отошёл к карте и ударил по ней ладонью — по огромному пространству от Урала до океана.

— Сибирь, — сказал он. — Вот область. Самая большая на земле. Больше Европы. С другим климатом, с другими людьми, с другой историей, с другими нуждами. Как ею можно управлять из Петербурга? Как может чиновник на Невском знать, что нужно киргизу в Семиречье, кержаку на Чарыше, остяку на Васюгане, буряту за Байкалом? Никак! Он и не знает. Он только пишет бумаги. И прошивает их шнуром. — Бакунин усмехнулся. — Вы мне рассказывали про шнуровые книги. Это — символ, Потанин. Вся империя — одна огромная шнуровая книга. Прошитая насквозь и запечатанная сургучом с двуглавой птицей. Чтобы никто не мог вырвать страницу. А в ней — ложь. Сплошная ложь.

Он помолчал.

— Сибирь должна принадлежать себе, — сказал он тихо. — Сибирякам. Всем — русским, киргизам, бурятам, татарам, остякам, кержакам, ссыльным полякам. Всем, кто здесь живёт и кто любит эту землю. Своё самоуправление. Свой суд. Свои школы. Свой университет — вот вы ехали из Омска в Петербург через Томск, а почему, чёрт возьми, нельзя учиться в Томске? Почему в целой Сибири, которая больше Европы, — ни одного университета? Своя газета. Свои деньги — чтобы сибирское золото оставалось в Сибири и строило здесь школы, а не балы в Зимнем. Не увозить из Сибири! — Он снова поднял палец, как Батеньков. — Ни книг, ни золота, ни людей. Особенно — людей.

Он посмотрел на Потанина.

— И ещё одно. Самое главное. Уважение. — Голос его стал вдруг мягким. — Вы мне рассказали про старого калмыка, который просил записать, что они были. Про шаманку, которая сказала, что вы будете слушать голоса духов. Это — не суеверия, Потанин. Это — культура. Это — то, что государство уничтожает в первую очередь. Потому что государству нужны одинаковые люди. Одинаковые, как солдаты в строю. С одним языком, одной верой, одним царём. А свобода — это когда все разные. И все — равны. Киргиз не хуже русского. Остяк не

хуже немца. Калмыцкая сказка не хуже Гёте. — Он усмехнулся. — Может быть, даже лучше. Я Гёте читал. Калмыцких сказок — нет. Вы мне расскажете.

Потанин сидел, не двигаясь. Он слушал — и в нём что-то происходило. Что-то, похожее на то, что было той ночью на берегу Иртыша, после Дурова, когда в пустоте, оставшейся на месте вынутого гвоздя, начало проступать очертание. Как берег в тумане.

Только теперь туман рассеивался. И берег был виден. Весь. До самого горизонта.

Всё, что он видел за эти пять лет, — всё, что записывал в свою книжку, не понимая зачем, — Перемышльский и Таучубек, Иванов и Беловодье, Чалков и слободка, Амурсана и шнуровые книги, Филиппьевна и шаньги, Дуров и «несчастненькие», Евсей и Хозяйка горы, — всё это вдруг сложилось в одно. В картину. В карту. Как у Копейкина: «Пока не снял на бумагу — болота как будто нет. А сняли — и вот оно. На карте. Навсегда».

Бакунин снял это на бумагу. За один вечер.

— Но что я могу? — спросил Потанин. Голос у него сел. — Я — один. Отставной хорунжий. С грыжей. Без денег.

Бакунин засмеялся — не громово, как обычно, а тихо, почти нежно.

— Один, — повторил он. — Все мы когда-то были одни. Я тоже был один — в Ольмюце, на цепи. — Он сел напротив, наклонился вперёд, упёрся локтями в колени. — Слушайте. Вы поедете в Петербург. В университет. Вы будете учиться — всему. Ботанике, геологии, истории, этнографии. Вы найдёте там других сибиряков — их там много, студентов из Сибири, я знаю. Вы соберёте их вместе. Вы будете говорить им то, что я сказал вам сейчас. Что Сибирь — колония. Что она может принадлежать себе. Что для этого нужны знания, университет, газеты, свои учёные, свои писатели. И вы — все вместе — вернётесь сюда. — Он стукнул пальцем по колену. — Вернётесь, Потанин. Это главное. Не оставайтесь в Петербурге. Петербург сожрёт вас — как сожрал многих. Сибирь нельзя освободить из Петербурга. Её можно освободить только отсюда. Изнутри. Снизу.

Он помолчал.

— Это будет долго, — сказал он. — Лет пятьдесят. Может, сто. Я не доживу. Может быть, и вы не доживёте. Но это неважно. Посадите дерево, под которым будут сидеть ваши внуки. — Он вдруг улыбнулся. — У Батенькова было правило — не увозить книг из Сибири. Пусть у вас будет другое: не увозить себя.

Потанин вышел от Бакунина далеко за полночь.

Был мороз — первый настоящий, градусов двадцать. Небо было ясное, огромное, усыпанное звёздами. Томск спал. Только где-то на Почтамтской лаяла собака, да скрипел снег под сапогами ночного сторожа.

Он шёл по пустым улицам — мимо тёмных домов, мимо закрытых лавок, мимо Воскресенской церкви на горе, — и не чувствовал мороза. Ему было жарко, как в кабинете Бакунина.

Он остановился посреди улицы, запрокинул голову. Над Томском поворачивалось небо — медленно, неостановимо, вокруг Полярной звезды, вокруг Железного Кола, к которому привязаны небесные кони. Он смотрел на него, как смотрел когда-то в Копале, — и ему казалось, что оно поворачивается не просто так. Что оно поворачивается вместе с ним. Что он сейчас — в центре этого огромного круга, и всё вокруг — звёзды, тайга, Томск, Сибирь — медленно, торжественно поворачивается к какому-то новому положению. Как стрелка отцовского компаса, которая долго дрожала, колебалась, искала — и вдруг нашла.

Он достал компас из кармана. Открыл. Стрелка дрогнула и указала на север.

Он засмеялся. Компас показывал север, как всегда. Но теперь он знал, что север — это не единственное направление.

Есть ещё — домой.

Через семь лет, весной тысяча восемьсот шестьдесят пятого года, жандармский штаб-офицер, разбирая бумаги, отобранные у арестованного Потанина, напишет в докладе томскому

губернатору: «...многое из писем к нему доказывает отношение его с лицами, преданными суду как изболоченные злые агитаторы, а именно со Щаповым, Бакуниным, Чернышевским и пр.». И имя Бакунина станет уликой. И следственная комиссия будет допытываться: кто внушил вам идею отделения Сибири? — и что Потанин будет отвечать: никто, я сам. И возьмёт всё на себя. «Я считал себя коноводом».

Они не знали, что к тому времени Бакунин будет уже далеко — в Лондоне, у Герцена, — бежав из Сибири через Амур, Японию и Америку. Самый длинный побег в истории. Через Тихий океан и Атлантический. «Из Томска в Лондон — через Иокогаму и Нью-Йорк. Самый короткий путь». И что Потанин, прочтя об этом в Петербурге, в «Колоколе», будет смеяться от радости — так, что соседи по квартире решат, что он сошёл с ума.

Всю жизнь, когда его спрашивали — молодые областники, студенты, журналисты, — откуда взялась идея сибирской автономии, он отвечал одно и то же, с лёгкой улыбкой:

— Её придумали в Томске. В очень жарко натопленной комнате.

И больше ничего не объяснял.

Через неделю пришла беда.

Барон Гильзен приехал в Томск — искать новых кредиторов, с тремястами рублями старых рабочих в кармане. Он ходил по купцам, по банкирам, по ростовщикам. Ему отказывали. Все. Томские денежные тузы — те самые, с которыми, как говорили рабочие, сговорился Рак, — вежливо улыбались и разводили руками. Через десять дней, в самый разгар хлопот, барон умер — скоропостижно, в номере гостиницы «Петербург», за столом, над недописанным письмом к очередному кредитору. Сердце.

Потанин стоял на его похоронах — на лютеранском кладбище, в метель, — и смотрел, как засыпают снегом гроб. Барышни плакали. Пастор читал по-немецки. Бакунин стоял рядом с Потаниным — огромный, в шубе, с непокрытой лохматой седой головой, на которую падал снег, — и вдруг сказал тихо, почти про себя:

— Бедный Гильзен. Он хотел изучать Азию. А Азия изучила его. — Он помолчал. — Двенадцать томов Риттера. Неразрезанные. — Он повернулся к Потанину. — Вы их возьмите. Дочери отдадут. Только — не увозите из Сибири.

Потанин молчал. Надежды найти средства на поездку рушились окончательно. Барона нет. Стипендии нет. Денег — двенадцать рублей от выпуска и шесть своих, и из них уже больше половины ушло на комнату и на хлеб.

Он начал думать — нельзя ли совершить путь до Петербурга пешком. Как Ломоносов. Ломоносов ведь шёл — из Холмогор в Москву, с рыбным обозом, зимой, в тулупе, — и дошёл. А тут — пять тысяч вёрст. Три месяца пешком. Зимой. С обозами.

Но почему-то сразу он не мог решиться. Казалось очень трудным переменить платье. Нельзя же было пуститься в этот путь, примкнув к обозу и вступив в компанию с ямщиками, — в городском сюртуке и городских сапогах. Надо было купить зипун и бродни — мужицкие сапоги, — и подпоясаться кушаком. Но это переодевание походило на комедию. Он боялся насмешить людей. Он представлял, как идёт по Московскому тракту в зипуне, а навстречу ему — кто-нибудь из Омска, Пирожков, например, — и Пирожков хохочет так, что падает с коня.

Он рассказал об этом Бакунину. Как смешное.

Бакунин не засмеялся. Он посмотрел на Потанина долгим взглядом и сказал:

— Вы бы пошли.

— Что?

— Вы бы пошли пешком. В зипуне. Я вижу. Вы бы пошли — и дошли. — Он помолчал. — Ломоносов, сибирский. — И вдруг грохнул кулаком по столу так, что подпрыгнул самовар. — Но не пойдёте! Не позволю! Пять тысяч вёрст пешком, зимой, — вы замёрзнете в Барабе, и волки съедят ваш гербарий! Я этого не допущу. Тоня! Тоня, шубу мне! Я иду к Ананьину!

Ананьин был смотрителем томского уездного училища. Старый холостяк, тучный, одышливый, страдающий запоем, — в свободное от запоев и от службы время он немного занимался наукой. Писал статьи. Между прочим, он первым сообщил учёным, что в Кузнецком уезде растёт липа, которая во флоре Ледяного не была указана в числе сибирских растений. Он очень этим гордился. Липа была его единственным подвигом.

— Липа! — говорил он Потанину, задыхаясь от волнения, когда Бакунин привёл его. — *Tilia cordata*! В Кузнецкой тайге! Реликт, батенька, реликт — от тех времён, когда здесь было тепло, как в Италии! Ледяной не знал! Сам Ледяной! А я — знаю!

Потанин вспомнил Абакумова с его чечевицей: «Через сто лет никто не вспомнит, кого я вешал, а птичку мою будут помнить». У каждого человека в Сибири, кажется, была своя птичка. Своя липа. Свой маленький кусочек мира, который он первым увидел и назвал.

Ананьин знал людей в Барнауле. Горных инженеров. И одного из них — того, который зимой поведёт караван с золотом в Петербург.

Тут нужно объяснить.

Во всей Сибири тогда была одна-единственная золотоплавильная печь — в Барнауле, на Алтайских заводах. Туда свозили золото со всех сибирских приисков — песок, самородки, — переплавляли в слитки и в течение зимы отправляли в Петербург, на Монетный двор, — до семи караванов. Народ называл эти караваны «серебрянками» — по старой памяти, потому что раньше тем же путём отправляли в столицу серебро с царских рудников Алтая.

Караван состоял обычно из семнадцати — двадцати возков. На дне каждого возка был прикован железными цепями тяжёлый окованный ящик со слитками золота. Начальствовал горный офицер. Для конвоя сажали человек пять солдат. А для большего успокоения начальства — чтобы караван был многолюднее и, значит, безопаснее от разбойников, — всегда брали трёх, четырёх обывателей, едущих по собственной надобности. Бесплатно. Сверху, на ящиках с золотом.

— Вот! — сказал Бакунин, сияя, когда Ананьин это объяснил. — Вот, Потанин! Вы поедете в Петербург — на золоте! На сибирском золоте, которое увозят из Сибири! — Он захохотал. — Это — символ! Это — поэзия! Сибирь увозит своё золото — и увозит заодно человека, который однажды вернётся и спросит: а почему вы его увозите?

Оставалось достать денег — на дорогу от Москвы, на первые месяцы в Петербурге, на учебники.

И тут Бакунин совершил то, что Потанин потом вспоминал как маленькое чудо.

Он оделся — в шубу, в бобровую шапку, натянул огромные калоши, — и ушёл. Его не было весь день. Вернулся он под вечер — весь в снегу, раскрасневшийся, торжествующий, — и с порога, не снимая шубы, бросил на стол пачку ассигнаций.

— Сто рублей! — объявил он. — Сто рублей серебром! От Асташева!

Потанин смотрел на деньги и не верил.

Иван Дмитриевич Асташев был самым богатым человеком в Томске. Золотопромышленник, миллионер, владелец десятков приисков, дома-дворца на берегу Томи с колоннами, оранжереями и картинной галереей. Человек скупой, холодный, расчётливый — так о нём говорили. Говорили, он не подаёт нищим принципиально.

— Как вы... — начал Потанин.

— Как? — Бакунин сбросил шубу на пол — Антонина Ксаверьевна, вздохнув, подняла её. — Очень просто. Я пришёл к нему и сказал: «Иван Дмитриевич, вы — самый богатый человек в Сибири. Ваше золото ушло в Петербург. Ваши дети учатся в Петербурге. Вы сами живёте полгода в Петербурге. А вот молодой человек, сибиряк, казак, у которого нет ни копейки, — хочет учиться, чтобы потом вернуться в Сибирь и служить ей. И если вы ему не поможете, через сто лет о вас скажут: жил в Томске богач Асташев, который увозил из Сибири всё и ничего ей не дал. А если поможете — скажут: дал сто рублей сибирскому Ломоносову». —

Бакунин засмеялся. — Он подумал. Долго думал. Минут десять. Он ведь купец — считал. А потом открыл шкатулку и дал.

Он сел за стол, придвинул к себе бумагу, перо, чернильницу.

— А теперь — письма, — сказал он. — В Москву — Каткову. Михаилу Никифоровичу. Он издаёт «Русский вестник». Мы с ним когда-то были друзья, потом поссорились — он стал слишком умеренный, а я слишком неумеренный. — Он хмыкнул. — Но он человек порядочный. Он вас примет. И в Петербург — моим сёстрам. Двоюродным. Они добрые. Они вас устроят.

Он писал быстро, размашисто, огромными буквами, разбрызгивая чернила, — и, написав, прочёл вслух, с явным удовольствием, поглядывая на Потанина:

— «Милые сёстры, писать много некогда, а потому скажу вам в двух словах, в чём дело. Посылаю и рекомендую вам сибирского Ломоносова, казака, отставного поручика Потанина, оставившего службу для того, чтобы учиться, и горящего непобедимым желанием слушать лекции в Петербургском университете. Он — молодой человек дикий, наивный, иногда странный и ещё очень юный...»

— Михаил Александрович! — взмолился Потанин, краснея.

— Молчите, я пишу правду. «...но одарён самостоятельным, хотя ещё и неразвитым умом, любовью к правде, доходящей иногда до непристойного донкихотства...» — Бакунин поднял на него смеющиеся глаза. — Донкихотства, слышите? Вы — Дон Кихот, Потанин. Сибирский Дон Кихот. Вы будете сражаться с ветряными мельницами. С генерал-губернаторами. С шнуровыми книгами. — Он вернулся к письму. — «...вообще он не успел ещё жить в свете, вследствие чего говорит и делает странные дикости, но всё со временем оботрётся. Главное, у него есть ум и сердце. В нём три качества, редкие между нами, русскими: упорное постоянство, любовь к труду и полное равнодушие ко всему, что называется удобствами и наслаждениями материальной жизни. Поэтому я надеюсь, что он не пропадёт в Петербурге и в самом деле станет человеком. Приласкайте его, милые сёстры, и в случае нужды не откажите ему ни в совете, ни в рекомендации...»

Он сложил письмо, запечатал, надписал адрес.

— Вот, — сказал он, протягивая. — Это ваш паспорт. Настоящий. Без двуглавой птицы. Потанин взял письмо. Руки у него дрожали.

— Михаил Александрович, — сказал он. — Я не знаю, как... Чем я...

— Ничем, — отрезал Бакунин. — Вы мне ничего не должны. Вы должны — Сибири. — Он помолчал, глядя на Потанина, и вдруг лицо его стало серьёзным, почти суровым. — Обещайте мне одно.

— Что?

— Что вернётесь.

Потанин посмотрел ему в глаза — синие, детские, огромные.

— Обещаю, — сказал он.

Бакунин протянул ему руку. Потанин пожал её — огромную, тёплую, тяжёлую, как лопата. И Бакунин, не выпуская его руки, вдруг притянул его к себе и обнял — так, что у Потанина хрустнули рёбра.

— Ступайте, Дон Кихот, — сказал он ему в ухо. — Ступайте. И не бойтесь ветряных мельниц. Они только кажутся великанами.

В конце января тысяча восемьсот пятьдесят девятого года Потанин выехал из Томска в Барнаул.

Бакунин провожал его до заставы — в санях, в шубе, в бобровой шапке, с папиросой. Антонина Ксаверьевна сунула в сани узелок — пирожки, варенье, тёплые носки, которые она связала сама, неумело, один длиннее другого. Герман подарил на прощание два экземпляра осетровой чешуи, завернутых в бумагу, — для доктора Коха в Петербурге, который изучал

ихтиологию: «Это будет вам рекомендацией в Академию». Ананьин прислал записку — дрожащим почерком, видимо, после запоя: «Не забудьте про липу. *Tilia cordata*. Кузнецкий уезд. Скажите в Петербурге».

У заставы Бакунин вылез из саней. Постоял. Огромный, в шубе, на снегу, под низким серым небом.

— Ну, — сказал он. — Ну, сибирский Ломоносов. Езжайте.

Он хотел ещё что-то сказать — и не сказал. Махнул рукой. Сел в сани и поехал обратно в город, не оглядываясь.

Потанин смотрел ему вслед, пока сани не скрылись за поворотом.

Он не увидит его больше никогда. Весной Бакунин переберётся в Иркутск, а через два года уедет оттуда на Амур — и с Амура бежит. Через Японию и Америку — в Лондон. И будет там, в доме Герцена, огромный, лохматый, беззубый, — греметь до рассвета, что Россия скоро проснётся. И проживёт ещё пятнадцать лет — в Лондоне, в Италии, в Швейцарии, на баррикадах Лиона и Болоньи, — и умрёт в Берне, в больнице, в шестьдесят два года, нищим. И похоронят его на бернском кладбище. И на могиле его будут потом стоять люди со всего света — французские рабочие, итальянские крестьяне, испанские шахтёры, русские студенты, — и петь песни на разных языках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.